

ГРАНИ

GRANI

139

1986

Verlagsort: Frankfurt / M, Januar-März

ВИКТОРУ ПЛАТОНОВИЧУ НЕКРАСОВУ – 75 ЛЕТ

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Слово, рожденное в окопах Сталинграда, отозвалось во всех краях Земли. И отзвук этот не умолкает сорок лет спустя.

Слова, рожденные на берегах Днепра, на парижских бульварах, по обе стороны Берлинской стены, слова русского художника и солдата, – и всегда европейца, гражданина мира, – отзываются в умах и сердцах современников. И мы верим – не умолкнут для новых поколений.

Юбилеи – события скучные и, значит, не по Некрасову. Но для нас это повод сказать: мы гордимся, что не только читали книги Некрасова, но и видели, слышали его, Виктора Платоновича, Вику, спорили с ним, случилось – и выпивали, и, разделенные сотнями километров, вместе радуемся, вместе горюем.

Мы счастливы, что Виктор Некрасов есть в русской словесности и в наших жизнях.

Всем его родным, друзьям, читателям желаем, чтобы это счастье длилось возможно дольше.

Василий Аксёнов, Ирина Басова, Пётр Вайль, Георгий Владимов, Ирина Войнович, Владимир Войнович, Александр Генис, Мария Гладиллина, Анатолий Гладиллин, Сергей Довлатов, Александр Жолковский, Лев Копелев, Наталия Кузнецова, Татьяна Литвинова, Семён Мирский, Раиса Орлова, Борис Парамонов, Екатерина Эткинд, Ефим Эткинд, Ариадна Югова, Александр Югов



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов
1947 – 1952 Е. Р. Романов
1952 – 1955 Л. Д. Ржевский
1955 – 1961 Е. Р. Романов
1962 – 1982 Н. Б. Тарасова
1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
С 1984 – Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год **XLI**

№ **139**

1986

СОДЕРЖАНИЕ

Василий АКСЕНОВ. Блюз с русским акцентом. <i>Киноповесть</i>	5
Лев ЛОСЕВ. Стихи	84

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Михаил ЛЕМХИН. Три повести братьев Стругацких	92
Илья СЕРМАН. Маяковский и товарищи потомки. <i>Сравнительный анализ двух текстов</i>	120

КРУГ ЧТЕНИЯ

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. Сослагательное наклонение истории	137
---	-----

ИСКУССТВО

А. БАТЧАН. Две культуры: беседа с Владимиром Паперным	165
--	-----

ИСТОРИЯ

Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ. Крах партии левых эсеров. <i>Комментарий к письму Марии Спиридоновой</i>	186
М. СПИРИДОНОВА. Открытое письмо Центральному Комитету партии большевиков	194

ФИЛОСОФИЯ

Борис ПАРАМОНОВ. Низкие истины демократии. Опыт вынужденного понимания	224
---	-----

ИНТЕРВЬЮ

СССР и США – противоборство в Космосе. Интервью <i>с проф. Уолтером Макдугалом</i>	252
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Роман РЕДЛИХ. Россия, Европа и реальный социализм. К столетию кончины Н. Я. Данилевского и выхода в свет книги К. Н. Леонтьева «Восток, Россия и славянство»	265
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Кира Сапгир. Книга спасенного	290
Виолетта Иверни. «Игра», не стоящая свеч	295
С. Довлатов. Конец прекрасной эпохи	301
Анатолий Гладилин. Храбрый Шустрик	304

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	310.
--------------------	------

СОДЕРЖАНИЕ №№ 135 – 138	314
-------------------------	-----

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Блюз с русским акцентом

Киноповесть

Метель в районе новостроек на окраине Москвы. В быстро бегущих тучах мелькает бледное пятно солнца. Сквозь несущиеся вихри снега неотчетливо видны 16-этажные корпуса, вереницы грузовиков, огромное лицо Ленина над станцией метро.

Щедра наша родина Советский Союз по части снега...

На этом фоне пойдут заглавные титры фильма. Они традиционно отмерят пространство пролога.

Снег, снег, снег... Шум моторов проходящих грузовиков перекрывается мотором работающего поблизости автокрана. Громкие голоса рабочих:

– Вирай, етиттвою, Ермолаев!

– Юрка, варежку проглотишь, держи конец!

Бригада рабочих посредине широкого проспекта оформляет «агитационную клумбу» – при помощи автокрана они устанавливают большую, не менее 6 метров высотой, этажерку, сваренную из стальных труб, крепят на ней плакаты с изображением советских воинов и видов оружия.

Квадратное лицо фанерного «воина». Большие буквы лозунга – «**ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР – ОПЛОТ МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ**».

Снег, снег, снег...

Вдоль проспекта сквозь снежную завесу видны тянущиеся в ряд аналогичные этажерки с уже укрепленными плакатами.

Последний плакат закреплен. Бригада любитесь плодами своего труда. Ухмыляющиеся лица.

Среди рабочих выделяется несколько странная в московском снегопаде богемного вида фигура – длинное пальто, широкополая шляпа, летящий в пурге шарф. Это наш герой Олег Хлебников. Рабочие обращаются к нему как к начальству, по имени-отчеству.

– Ну что, Олег Семенович, вроде бы неплохо, а?

О л е г. Лучше не придумаешь. Поехали!

Бригада погружается в микроавтобус «РАФ» и едет вдоль проспекта мимо аналогичных «клумб», квадратных лиц и лозунгов: «СЛАВА СОВЕТСКОЙ НАУКЕ!»... «ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ»... «ТАМ ГДЕ ПАРТИЯ, ТАМ УСПЕХ, ТАМ ПОБЕДА»...

Снег завивается в кольца за машиной. Со всех сторон, словно мамонты, надвигаются грузовики. Временами загораются тормозные огни. Переключаются светофоры.

Снег, снег, снег... Пролог кончается.

Снова белый цвет заливает экран, но теперь это уже не крутящийся снег, а высокие стены какого-то цеха. Большие окна. Над ними полоска лозунга «ИДЕИ ЛЕНИНА – ВЕЧНЫ!»

Весь пол цеха заставлен крупными, не менее метра высотой, бюстами Ильича. От стены до стены, ровными рядами, не менее полусотни гипсовых бюстов. Видимо, это что-то вроде... Впрочем, чего там догадываться – это Производственный Комбинат Наглядной Агитации, в котором работает художником наш герой, Олег Семенович Хлебников.

Ему, между прочим, 35 лет, он выше среднего роста, широк в плечах, и вполне был бы пригоден для героя мирового кино, если бы не явное и довольно уже знакомое выражение российской художнической истерийки, присутствующее в «зеркале души», то есть в лице.

Вот он входит в зал, и одновременно входит его друг, тоже художник, Миша Шварц. Два входа через разные двери, немного, как (или намеренно, как) в театре. Они идут навстречу друг другу.

Ш в а р ц (*очень возбужден, едва ли не дрожит*). Олег, вообрази, завтра мы получаем визы!

Х л е б н и к о в. Ну, поздравляю, Мишка! Хотя, честно говоря...

Ш в а р ц. Честно говоря, меня просто трясет... не укладывается в уме – через десять дней Вена, потом Рим...

Х л е б н и к о в. В Вене на Брейгеля побежишь... Завидую.

Ш в а р ц. Олег, но ведь это же конец, а? Все тридцать пять лет жизни остаются здесь. Это – как собственные похороны, а?

Х л е б н и к о в. Перестань! Подумай с другого угла – ты просто-напросто переезжаешь в другую страну. Художники всегда таскались по миру. Гоген жил на Таити.

Разговаривая, друзья проходят между бюстами и в конце зала вполне непринужденно, видимо – привычно, присаживаются на две головы, достают сигареты.

О л е г. Больше половины друзей уже за бугром. Грустно...

Ш в а р ц (*осторожно*). Олечка, а ты что, разве не понимаешь, чем тут дело пахнет?

О л е г. Нет, я не поеду. Ну, вообрази, вот я еду – ну это же дико. *Я уезжаю навсегда из России?* Прости – это вздор!

Ш в а р ц. Это потому, что ты Хлебников, а я Шварц?

О л е г. Не знаю, Мишка. Может быть, и поэтому. Просто, это – дико. Ну, вообрази... (*Он встает с головы Ильича и взволнованно жестикулирует. Надо сказать, что у него в минуты волнения появляется несколько странная, не вполне адекватная жестикуляция.*) Олег Хлебников едет в Израиль! Ну, вообрази! Ну, хорошо, Ольга едет со мной... Да ты только вообрази, что будет с ее папашей! Дочка такого цэкиста отваливает! Ну, хорошо, я на него кладу, но... (*на мгновение задумывается, потом яростно бьет кулаком в ладонь*) кто-то все-таки должен населять эту территорию!

В это время за стеклянной дверью, соединяющей цех «ильичей» с какой-то галереей, останавливаются два человека; оба – в официальных костюмах с галстуками.

Первый (показывает на художников). Вот они. Тот, что сидит, отъезжающий Шварц.

Второй. Шварц нас больше не интересует.

Первый. Вот как? Тогда...

Второй. Благодарю вас, Юрий Петрович.

Первый уходит, а второй, еще не старый, здоровенный мужлан с широкоскулым крестьянским лицом, украшенным заграничными очками, внимательно и даже не без некоторой симпатии рассматривает Хлебникова.

Олег и Миша, между тем, направились к выходу.

Олег. А кто-то должен и покидать эту территорию. Все нормально, старик. Мы еще встретимся, глядишь, еще... (Он хмыкает и выразительно хлопает ладонью одну из голов.)

Шварц. Оптимист!

Они выходят из зала. Субъект в очках с застывшей улыбкой смотрит им вслед.

Москва, Садовое кольцо где-то в районе площади Маяковского. Ночь, густой снегопад. Меж двух огромных, в человеческий рост, сугробов осторожно паркуются «Жигули». За рулем Ольга, жена Олега. Рядом сидит он сам. Работают «дворники». Сквозь залепляемое снегом ветровое стекло мы все-таки можем увидеть, что супруги о чем-то весьма увлеченно, если не сказать — напряженно, беседуют. Он как бы задает ей один вопрос за другим, жестикулирует, заглядывает в лицо. Она отвечает, не глядя на Олега, так как занята еще и маневрированием. По этой мимической сцене мы можем сделать первую прикидку их отношений.

Машина, наконец, притерлась к обочине. Они вылезли и стали вытаскивать из салона и из багажника холсты на подрамниках, укутанные в старые одеяла. Можно рассмотреть Ольгу — высокую, чуть ли не в рост своего мужа, молодую женщину. Светлые волосы падают из-под меховой шапки. Они продолжают свой разговор, пока вытаскивают картины и пока идут, нагруженные, от машины к подъезду нужного им дома.

О л е г. В конце концов, кто-то должен населять эту территорию, правда?

О л ь г а. В этом-то все и дело.

О л е г. И все-таки, ты подумай, Олька, происходит что-то дикое – Оскар, Эрнст, Лева, Гена, Эдик, Борька, Вадим... Невозможно перечислить, все отваливают... Да? Русское искусство разваливается, так, что ли? Теперь вот и Миша Шварц... Что происходит? Почему ты молчишь?

О л ь г а. Ты должен уйти из своей шараги, Олег.

О л е г. Да? А кто будет кормить тебя и Машку? Этим *(показывает подбородком на картины)* – не прокормишься.

О л ь г а. И все-таки ты должен уйти. *(Она на секунду останавливается и тоже подбородком очерчивает панораму ночной Москвы, в которой сквозь снег единственное, что выделяется, так это подсвеченные прожекторами коммунистические лозунги, транспаранты, плакаты, физиономии Брежнева и Ленина.)* Нельзя тебе больше заниматься этим свинством...

О л е г. Вот как? А кто кормить...

Он смотрит на Олино лицо, румяное, с блестящими глазами, и начинает ее целовать. Комическую сцену с распадающимися картинами, улетающими под снегопадом шляпами предоставляется решить режиссеру.

Наконец, все собрано, и они у нужного подъезда.

На участке тротуара возле этого подъезда (6-этажный дом серого камня, «русский модерн» начала века) странное оживление. Здесь запаркованы машины иностранных марок, среди них даже один «кадиллак» с бразильским флагом и ливрейным шофером. Несколько прохожих остановились поглазеть, что, мол, за дипприем там, где нет никакого посольства. Определенные личности в штатском покуривают в некотором отдалении. В этот подъезд и заходят Олег и Ольга. Там уже собралось много людей, ждут лифта, отряхивают снег с шуб, стучат ногами.

В большом старинном лифте, плечом к плечу, не менее десятка людей, среди них бразильский посол, муж-

чина с крупным носом, в шубе с бобровым воротником. Слышится английская, французская и бразильская, т. е. португальская речь.

Олег и Ольга прижаты к стенке лифта. Рядом с ними два местных жителя – бабка со злобным и подозрительным личиком и сохраняющий советское достоинство мужичишко из домоуправления, вполне очевидный бывший вохровец.

Б а б к а (шепчет громко, вроде бы шипит, так как ей кажется, что никто в лифте не понимает по-русски). Это что ж, все к мадаме с чердака собралась кунпания? Куда же это органы смотрят, Иваныч?

В о х р о в е ц (важно и со значением). Куда надо, туда и смотрят, Петровна. Понятно?

Б а б к а (догадливо). Тада понятно, Иваныч, тада понятно. Тада поряdochек... *(хихикает по-блатному).*

Ольга с Олегом переглядываются. Лифт останавливается на верхнем этаже, и бразильский посол на чистом русском языке с великолепным бразильским акцентом обращается к бабке:

– После вас, мадам! Прошу!

Гостей в чердачном помещении набралось, видимо, столько, что уже не вполне и вмещаются. Несколько человек курят на лестнице. Мимо них протаскивают свои картины Олег и Ольга. Богемная публика с любопытством их рассматривает. Реплики вслед:

– Как? Разве Хлебников еще здесь?

– А ты думал, уже в Париже?

– Киса! Он ежедневно на проспекте Вернадского пропаганду развешивает... Ради хлеба насущного приходится и чёрта в жопу...

– Тише, Сорокин тащится!

Разминувшись с Хлебниковым и другими, похлопав их по спинам, к курящим приближается стукач Сорокин. Ухмыльнувшись, шепчет на ухо поэту Бурé:

– Слышал, Паша, Хлебников уезжает...

Б у р е (у него мощный бархатный баритон). Пустое, Сорокин! Неправильная информация.

Стукач Сорокин. Посмотри в мои рыжие глаза. Ты мне не веришь?

Все на лестнице довольно бесцеремонно хохочут. Быстро проносится худой, озабоченный Слава Горшков.

– Ребята, все горячее сдаете мне! Приказ хозяйки!

На дверях чердачной квартиры объявление:

ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕКАБРЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ

У ЛИКИ ДИМИТРИАДИ!

СЕГОДНЯ «САЛОН ТРОИХ»!

**РОСТИСЛАВ ХРИЗАНТЕМОВ, НИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ,
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ!**

Хозяйка, декольтированная Лика Димитриади, в тесной передней, заваленной мокрыми пальто, встречает гостей, как будто на лестнице родового замка.

– Ну вот и наши варяги! Олег и Ольга! Господа, приветствуйте виновников торжества. (*Шепчет Олегу, прикрывшись ладонью, словно веером.*) Ты с ума сошел, развешивайтесь скорее – в каминной! (*Тут же протягивает оголенные руки бразильцу.*)... Mister Ambassador, that's a great pleasure to see you with us!¹

Олег и Ольга проталкиваются по узким коридорчикам в «каминную». Становится совсем тесно, потом еще теснее. Лика ведет почетного гостя в гостиную, однако длинноволосые юнцы не очень-то церемонятся на встречах курсах, и вскоре посол, улыбнувшись, снимает галстук и прячет его в карман.

Картины развешены повсюду, даже на дверях туалета. Немыслимая толкучка и в коридорах, и в двух комнатах трехкомнатной квартиры. Только в так называемой «каминной», где камин просто нарисован на стене, пока еще никого нет. Здесь развешивают свои картины Хлебниковы. Вбегает с авоськой, полной бутылок, озабоченный Слава Горшков. Мечется из угла в угол. Вскоре авоська пуста. Подбегает к Олегу.

– Старик, ты принес?

О л е г. Видишь, развешиваем...

С л а в а (*досадливо отмахивается*). Я не об этом. Есть горячее? (*Получает от Ольги бутылку коньяку,*

¹ – Господин посол, как мы рады вас видеть!

оживленно.) Блеск! В заначку! Ребята, вы не волнуйтесь, у меня полно горячего в заначке. Захотите выпить – обращайтесь ко мне... (Сморщившись, вытаскивает четвертинку из кармана джинсов.) Пока никого нет, Олег, соси! Ольга, ты, конечно, откажешься?

О л ь г а. Да почему же? Давай!

Пьют водку из горлышка. Слава из другого кармана вытягивает большой вялый огурец. Закусывают.

С л а в а (мотает головой в сторону других комнат). Они там сухое вино сосут, а настоящее горячее у меня в заначке. Однако, не для себя же прячу, Горшков не такой человек. Прячу для настоящих художников.

Настежь открываются двери «каминной» и на пороге – толпа гостей во главе с хозяйкой салона Ликой Димитриади.

Л и к а. А теперь, господа, позвольте вам представить коллекцию третьего участника вернисажа, Олега Хлебникова. Вот он и сам перед вами со своей очаровательной женой. Олег и Ольга – наши варяги. Олег, скажи, пожалуйста, несколько слов о своих холстах.

О л е г (он очень волнуется, даже побледнел). Эта серия называется «ДОЛГОЖДАННЫЕ ЖИВОТНЫЕ». Я работаю над ней пять, нет, простите, шесть лет, впрочем, виноват, уже около семи. Ну, словом, вот... Звери, так сказать...

Публика, благодушно улыбаясь, занялась созерцанием картин.

Престраннейшие животные смотрят с полотен на публику – волки с огромными испуганными глазами, нежнейшие эротические тигры, собаки и кошки, как бы молящиеся и взирающие на небо, и так далее. Все эти твари, кажется, вот-вот заговорят, похвастанутся или поплачут. Изображены они в манере так называемого «суперреализма», то есть доведенным до предела живописным мастерством.

Престраннейшая, надо сказать, публика взирает на полотна: уцелевшие еще снобы Москвы, богемная молодежь, подозрительные денди – без сомнения, с гебешным душком, артистические девушки от 20 до 60, дипломаты и иностранные журналисты.

Разговоры среди гостей:

- Не узнаю Хлебникова, он вырос в мастера!..
- Вы документы подали?
- Нет еще, Тамарин папаша разрешения не дает...
- Слышали про Шварца? Уже звонил из Вены...
- That's a wonderful painting!
- O, yes, I love it!
- Such the peculiar animals...¹
- А вы не собираетесь в отвал?
- Товарищи, уверяю, из самых серьезных источников – Олег Хлебников намылился в эмиграцию...
- А ты, Сорокин, не подумываешь?
- Что мне там делать? С голоду подохну.
- Говорят, Хризантемов попросил за свои «Овалы» десять тысяч.
- Интересно, сколько Хлеб просит за свои холсты?
- Je voudrais asheter des rennes!
- Est-il paz cher?²
- У Хризантемова, господа, концепция, а здесь, по сути дела, детский сад.
- Хлебников над каждым холстом работает полгода, а Хризантемов мажет...
- А мне, братцы, из всего этого больше всего нравится мадам Хлебникова.
- Шимкусы в Иерусалиме, но им там не нравится. Кажется, собираются в Канаду...
- Лев женился на рестораторше, подает кофе туристам... Спился...
- Вздор, у него выставка в Копенгагене, его холсты идут по десять тысяч...
- Я бы уехала, если бы точно знала, что в этом есть хоть малый смысл...
- Отъезд это климакс, господа...
- Мы решили. Не можем больше здесь. Тошнит от

¹ – Чудесная живопись!

– О да, мне она нравится!

² – Такие странные животные...

– Хочу купить лисичек!

– Не очень дорого?

этих рыл... От их речей... От их... Всего... Пошли бы они все к е. м. ...

– Тише, Паша, стукач Сорокин...

– Да пусть хоть Андропову стучит. Ненавижу!

– Славка, ты куда все горячее заначил? Людям выпить нечего!

– Спокойно, мальчики, все будет – и кофе и какао...

В углу «каминной» стоят Anne Stuart и Sean Caddihy, корреспонденты United Press International, оба совсем молодые люди, толстяку Caddihy лет тридцать, ну, а Анн не более 25-ти, она выпускница Школы журналистики в University California at Berkley, и это ее первый месяц в Москве.

Мы попросили бы зрителей запомнить ее легкую фигуру, пышные волосы и огромные очки на розовощеком, пышущем здоровьем, лице, ибо Анн впоследствии предстоит сыграть в этом фильме роль более серьезную, чем просто иностранной гостьи салона Лики Димитриади.

A n n e S t u a r t. I love these long-awaited animals, but... For Christ sake, Sean, how they can be considered dangerous for the state? Could you explain me this mystery?

S e a n C a d d i h y. Imagine! This guy Khlebnikov has never gotten any display officially approved. Apparently they (*показывает пальцем в потолок*) just perceive something wrong. I know here an artist who paints only the roses, however everybody in Moscow finds his roses a little bit anti-sovietic and nobody is suprised why he is underground. When you start to write about non-conformists you should realize what the conformism means here...

A n n e. And what does it mean?¹

¹ – Мне нравятся эти долгожданные животные, но... Ради Бога, Шён, какую же опасность могут они представлять для государства? Не объясните ли вы мне этой тайны?

– Вообразите, этот парень Хлебников ни разу не выставлялся с официального разрешения. Они... просто чувят, что здесь что-то не так. Я знаком с одним здешним художником, который пишет только розы, однако в Москве все находят в этих розах что-то антисоветское и никто не удивляется тому, что он в подполье. Когда будете писать, постарайтесь понять, что неконформизм означает здесь...

– И что же он означает?

S e a n. It means nothing.

A n n e. Thank you, sir.

S e a n. You are welcome¹.

Анн внимательно смотрит на Олега, который в это время, запустив одну пятерню в шевелюру, а другую в бороду (привычный жест), презрительно взирает на одну из своих картин.

К нему подходит Слава Горшков с бутылкой лимонада и стаканом.

С л а в а. Успех, Олежка! Поздравляю! (*Подмигивает.*) Хочешь лимонадику? (*Шепчет.*) Это подкрашенная «Столица». (*Наливает стакан, хохочет.*) Дуй!

Олег залпом опорожняет стакан.

Стукач Сорокин шепчет ему на ухо:

– Хризантемов сказал, что ты говно...

Олег, словно мальчишка, грозит кулаком.

– Сам он говно!

Стукач Сорокин с готовностью отправляется передавать ответную ноту.

Анн все еще смотрит на Олега, явно заинтересована.

– Well, Sean, nevertheless they are permitting the exhibitions like this...

S e a n. Liberalization? Forget it! There are two or three spots like this over the town, but... I believe all of them are KGB's baits. Madam Dimitriadi could be honest and devoted but... Big Brother watches you everywhere, you know... Anyway, to hell with them! Most people tonight are nice!²

Он перехватывает взгляд девушки и, тонко улыбнувшись (будущий Хемингуэй), проталкивает ее поближе к Олегу.

¹ – Ничего не означает.

– Благодарю вас, сэр.

– Извольте.

² – Однако, Шён, они все-таки разрешают выставки, такие, как эта...

– Либерализация? Забудьте об этом! Во всем городе два или три места, таких, как это... но... все они, я думаю, приманка КГБ. Должно быть, мадам Димитриади честная энтузиастка, но... Большой Брат, знаете, повсюду! Так или иначе, чёрт с ними! Сегодня здесь хорошие люди в большинстве.

– Привет, Олег! Познакомься с моей коллегой, Анн Стюарт из Сан-Франциско.

О л е г. Звучит, как романс Вертинского.

А н н (*трудно не заметить румянца под тонкой кожей идеального ребенка из пригородов «высшего среднего класса»*). Мне очень нравятся ваши «Долгожданные животные». Простите мой русский...

О л е г (*он уже крепко «под банкой»*). Хотите позировать, мисс?

Наблюдавшая издали за этой сценой Ольга проталкивается к мужу.

– Извините, ребята, ЧП. Олег на иностранку падает.

С л а в а (*шепчет на ухо Олегу*). Эти, из ЮПИ, принесли три бутылки виски. Я одну выставил, а две заначил.

А н н. Значит, вам позируют люди?

О л е г. Девушки, эта зебра, например, Нина Попова, а лошадь – Салли Фокс... (*Хочет и заглядывает в глаза Анн.*) Странно, правда? Странно, а? (*Хочет.*)

О л ь г а (*довольно бесцеремонно отодвинув плечом Анн, да еще смерив ее красноречивым взглядом*). Пошли, Олег. С тобой какой-то мистер Ксерокс, коллекционер, хочет поговорить.

Олег послушно следует за ней, оглядывается на Анн не без сожаления, но через минуту, конечно же, забывает ее.

Анн растерянно улыбается.

S a d d i h y. I told you, Ann, all Russian artists are cucksos...¹

В квартире, переполненной людьми, есть маленький закуток с окном на потолке, куда допускаются только избранные. Закуток называется «Грот», но напоминает больше ярмарочный балаганчик.

Лица, разумеется, возлежит на софе, демонстрируя свои кредиты – пару неплохих ног.

Навстречу Хлебниковым из кресла поднимается Чарльз Ксерокс, крупный, рыхловатый дядя, основательно за пятьдесят, одетый для своей фигуры весьма

¹ – Я говорил вам, Энн, все русские художники немного с приветом.

странно – в легкую кожаную курточку, какие носят автогонщики. Впрочем, во рту внушающая уважение сигара.

Л и к а (*томно*). Чарли очень впечатлен твоей серией, Олег.

Ч а р л и К с е р о к с (*с сильным акцентом, но очень правильно*). Думаю, у вас нет нужды в комплиментах. Вы зрелый мастер и знаете себе цену.

О л е г (*пожимает плечами*). Наоборот, ни черта не знаю – то ли миллион, то ли копейка в базарный день...

Ли́ка, за спиной Ксерокса, делает ему круглый рот, круглые глаза и палец у виска – ты что, мол, очумел?

О л ь г а. Мой муж шутит. Он приблизительно знает себе цену.

К с е р о к с (*усмешкой показывает, что он понимает беспокойство Ольги*). Don't worry, ma'm¹, мы говорим пока об эстетической ценности. Что касается коммерческой цены, то, по моим предварительным подсчетам, картины мистера Хлебникова могут котироваться от семи до восемнадцати тысяч долларов каждая.

Олег и Ольга изумленно переглядываются. Ли́ка показывает за спиной Ксерокса два пальца, сложенные в колючко.

К с е р о к с. Называю эту цену – как это по-русски? На глазок – потому что вы, мистер Хлебников, еще не известны на Западе и вашего имени нет в каталогах. Если вы готовы расстаться с «Долгожданнами животными», моя фирма оформит на ваше имя договор приблизительно на... (*он вытащил из нагрудного кармана здоровенный бумажник, внутри которого вделан еще и миниатюрный калькулятор, потыкал в него пальцем*) семьдесят пять – сто тысяч долларов сроком на два года. (*Из того же бумажника извлекается визитная карточка.*) Вот, извольте, карточка моей фирмы The International Art. Мой апартамент соединяется с офисом, найти легко – Park Avenue, Manhattan... (*Все это произносится несколько усталым тоном, сопровождается странноватым подчи-*

¹ – Не беспокойтесь, мадам.

хиванием и шмыганием носом; впрочем, иногда бросается на Олега и цепкий изучающий взглядик.) Я буду в Москве еще три дня. Если за это время вы примете решение, вот телефон в «Национале». Сейчас я отчаливаю. До свидания, моя дорогая. Не провожайте меня, я прекрасно найду свое пальто сам. Господин Хлебников, госпожа Ольга, буду очень рад при случае приветствовать вас в Нью-Йорке. Чудесно, это русское искусство все еще живо и дает впечатляющие плоды...

С этими словами Чарли Ксерокс покинул «Грот». Дверь за ним закрылась.

Л и к а. Я потрясена. У меня нет слов. Олег, ты понимаешь, что у тебя начинается новая жизнь? Чарли Ксерокс – третий из мировой десятки! Нью-Йорк! Парк Авеню!

Олег не отвечает, смотрит в пол. Оцепенение.

Л и к а. Да что ты, дурачок, молчишь? Ольга, что с ним?

Ольга нервно передергивает плечами.

Л и к а. Вы, по-моему, ничего не понимаете.

О л ь г а. Как он переправит картины?

Л и к а (с тонкой улыбкой). Это его забота. Ой, мальчишки-девочки, я вижу, вы все еще ничего не понимаете. Вы сейчас плясать должны от радости.

Звуки рок-н-рола. Олег танцует с Ольгой. Вокруг танцуют другие художники. Вернисаж окончился, и в квартире остались только свои. Слава Горшков священнодействует, вытаскивает из разных углов «зачащенные» бутылки и расставляет все это богатство (явно чрезмерное) на столе.

С л а в а. Ребята, внимание. Это все наше! (Падает без сознания.)

Олег остановился посреди танца, притянул к себе Ольгу, шепчет ей в ухо:

– Пойдем в ванную!..

О л ь г а (смеется). Ты меня с кем-то путаешь, старик, я твоя законная жена.

О л е г (он, что называется, «хорош»). Пошли в ванную. Я тебя хочу сейчас... В ванной... Как тогда...

Кто-то через головы танцующих протягивает ему гитару.

– Олег, общество ждет!

Олег пьяно улыбается. Идея «ванной» уже заменилась идеей «гитары».

– Вы хотите песен? Их есть у меня!

Рок-н-рол прерван. Олег садится на пол посреди комнаты. Вокруг рассаживаются художники, их друзья (среди них, разумеется, и стукач Сорокин), их девушки.

Олег поет песенку собственного сочинения с припевом такого рода:

ОВИР нас не разгонит ни навеки, ни на час,
И если, вдруг случится, затоскуешь,
С тобой я повстречаюсь на бульваре Монпарнас,
А ты ко мне вернешься на Тверскую...

Хлопнув дверь, вызывающе уходит ненавистник Хризантемов. За ним – подчиненное существо Хмельницкая.

Олег после каждого куплета отпивает из стакана добрый глоток коньяка и обращается в пространство:

Вы мне предлагаете славу и жемчуга стакан.
И все-таки, пошли бы вы подальше!
Увы, господа, мы не можем отсюда уйти,
Мы ждем наших долгожданных животных,
Простите нас...

Далее следует почти невразумительное бормотание под гитару. Ольга теребит мужу волосы, и в это время вбегают Нина Хмельницкая с криком:

– Братцы, Хризантемова дружинники избили!

Нечего и говорить, что среди вскочивших, чтобы дать отпор дружинникам и отомстить за честь Хризантемова, первым был Олег.

Эlegantный вернисаж завершается топотом ног в темноте по лестнице, хриплыми криками, матерщиной, слышится еще некоторое время пронзительный крик Ольги:

– Олег, не смей!

дожника Олега Хлебникова. За спиной у Олега три дружинника, у одного из них красноречивый фонарь под глазом. С ненавистью смотрят на пьяно ухмыляющегося и весьма растерзанного художника.

Между тем, Иннокентий Хризантемов мирно спит, положив голову на колени какой-то толстой проститутке.

О л е г (*оборачиваясь на дружинников и показывая им два пальца*). Они гения Хризантемова, товарищ капитан, хватали руками за лицо. Экие свиньи, товарищ капитан, хватают за лицо русского гения...

К а п и т а н (*как бы стараясь сдержать его и без особенной приязни глядя на дружинников*). Легче, легче, Хлебников. Какого вы года рождения?

О л е г. 1946-го. Послевоенного урожая. Мой батя без ноги с фронта пришел (*легко плачет*).

К а п и т а н. Ну, мой, предположим, без руки, но это не причина для слез. Место работы?

О л е г. Эх, капитан, это самый позорный пункт в моей анкете. Я делаю... (*Чтобы показать образцы своей продукции, оглядывает стены и замечает портрет Дзержинского. Пьяно хохочет.*) Козлобородый палач в длинной кавалерийской шинели!.. (*Вдруг вскакивает, бежит за перегородку, срывает портрет и бросает его на пол.*) ...Рыцарь революции! Свинья! Долой!

Капитан в отчаянии закрывает голову руками. Хохочут нарушители общественного порядка, алкаши и проститутки. Хризантемов мирно спит. Дружинники скручивают Олегу руки за спиной.

– Ну, фашист, сейчас мы тебе покажем пятый угол!

О л е г. Кто фашист? Я? Это вы меня называете фашистом? Ах, да, у вас свое есть имя – коммунисты! Коммунисты!

Н а р у ш и т е л и (*с восторгом*). Коммунисты!

Двое дружинников затаскивают Олега в следственную комнату. Оттуда начинают доноситься крики избивения. Третий дружинник, холеный юнец в дубленке и пыжиковой шапке, объясняет капитану:

– Это опасный тип, капитан. Вам же дали понять, это идеологический враг. Гнездо сионистов под видом

художественного салона. Теперь вы видите прямой фашизм.

Капитан (*морщится*). Легче, легче, разве не понимаете, в каком сейчас состоянии нервы у людей...

Звонит телефон. Капитан снимает трубку. Третий дружинник направляется в следственную комнату. В темной камере с зарешеченным окном трое молодчиков садистически избивают Олега.

– Вот тебе, сволочь, за Рыцаря Революции.

Олег уже почти без сознания. От каждого удара у него в голове рассыпаются искры, которые опадают в черноте какой-то пропагандистской мишурой. Он хрипит:

– Ссуки!

Вдруг вспыхивает свет. На пороге дежурный капитан.

– Прекратить безобразия!

Поднимает Олега и вытирает ему лицо носовым платком, обращается к дружинникам:

– Олухи царя небесного! У парня тесть – Лубенцов, куратор нашего Министерства в Центральном Комитете. Только сейчас сам генерал Абрамов звонил. (*Застегивает Олегу порванный пиджак.*) Вы свободны, товарищ Хлебников.

Олег. Без Хризантемова не уйду.

Капитан. Оба, оба свободны... (*выводит Олега*)

Дружинник в пыжиковой шапке смотрит вслед, криво улыбается.

– Лубенцов? Очень-очень любопытно...

В предрассветных сумерках возле магазина «Российские вина» на улице Горького трое, Олег, Ольга и Хризантемов, ловили такси.

По-прежнему шел густой снег. Москва еще спала.

Странно видеть под светящимся фонарем роскошную молодую даму в норковой шубе, поддерживающую двух растерзанных «ханыг».

Оба художника еще не вполне вернулись к реальности, однако Хризантемов, в отличие от Олега, изрыгаю-

щего только одно слово – «суки», пребывает в блаженном состоянии и мурлычет какой-то вздор:

– Рембрандты и Ван-Гоги,
Большие носороги...

О л ь г а. Ну, успокойся, успокойся, Олег, ну, перестань зубами скрежетать, ну, посмотри на Кешу, какой он милый, ну, успокойся...

Олег вдруг вырывается и, качаясь, устремляется к телефонной будке.

В это время появляется такси. Ольга машет рукой и в то же время оглядывается с тревогой на Олега.

О л е г (*хрипит в трубку*). Хей, мистер Ксерокс, это Хлебников. Пора, пора вставать. Какой Хлебников? Забыли уже? «Долгожданные животные», long awaited animals... Дошло? О'кей! В общем, я согласен, лады, забирайте товар! Что? (*Хохочет.*) ОК, ОК, до встречи!

Он выскочил из будки и, скользя, побежал к такси, куда Ольга в этот момент усаживала Хризантемова. Последний голосил на всю Ивановскую:

– Матиссы и Шагалы –
Красивые шакалы!..

О л ь г а. Куда ты звонил?

О л е г (*тычет пальцем в сумерки*). ...В-о-он туда, напротив, в «Нац»...

О л ь г а. Принял предложение?

О л е г. Да!

О л ь г а. Ну, что же...

Подталкивает Олега внутрь такси, а сама на мгновение застывает, остановившимся взглядом глядя на витрину «Российских вин», фонарные столбы и огромные сугробы, как будто осознавая, что, может быть, именно в этот момент произошел какой-то поворот судьбы.

...Такси уходит в сумерки, выхлопы завиваются в кольцо между двумя красными огоньками.

Чинная и очищенная от снега улица Алексея Толстого, район цэковских жилых домов. У подъездов, в будках, здоровенные милиционеры в дубленых шубах и белых

портупях. Яркий полу-солнечный день. Падают редкие благопристойные снежинки.

К одному из этих домов подкатывает лимузин, новая модель «Чайки»; это автомобили второго эшелона советской бюрократии, заведующих отделами ЦК и министров.

Милиционер берет под козырек. Из лимузина выходит крепкий мужчина слегка за 60, на лице которого, словно лепра, отпечаталась советская бесконтрольная власть, – отец Ольги.

В то же самое время в отдалении появляется высокая фигура Олега. По мере его приближения мы можем сделать заключение, что после геройской схватки с дружинниками уже прошло некоторое время: от синяков на благородном лице остались лишь легкие следы, облик чист и даже опрятен.

У милиционера, однако, возникают вполне оправданные подозрения – чего этому хиппи надо в цэковском доме.

– А вы к кому направляетесь, гражданин?

– К Лубенцовым, гражданин, – отвечает Олег.

– К Лубенцовым? – милиционер удивлен. – Чего это ты у Лубенцовых потерял, гражданин? – характерный цепкий прищур.

– А я их зять, гражданин, – фиглярничает Олег, – к папе иду, в шахматы играть, гражданин, – добавляет он.

– Я вам не гражданин, – вдруг обиделся милиционер. – Я офицер!

– Так точно, товарищ капитан, – сказал Олег.

М и л и ц и о н е р (*удовлетворенно*). Откуда вы знаете, что я капитан, ведь у меня погоны сержантские.

О л е г. Не первый день на свете живу.

Милиционер удовлетворенно улыбнулся и пропустил сообразительного зятя в святая святых, в обитель почти самых равных среди равных.

Между тем, папаша Лубенцов вступил в свои апартаменты (все финское, шведское и частично французское) и спросил у устремившейся ему навстречу супруги:

– Явились?

С у п р у г а. Ольга с Машенькой здесь.

Л у б е н ц о в. А гений?

С у п р у г а. Оля говорит – будет.

Л у б е н ц о в. Польщен, весьма польщен.

С радостным пискom «Деда-деда» выбежала шестилетняя внучка. Деду на шею. Государственное лицо расплылось в простой человеческой радости.

– Рыбка, киска, зайка моя.

Вышла и Ольга – в затертом, конечно же, джинсовом костюме, тоже была поцелована, хотя и с нахмуренными бровями, однако не без удовольствия.

Тут на пороге появился и Олег.

– Извините за опоздание.

Л у б е н ц о в (*саркастически*). Вашему брату полагается опаздывать – артисты. (*Супруге.*) Вообрази, Варя, Шауро недавно вызвал Ахмадулину, так та опоздала на полчаса. Вообрази, к человеку моего уровня...

О л е г. Он ее не вызывал.

Л у б е н ц о в. Ты, кажется, мои слова под сомнение ставишь?

О л е г. Ну что вы, Юрий Иванович! Я просто знаю, мы с ней приятели. Она пошла к Шауре выяснять, почему ее во Францию не пускают. Если бы он ее *вызвал*, она не пошла бы, Юрий Иванович... Она слишком...

Л у б е н ц о в. Вот потому и не пускают, что слишком.

Супруга со знанием дела хохотнула, опытная партийная дама, и позвала:

– К столу, к столу, товарищи!

Все прошли в столовую, очень просторную комнату, где у огромного окна накрыт был стол для семейного обеда.

Лубенцов по дороге к столу вдруг задумался, переменял направление и подошел к оформленному на западный манер «бару», где все западное, валютное красовалось – всякие «скочи» и вермуты.

С у п р у г а. Может, за столом, Юрий Иваныч?

Л у б е н ц о в. Подожди, Варя, до обеда я хочу с товарищем художником выяснить некоторые вопросы, чтобы не сидеть за столом с лягушкой за пазухой. Всех

прошу присутствовать. *(Наливает себе коньяку, вопросительно взглядывает на Олега и не настаивает, когда тот отказывается.)* Я вас, что уж тут темнить, Олег, потому и пригласил сегодня, что мне были доложены подробности вашего позорного поведения в милиции.

О л е г. Ничего позорного для себя не вижу.

Л у б е н ц о в. Ах, так? *(Внимательно, поверх стакана, смотрит на Олега, словно изучает.)* Ничего позорного не видите?

О л е г. Это была с начала до конца гэбэшная провокация.

Л у б е н ц о в. Какая провокация? *(В голосе его слышится отдаленная гроза. Каменное государственное лицо.)* Повторите, какая?

О л е г. Ольга, объясни своему отцу...

О л ь г а *(она понимает, что сейчас произойдет скандал, и еще пытается его предотвратить).* Ребята, может быть, сначала, ха-ха-ха, все-таки пообедаем с лягушками за пазухой? А, папка, Олежка?

О л е г. Объясни, что такое... гэбэшная... гэ... бэ..

Мы видим, что тесть и зять испытывают друг к другу весьма сильное чувство, похожее на ненависть.

Здесь следует заметить, что в течение всей этой сцены Машенька будет кататься по огромной квартире на велосипеде и появляться всякий раз неожиданно, со смехом, с куклами или киской в руках.

Л у б е н ц о в. Вы отец моей внучки, иначе... *(Залпом выпивает свой коньяк, но не делается от этого добрее.)* Разговариваете, словно диссидентская мразь... Кто вы такой, чтобы на вас тратил свои усилия Комитет Государственности Безопасности СССР?!

О л е г. Вот именно, кто я такой? Однако их, видимо, стало сейчас так много, что скоро они начнут воробьев ловить.

Л у б е н ц о в. Вам надо о своем хулиганском диссидентском окружении подумать, а не на Комитет валить.

О л е г. Меня вчера вызывали в профком, и там сидело лицо из гэбе. Угрожали, что если я не прекращу

встречи с иностранцами, то советское искусство без меня обойдется.

Л у б е н ц о в. Почему вы решили, что это лицо из КГБ?

О л е г. По лицу...

Мрачное молчание. Олег останавливается у пианино, наигрывает одной рукой какую-то мелодию.

– Перестаньте бренчать!

О л е г *(достает из кармана какую-то бумажку)*. А это, по-вашему, откуда?

О л ь г а. Что это? *(Пытается выхватить у Олега плотную бумагу с гербами, но тот задерживает ее руку.)*

О л е г. Час назад обнаружил в почтовом ящике... *(Усмехается.)* Причем до того уже откровенность дошла, что даже нет почтового штемпеля на конверте. Приглашение в Израиль. Моя, видите ли, тетя Винник Зора Ицхоковна приглашает воссоединиться с ее семьей.

Л у б е н ц о в. Дайте! *(Протягивает руку, но Олег не двигается с места, и потому тестю приходится подойти самому, что он делает без должного величия, а даже с некоторой суетливостью. Читает. Потрясенный, поднимает глаза, и тут впервые мы можем уловить мелькающий в них страх.)* ...Послушайте, Олег, все это вздор, ведь вы же, в конце концов, наш русский, чистокровный человек... *(Вдруг он орет.)* Да как они смели Ольгу и Машеньку сюда вставлять! *(Берет себя в руки.)* Ну, в общем, я берусь все уладить, если... если, конечно, и вы пойдете навстречу... По крайней мере, объяснитесь по поводу портрета Феликса Эдмундовича... Ну...

Воцаряется молчание. Супруга Лубенцова обняла Машеньку за плечики, как бы говоря – не отдам! Ольга сидит на валике тахты, скрестив руки на груди, совершенно невозмутимая, с каменным лицом, погасшая сигарета в углу рта.

Л у б е н ц о в. Я могу сейчас же позвонить Андропову, и все будет улажено... Лады?..

О л е г (подходит, берет из его пальцев бумажку и аккуратно прячет ее в задний карман джинсов). Не утруждайтесь.

Л у б е н ц о в (с открытой уже угрозой, нажимом.) Это как же понимать?

О л е г. Как понимаете.

Л у б е н ц о в (быстро меняет тон, он как бы старается отвлечь неотвратимое, теперь его голос звучит нравоучительно и даже с некоторыми патернальными интонациями). Многие почему-то не хотят понять, что коммунистические изменения необратимы, даже в нашей стране есть люди, к счастью, ничтожное меньшинство, которое жаждет каких-то других путей, не существующих во времени и пространстве. Вы, Олег, один из этих заблуждающихся. Страна сейчас избавляется от этого балласта, и неужели вы не понимаете того, что, благодаря политике Леонида Ильича, мы делаем это самой малой кровью, фактически без...

О л е г. Почти без убийств, вы хотите сказать? Только лишь лагерями, психушками, высылками за границу, гигантской своей нескончаемой ложью, на которую и я, мерзавец, работал, ставил по Москве ваших истуканов ради куска хлеба. Хватит!

Л у б е н ц о в. Значит, решились, Олег Семенович? В Израиль отчаливаете?

О л е г. Хотя бы в Гренландию, только от вас подальше.

Л у б е н ц о в. А вы, Ольга Юрьевна?

Новая пауза, новое напряжение, все смотрят на Ольгу, которая чиркает зажигалкой, но не прикуривает.

Одна лишь Машенька занята посреди столовой изящным пируэтом.

О л ь г а. Жена да прилепится к мужу.

Лубенцов быстро вышел из столовой. Супруга устремилась за ним. Олег улыбнулся Ольге, развел руками, как бы извиняясь, потом присел к пианино и пропел на мотив какой-то песенки:

– Жена да прилепится к мужу...

Жена да п р и л е п и т с я к м у ж у...

Ольга подтащила стул, села рядом, тоже ткнула раза два в клавиши.

– Ж е н а д а п р и л е п и т с я к м у ж у...

Вдруг они бодро заиграли в четыре руки и запели.

Машенька остановилась посреди пируэта и сунула палец в рот. Выбежала супруга Лубенцова.

– Какой позор!

М а ш е н ь к а. Баба, а что мои папа и мама будут делать, когда вырастут?

Вышел из внутренних покоев и сам товарищ Лубенцов. Никаких рефлексий уже не было видно на его лице: не оставалось сомнений, что решение им принято.

Л у б е н ц о в (*достаточно громко, но без всякой истерии*). Вон из моего дома!

На этом советско-античная сцена завершилась.

По Колпачному переулку в Старой Москве, переваливаясь, тащится приезжая тетка, обвешенная покупками, с огромным «сидором» на плече, с двумя гигантскими авоськами, растянутыми апельсинами.

Падает густой снег. Меж сугробами видна протянувшаяся вдоль тротуара очередь. Тетка заметила очередь, заволновалась, обращается к хвостовым гражданам:

– За чем стоите, робята?

Молодой человек оборачивается к ней, с усмешкой:

– За визами, мамаша.

Тетка, со знанием дела кивнув, присоединяется к очереди.

Мы можем разглядеть людей, ждущих приема в Отделе Виз и Регистрации при Управлении Внутренних Дел Мосгорисполкома: разных возрастов, разных общественных групп и, даже на беглый взгляд, весьма разных национальностей. Впрочем, и среди этого разнообразия Олег и Ольга выделяются, внешность у них и в самом деле варяжская.

К ним приглядывается их сосед по очереди, пожилой человек с пегой бородкой, в каракулевой шапке пирожком, с вечной папиросой в пожелтевших от курения пальцах.

– Простите, молодые люди, вы уверены, что не ошиблись очередью? Здесь ведь только евреи стоят, а не-евреи проходят на второй этаж. Нужно только сказать милиционеру.

Олег раскрыл было рот, чтобы пуститься в объяснения, но Ольга ответила коротко:

– Мы евреи.

Сосед иронически хмыкнул.

– Как изменился нынче этнический тип советского еврея.

Сосед сзади объясняет собравшимся вокруг него женщинам:

– Это нас к приезду Миттерана выпускают, товарищи. Понимаете? Редкая удача, товарищи. Прошлый раз к приезду Гельмута Шмидта мой двоюродный брат получил разрешение, хотя подал позже меня...

Ж е н щ и н а в п о т е р т о м п а л ь т о. Мы ждали три года. Веня когда-то работал в почтовом ящике. Что они там делали? Ах, сплошное дерьмо. Мы получили уже два отказа. Всё продали, не верится, что все позади...

Н е к т о. Скажите спасибо товарищу Миттерану.

Ж е н щ и н а. И-таки спасибо.

О л е г. Видишь, Ольга, люди ждали годами, а мы с тобой всего две недели. Что из этого следует?

О л ь г а. Что мы с тобой самые хорошие евреи.

О л е г. Правильно. И вот тебе еще одно подтверждение. Взгляни на «Волгу» у ворот Института Международного Рабочего Движения.

Ольга смотрит через улицу и видит серую машину с надписью на борту «ТРЕСТ САНТЕХНИКА». Там за стеклом обнаруживается безучастное широкоскулое лицо в очках с толстыми стеклами.

О л е г. Это рыло как будто бы преследует меня все последнее время. Оно похоже на моих персонажей с плакатов, не находишь?

О л ь г а. Прости, Олег, у тебя воображение разгулялось.

В это время на крыльце ОВИРа начинается некоторое бурление, готовится запуск очередной группы.

М и л и ц и о н е р н а к р ы л ь ц е. Граждане еврейской национальности, соблюдайте порядок! Сейчас заходят десять человек, только десять человек!

По всей очереди волнение, и тетка с покупками, до которой не дошло обращение милиционера, уже выступает в своем репертуаре, кричит режущим нервы голосом:

– А вон длинный без очереди полез! Смотрите, что делает! Вот люди! Не пускайте длинного!

Олег и Ольга в числе десяти очередников попадают внутрь ОВИРа. В спину им внимательно смотрит широкоскулая личность в импортных очках.

В кабинете инспектора ОВИРа здоровенная телялошадь тов. Рыжина обменивает эмигрантам внутренние советские паспорта на сомнительные выездные бумажки.

– Хейфиц, вас сколько выезжает? Несовершеннолетних сколько? Почему у вашей бабки год рождения в третьем экземпляре перепутан? Надо быть внимательнее, Хейфиц! Вот здесь распишитесь, вот здесь и здесь.

Многодетный отец Хейфиц в некоторой растерянности направляется в коридор. Олег протягивает товарищу Рыжиной почтовую открытку и два паспорта, свой и Ольгин.

И вдруг что-то особенное ломает эту рутину. Товарищ Рыжина с вытянутым лицом смотрит снизу от стола на Олега.

– Хлебников? Олег? Семенович? Так-так-так...

От брезгливо-деловитого тона не осталось и следа. Инспектор Рыжина, явно в растерянности, делает вид, что перебирает какие-то бумаги, заглядывает себе за спину, где имеется дверь в какую-то еще комнату – видимо, кабинет более высокого чина.

В это время этот высокий чин, нагловатый сорокалетний детина с лицом взяточника и картофельного обжоры, заходит из коридора.

К нему обращается Хейфиц:

– У меня к вам вопрос, товарищ Горошин.

Н а ч а л ь н и к. Я вам уже не товарищ, Хейфиц.

Х е й ф и ц. Как же мне теперь вас называть?

Н а ч а л ь н и к (усмехаясь). Можете называть меня «господин подполковник».

И н с п е к т о р Р ы ж и н а. Глеб Владимирович, тут Хлебниковы пришли.

Горошин, тут же подобравшись, расставшись с глумливым выражением лица, молча забирает паспорта Олега и Ольги и удаляется в свою комнату.

Олег и Ольга в невероятном напряжении. Казенное убранство кабинета, плакат «ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!», шкафы с делами... Неопределенно постукивающая багровыми ногтями по столу товарищ Рыжина, растерянный Хейфиц, трясущаяся жена, бабушка, величественная, как Екатерина II.

Х е й ф и ц. Товарищ Рыжина...

Р ы ж и н а (досадливо). Марк Петрович, вам же сказали...

Х е й ф и ц (на грани некоторой истерии). Значит, я уже не товарищ... Воевал, был товарищ... пробито легкое... и я уже не товарищ...

Вышел начальник Горошин и с любезной миной обратился к Олегу и Ольге:

– Вот ваша виза, Олег Семенович. *(Протянул розовую бумажку.)* А вам, Ольга Юрьевна, в визе на выезд отказано. *(Вернул Ольге ее «краснокожую паспортину».)*

У Олега потемнело в глазах, идиотский плакат прокрутился тусклой полосой...

О л ь г а. Мы муж и жена. Вы соображаете, что говорите?

Г о р о ш и н. Я соображаю, что говорю. Я выполняю распоряжение вышестоящих инстанций. Все понятно? Больше вас не задерживаю. *(Он открыл дверь и позвал дежурного милиционера.)* Проводите... вот этих. *(И когда за Олегом и Ольгой закрылась дверь, явно с облегчением вздохнул и благодушно к Хейфицу.)* Ну-ну, Хейфиц, радоваться должен, скоро заживешь буржуем.

Когда Олег и Ольга вышли на крыльцо, там базарила изгнанная мешочница:

– Значит, евреям дают? А русского человека опять обманули?

Они медленно брели вниз по Колпачному. Шел снег.

Было почти безлюдно, только метрах в двадцати за ними тихо двигалась серая «Волга». Ольга все еще держала в руках свой паспорт.

О л е г. Они думают, что меня выпрут, а дочь товарища Лубенцова оставят?! Наглые мерзавцы! Зачем подписывали Хельсинкскую декларацию?! Привыкли издеваться над людьми! Сейчас же соберу пресс-конференцию! Прямо вот сейчас позвоню в «Нью-Йорк таймс»!

Ольга вдруг слабо вскрикнула и упала на скользком тротуаре. Паспорт выпал из ее рук и лежал теперь на сугробе красным пятном.

О л е г (бросается к ней). Что с тобой?

О л ь г а (в отчаянии пальцем тычет в сторону паспорта). Посмотри, посмотри, Олег, что там внутри! Они поставили там печать о разводе!

Всхрапнул позади мотор – это разворачивалась в обратную сторону серая «Волга». Она двинулась вверх по улице с односторонним движением, оставляя позади один за другим три красных знака «проезд запрещен».

В этом месте сценария автор предлагает режиссеру откровенную любовную сцену.

Ночь. Студия Олега освещена только уличным фонарем из окна. Серебрящийся снег за стеклом, на карнизе.

Олег и Ольга в постели, катаются среди скрученных простынь и скомканных одеял, мучают друг друга, словно они не супруги с многолетним уже стажем, а недавние любовники. Вот Олег отпивает глоток воды из стоящего рядом стакана и продолжает, продолжает.

– Ну, Олег, ты уймешься когда-нибудь? – со слабым смешком шепчет Ольга, но все продолжается, продолжается...

Пустая улица за окном, падающие снежинки, голые ветви бульвара, дурацкое лицо Брежнева на фронтоне Комбината печати. «ПЕЧАТЬ – ОСТРЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ НАШЕЙ ПАРТИИ!»

Наконец, они разлепились и лежат, тяжело дыша, их лица покрыты крупными каплями пота.

О л ь г а. И все-таки ты уедешь, Олег...

О л е г. Нет!

О л ь г а. Без тебя мне будет легче выбраться. Отец готов на все, а ты видишь, какая у него власть, как они считаются с твоей Хельсинкской декларацией... Ты уедешь, Олег... Вот увидишь, так будет лучше... Если ты не уедешь... ты же знаешь, они могут всё... Вспомни Костю Богатырева, Женю Рухина...

Олег вылез из постели, прошел на кухню за сигаретой; возвращаясь обратно, заглянул в соседнюю маленькую комнату, где мирно спала Машенька, подошел к окну и открыл форточку. Морозный свежий ветер дохнул ему в лицо, и он вдруг бездумно, по-юношески, чему-то обрадовался, глаза зажглись вдохновением. Затем, должно быть, устыдившись, он нахмурился и позвал: «Ольга!» Она не отвечала, спала, раскинув руки, измученная его любовью, улыбка как бы блуждала по ее лицу.

О л е г. Нет уж, дудки, не уеду один...

Шереметьевский аэропорт, отправка самолета на Вену. Основные пассажиры – отъезжающие евреи.

Идет «шмон» ручного багажа. Мы видим в толпе немало знакомых по очереди в ОВИРе лиц. Среди отъезжающих и Олег. Он стоит в очереди к таможенному досмотру. Он почти в протрации. За многочисленными стеклянными перегородками он уже потерял надежду увидеть в последний раз жену и дочь.

Между тем, таможенники активно «трудятся». Вот у какого-то молодого интеллектуала вырвали из книги титульный лист:

– Запрещается вывоз книг с дарственными надписями...

У старушонки изымается аляповатый подсвечник.

– Предмет старины, мамаша...

Плотный, близкий уже к пенсионному возрасту таможенник весьма ловко, профессионально «шмонает» багаж еврейского семейства. Семейство, очевидно, волнуется, однако глава, «представительный», лет 60 человек, успокаивающе похлопывает жену по руке. Чиновник обнаруживает в чемодане железную коробочку, откры-

вает ее – там драгоценности. Смотрит в глаза главе семейства.

– Разве вы не знаете, что можно ценности до 200 рублей? Придется составить акт на конфискацию.

Г л а в а с е м ь и (*еле слышно*). Сергей Владимирович, побойтесь Бога! Ведь мы же договаривались. Вы получили деньги...

Т а м о ж е н н и к. Перестаньте провоцировать! Я могу аннулировать вашу визу!

Глава семьи машет рукой в отчаянии.

В зале стоит гул десятков голосов, кое-где слышится плач, иногда и вызывающий смех.

Проходит на посадку более удачливое семейство, которое лучше «договорилось», – три носильщика катят тележки с их багажом.

Ольга с Машенькой металась в общем зале аэропорта. Она пыталась объяснить служащим, что не успела еще попрощаться с мужем, нельзя ли ей пройти хотя бы на балкон, хотя бы махнуть рукой...

– Отъезжающие в Израиль уже попрощались, – объясняли ей служащие.

– Да как же? Мы не успели даже и посмотреть друг на друга...

Служащие сердились:

– Вы, что, русского языка не понимаете? Сказано, евреи попрощались...

Вдруг Ольгу окликнули по имени. К ней приближался крупный таможенный чин в отутюженном, ловко сидящем на нем, сером мундире. Это был ее бывший соученик Жильцов.

– Ольга, что ты тут делаешь?

О л ь г а. Жильцов, проводи меня на балкон. Мой муж уезжает в эмиграцию.

– No problem¹, –

со смехом сказал Жильцов, взял ее под руку, а Машеньку за руку. ...Сверху, с балкона, они увидели зал тамо-

¹ – Никаких проблем.

женного досмотра и среди шапок и шляп белую гриву Олега.

– Ваш багаж? – обращается к Олегу таможенник.

Олег молча ставит на досмотровый стол свою единственную сумку.

– Где остальное?

Олег пожимает плечами.

– Нет остального.

К нему быстро подошел Жильцов и тронул за плечо.

– Олег Семенович, посмотрите вот сюда. С вами прощаются.

Олег поднимает голову и видит на балконе жену и дочку. Они весело, очень жизнерадостно машут ему, посылают воздушные поцелуи и даже приплясывают. Их настроение ободряет и Олега, он посылает им поцелуй и показывает два расставленных пальца – западный жест – Victory!

– Проходите к пограничному контролю!

Вместе с другими эмигрантами Олег переходит еще одну стеклянную грань и теряется из вида.

Ольга и Машенька идут к выходу общего зала аэропорта. Жильцов провожает их и, надо сказать, выглядит несколько растерянным и смущенным.

Ж и л ь ц о в. Как давно мы не виделись, Оля...

О л ь г а (*через силу*). Кажется, первый раз после института?

Ж и л ь ц о в. Третий раз. (*Смущается еще больше, нагибается к Машеньке.*) Машенька, ты любишь маму?

М а ш е н ь к а (*не без вызова*). И папу тоже!

Ж и л ь ц о в. Конечно, конечно...

Последние пяди священной земли социалистического отечества. Пассажиры поднимаются по коридору в самолет.

У люка стоит молодой пограничник, широкое плоское неподвижное лицо, как будто он сын того чекиста, что следил за Олегом.

Олег застывает и смотрит парню в лицо. Тот не шевелится, не мигает.

О л е г (тихо). Прощай, болван...

...Закрываются двери самолета. Лицо молодого солдата искажается едва ли не детской обидой.

– Я вам не болван, я вам не болван, – шепчет он.

Кабинет в ГБ. Широкоскулый куратор Олега передает его «досье» секретарше.

– Отправьте Хлебникова в архив, Софа, а мне принесите папку Хризантемова...

Мид-таун Манхэттена в разгаре делового дня: автомобильные пробки, разгружающиеся грузовики, ремонтные машины, отбойные молотки – дикий звуковой фон, дополняющийся еще музыкой из дверей бесчисленных магазинов; всеязычная толпа, текущая по Пятой Авеню, по Мэдисон, по 57-му стриту; развороченные мостовые, ямы и выбоины в асфальте и над ними роскошные витрины; мусор, мешки с отбросами, уродливые пожарные лестницы на мрачных фронтонах и ослепительные стеклянные поверхности новых небоскребов...

В деловой толпе то и дело мелькают странные личности, создающие удивительную жизнь улицы – вот вдруг кто-то затанцевал, закружился и запел, вдруг возвысился над толпой седобородый «пророк», мелькнул человек, играющий на пиле, саксофонист у стены, ободранный рисовальщик и т. д. и т. п...

В этом вареве, которое в принципе должно занять немалый кусок экранного времени, ибо оно представляет собой некий музыкальный и лирический контрапункт нашей истории, то и дело мы можем видеть нашего героя, Олега Хлебникова: ест франкфуртер, курит, глядя на Empire, спрашивает дорогу у черного полицейского, разговаривает с двумя сомнительными девицами.

Мы видим, что он возбужден, глаза горят, волосы растрепаны, и если бы можно было нарисовать на асфальте его путь, то получился бы прерваннейший пунктир: словом, поведение его типично для русского эмигранта, впервые попавшего в самое пекло «Большого Яблока».

Но вот он, наконец, у цели – Park Avenue. Вынимает визитную карточку «Charles Херох». Дом № 2121. Шикарный подъезд, тент с кистями, дормэн в ливрее, алюминиевые двери лифтов.

Дормэн останавливает Олега, тот пытается объяснить, сует визитную карточку. Дормэн снимает телефонную трубку, говорит довольно развязным тоном:

– Hi, mister Хerох! I have a guy here... he wanna see you, sir...

Г о л о с Х е р о х' а. I don't expect anybody.

Д о о р м а н. This guy telling me he's from Russia. Does it mean something for you?

Х е р о х. His name?

Д о о р м а н. I can not pronounce that, sir.

Х е р о х. Try anyway!

Д о о р м а н. Kidding?

Х е р о х. Oh, My! Let him in!¹

Олег выходит из лифта. Он явно обескуражен: ожидал увидеть шикарную галерею, а попал в темноватый коридор с десятком дверей, среди которых не так-то просто найти нужную. Вот, наконец, медная табличка «The International Art».

Ему открывает дверь белокурый юноша с двумя косичками и обнаженной грудью.

– Come in, please².

Юноша, оказывается, не так уж и юн, горькая морщина пролегла в углу рта. Он с интересом осматривает Олега.

¹ – Алло, мистер Ксерокс! Тут один парень... Он хочет вас видеть, сэр...

– Я никого не жду.

– Этот парень говорит, что он из России. Это вам что-нибудь говорит?

– Как его зовут?

– Я не могу произнести, сэр.

– Попытайся, все же!

– Смеетесь?

– О, Господи! Впусти его!

² – Входите, пожалуйста.

О л е г. I am from Moscow.

Ю н о ш а. Let's be friends! (*Протягивает Олегу руку, глубоко заглядывает в глаза.*) How old are you, my dear?

О л е г. I would like to see mister Xerox¹.

Он оглядывает большую комнату, несколько мрачноватую, заставленную разнотильной мебелью, с двумя-тремя какими-то невыразительными абстракциями, с камином и софой, вызывающей некоторую брезгливость.

Ю н о ш а. Tell me, Dick, do you love music? Tell me honestly don't you...²

Олег явно растерян, он явно не ожидал увидеть здесь что-либо подобное и уж никак не ожидал встретить такого жалкого и бедного фальшивого юношу.

Ю н о ш а (*с пластинкой в руках*). And now, attention! Aram Khachaturyan! Dance with the sabres!³

Под звуки хачатуряновской музыки он начинает бурно летать по холлу, явно предполагая, что является предметом созерцания.

Олег вдруг замечает плакат с надписью «Expose yourself to art», на котором изображен клошар, раскрывший пальто, надетое на голое тело, перед скульптурой обнаженной женщины. Он усмехается.

Ю н о ш а (*явно огорченный невниманием Олега, подбегает к плакату*). I hate it, I really hate this stupid poster!⁴ (*Протягивает руку, чтобы сорвать ненавистную вещь, но оборачивается на звук шагов.*)

На пороге, в луче солнечного света, появляется Чарли Ксерокс. В луче света плавают пылинки, и сам Ксерокс кажется слегка пыльным, во всяком случае далеко не таким роскошно-загадочным, как на чердаке у Лики Димитриади.

¹ – Я из Москвы.

– Будем друзьями... Сколько тебе лет, дорогой?

– Я хотел бы видеть мистера Ксерокса.

² – Скажи мне, Дик, ты любишь музыку? Скажи мне честно, ты не...

³ – А теперь внимание! Арам Хачатурян! Танец с саблями!

⁴ – Я ненавижу это, действительно ненавижу этот дурацкий плакат!

К с е р о к с. Leave the poster alone, Jimmy.

Ю н о ш а (*капризно*). I hate it! (*Срывает плакат.*)

На стене остается лишь клочок этого забавного плаката.

К с е р о к с. Idiot!¹

«Юноша», оскорбленный, отходит к окну и, завернувшись в портьеру, усаживается на подоконник, где и будет пребывать в течение всего разговора Олега и Ксеркса.

Глаза Ксеркса привыкли к сумраку комнаты, и он заметил Олега. Улыбнулся несколько натянуто.

– А, это вы! Честно говоря, не думал, что... Что вы так быстро здесь окажетесь. Рассчитывал, что выставлю вас как московского нон-конформиста...

О л е г. Так получилось.

К с е р о к с. Жаль, жаль... (*С наигранной бодростью.*) Но главное, вы здесь, и потому – welcome to New York, Boris!²

О л е г. Олег, с вашего разрешения. (*Видно, что ужасно волнуется.*) Скажите, пожалуйста, как мои холсты? Могут ли я их видеть?

К с е р о к с. Простите, Олег... Конечно же, Олег... Олег и Ольга, да-да... Чудесный был вечер... Холсты, увы, еще не прибыли. (*Прохаживается по комнате: приблизившись к окну, примирительно кладет руку на плечо обиженному «юноше»; засовывает сброшенную с плеча руку себе подмышку, слегка подчихивает, сморкается, чуть-чуть скребется, потом жестом приглашает Олега к конторскому столику и зажигает над ним яркую лампу.*) Впрочем, Олег, мы, конечно, подпишем договор на тех условиях, о которых я говорил в Москве. О'кей?

О л е г (*у него явно отлегло от сердца*). Конечно, о'кей. Оф корс, конечно... Где подписать?

К с е р о к с (*улыбается*). Какой вы стремительный. Договор подготовит адвокат. На это уйдет дней десять, не меньше... Впрочем, я на него нажму, может

¹ – Оставь плакат, Джимми.

– Я ненавижу его.

– Идиот.

² – Добро пожаловать в Нью-Йорк, Борис!

быть, хватит и недели. ОК, я жду вас здесь ровно через неделю. Разочарованы, Олег? Ну-ну, через неделю вы будете well-to-do-artist!¹ Что-то вы скисли, друг? А, понимаю! Должно быть, совсем без денег? ОК, сейчас посмотрим, может быть, наскребу в этом ящике какую-нибудь наличность...

Он открывает ящик своей конторки и одновременно раскуривает сигару. «Юноша» на окне фыркает и производит брезгливо:

– That’s disgusting smoke. I hope you are not a smoker, my handsome Oleg?²

Ксерокс выныривает из своей дымовой завесы с пачкой долларов в руке и подмигивает Олегу.

– У нас тут семейные неурядицы. Нет ничего хуже семейных ссор. Согласны? Вам удастся поддерживать мир в семье?

О л е г. Моя жена осталась в Москве.

К с е р о к с. Счастливый человек! В самом деле, довольно глупо приезжать в Нью-Йорк с женой. Вот смотрите, Олег, я наскреб для вас две тысячи. Хватит на неделю?

О л е г (безмятежно улыбается, пачка долларов как рукой сняла все волнения, ему уже кажется, что фортуна никогда не изменит – такова натура нашего героя, его не назовешь человеком с железными нервами.) Ну, постараюсь, подожду, авось дотяну, мистер Ксерокс.

Чарли Ксерокс тоже изменился на глазах, он тоже улыбается, похлопывает Олега по плечу, поглядывает на «юношу», как бы призывая и его разделить общее хорошее настроение, и тот, надо сказать, тоже вроде бы уже готов расстаться со своей надутостью.

К с е р о к с. Авось! Как я люблю это русское слово. Авось! В этом суть. Авось, авось. (Кричит «юноше».) Слышишь, дурак? Авось! Так и Андрюша Вознесенский говорит – авось! Ну, вот, через неделю, в честь подписания нашего контракта, мы устроим пир. Авось!

¹ Преуспевающим художником.

² – Отвратительный дым. Я надеюсь, ты не куришь, мой маленький Олег?

«Юноша» прыгнул с подоконника и подлетел к Олегу, обнял его за талию и заглянул в глаза.

– Авось?

Солнце было в зените, когда Олег встретился в Гринич-Вилледже со старым другом Мишей Шварцем.

– Удача, Мишка! Посмотри! *(Показывает Шварцу пачку своих долларов.)* Это он мне кинул на семечки! Воображаешь? Я уже переехал в «Плазу».

Ш в а р ц. Сотня в день?

О л е г. Сто десять, но это...

Ш в а р ц. Crazy!¹

О л е г. Ерунда, я чувствую – начинается полоса удач. Я это всегда чую...

Они заходят в бар «Sterling» и попадают из слепящего дня в прохладный мрак, где поначалу никого не видно, и слышно лишь, как кто-то в глубине зала упражняется на саксофоне.

Когда глаза привыкнут к темноте, мы увидим за стойкой бартендера Соловейко, отчетливо южно-русский, т. е. одесский тип молодого человека средних лет.

Ш в а р ц. Знакомьтесь, это мой старый друг Олег Хлебников.

С о л о в е й к о. Очень приятно, Шура Соловейко.

О л е г. Откройте бутылку шампанского, пожалуйста. Есть у вас «Вдова Клико»?

С о л о в е й к о. Возьмите лучше калифорнийский «Корбель». В три раза дешевле, а вкус не хуже.

О л е г. Нет, нет, «Клико», пожалуйста. *(Бартендер, улыбнувшись, идет за бутылкой.)* Где мы, Мишка? Как будто и не эмигрировали – все говорят по-русски...

Ш в а р ц. Мы здесь все, понимаешь ли, друг за друга держимся и временами, действительно, просто не замечаем американской жизни. Вот Соловейко недавно купил половину этого бара. Теперь у нас уже свой форпост в Гринич-Вилледже...

¹ – Рехнулся!

О л е г. Надеюсь, хотя бы саксофонист – американец.

Он смотрит на саксофониста, сидящего к ним спиной в глубине бара и репетирующего свои «квадраты».

Ш в а р ц. Не уверен.

Бартендер ставит перед ними бокалы, открывает бутылку.

О л е г. Налейте, пожалуйста, и себе.

С о л о в е й к о. Благодарю. Это у вас проблемы с женой? В таком случае, вам повезло – вы встретили Соловейко.

О л е г. Кого?

С о л о в е й к о. Меня. Ну, со свиданьем! Я тебе помогу. Считаю, что с ложкой во рту... I beg your pardon¹... Это уже перевод с английского. Считаю, что в рубашке родился. Тебе действительно повезло. Слушай сюда. Ты со мной?

О л е г. В каком смысле?

Ш в а р ц. Это опять перевод с английского. Просто Соловейко просит внимания.

С о л о в е й к о. Сакс будем слушать или Соловейко будем слушать? ОК, слушай. Май казен Додик собрался за бугор со всей своей мешпухой. Поймал? У Додика сын неженатый Сенька. Мы ему устраиваем бумажную женитьбу с твоей разведенкой.

Ш в а р ц. Бумажная женитьба – это тоже прямой перевод. В общем, фиктивный брак.

О л е г. Гениально, но вряд ли получится.

С о л о в е й к о. У Додика не получится? Kidding?² У него там такая система смазки разработана. Гэбэшка, братцы, тоже берет на лапу, I bet!³

О л е г. Гэбэ берет на лапу?

С о л о в е й к о. Старо, как мир! (Вытаскивает из-под стойки телефон.) Ну, попробуем!

О л е г (несколько растерян). Прямо отсюда?

С о л о в е й к о. Ты любишь тянуть быка за яйца?

¹ Прошу прощения...

² Смеешься?

³ Ручаюсь!

Соловейко не любит. Киев я набираю маленьким пальцем (показывает мизинец).

Ш в а р ц. Мизинцем.

С о л о в е й к о. Вот именно. (Набирает систему цифр.) Алло, дед Арон, это Шурик из Нью-Йорка. Как твое ничего-себе-молодое? Дай-ка Додика, дед Арон! Додик, хочу с тобой посоветоваться. (Начинает говорить, как-то странно растягивая или обрывая слова, иногда заглядывает в какую-то таблицу.) Мой босс решил купить икру на Аляске, а цены идут вверх. Много дешевле стал сыр. Тот, кто любит икру, будет есть сыр. Да-да, сыр. Разница восемьдесят пять процентов. Конечно, главное здоровье. Мази, аспирин – вот что поможет. Жду писем и телеграмм. Большой комсомольский привет Семену. Целую. Соловейко. (Брякает трубку, хохочет, очень довольный.) Все в порядке, бадди! Можешь отправлять жену в Киев. Вот тебе адрес (пишет). Давид Басицкий, Крещатик 7 – 21, Киев, поймал?

О л е г. А Додик-то поймал?

М и ш а. У них, как видишь, код какой-то разработан.

С о л о в е й к о. Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики.

Все трое расхохотались. Подошел саксофонист, посмотрел на них, присел на соседнюю табуретку, сказал по-русски:

– Привет, чуваки!

О л е г. Еще две бутылки «Клико». Я же тебе говорю, Мишка, начинается полоса удач...

Ранняя весна в Москве. Подтаивающие, чернеющие сугробы, лужи вокруг. С крыш сбрасывают тяжелые пласты снега.

Проехавший по лужам самосвал со снегом окатил волной грязи желтенький «жигуленок» Ольги Хлебниковой, стоящий у обочины. Заработали «дворники», и мы увидели Ольгу и рядом с ней Дору Каплан, суровую молодую особу с определенно диссидентским выражением лица.

Машина стояла у подножия широченной и пологой лестницы, в которой любой москвич может распознать

лестницу «Ленинки», т. е. Государственной Библиотеки имени В. И. Ленина.

В руках у Ольги был тонюсенький листок папиросной бумаги – письмо от Олега. Она жадно перечитывала его, явно не в первый раз, и чуть ли не задыхалась от волнения.

«...отправляйся сразу же в Киев, Крещатик, 7, кв. 21. Там ты найдешь Давида Басицкого. Он все объяснит. Мои дела идут блестяще, скоро будет подписан договор и устроена выставка «Долгожданных животных», а если киевский вариант выгорит, скоро будем вместе. Соскучился страшно...».

Д о р а К а п л а н. Простите, я спешу. У вас больше нет ко мне вопросов?

О л ь г а. Боже мой, Дора, что означает этот адрес в Киеве?

Д о р а. Я ничего не знаю. Меня просили передать это письмо, что я и сделала. Засим прощаюсь.

О л ь г а (умоляюще). Дора, но неужели вы не понимаете? Мой муж там, а я здесь...

Д о р а (усмехается). Сногсшибательно! Невероятно! Первый случай за всю эмиграцию!

О л ь г а. Я понимаю, вы из какого-нибудь правозащитного комитета. Я бы хотела... Не могла бы я...

Д о р а. Простите, но мне пора...

Не попрощавшись даже, как следует, Дора хлопнула дверью машины. Ольга смотрела ей вслед. Дора строго передвигала тонкие ноги в дешевых сапогах «под кожу». Она приближалась к группе женщин, которые, очевидно, ее ждали. Вместе с Дорой их стало восемь.

Дворники широкими лопатами сгребали вокруг мокрый снег.

Вдруг все, кто был на площади перед «Ленинкой», почему-то стали смотреть на группу из восьми женщин. Мгновенная пауза, предчувствие чего-то неожиданного.

Ольга выскочила из машины и побежала к женщинам, перепрыгивая через лужи.

Женщины разворачивали скатанные в трубку плакаты, вытащили из сумки матерчатый лозунг, подняли его над головами:

«ТРЕБУЕМ СВОБОДНОГО ВЫЕЗДА В ИЗРАИЛЬ!»

Демонстрация! Мелькнуло изумленное лицо постового. Пробежал некто в светлом анорাকে, щелкая автоматической фотокамерой. Двое в шляпенках ринулись за ним. Тетка, обвешанная сумками, остановилась, открыв рот. Затормозила черная «Волга», из нее выскочили гэбэшники в штатском, подбежали к женщинам, крича что-то постовому милиционеру – вызывай, дескать, фургон.

Ольга опередила гэбэшников и присоединилась к демонстрации. Сердитое лицо Доры Каплан. В последний момент она все же чуть-чуть подвинулась и дала Ольге прикоснуться к тряпице лозунга.

Штатские гэбэшники пытаются вырвать у женщин лозунги и плакаты. Происходит что-то вроде неуклюжей и вполне неприличной свалки. Из всей звуковой каши, наконец, прорезалось отчетливое:

– Ну, погодите, жидовки!

Вдруг обнаружилось, что безобразную сцену кто-то еще снимает; на этот раз киноаппаратом из микроавтобуса «Volkswagen».

Часть гэбэшников бросилась в сторону «VW». С разгону влетели по ступенькам вверх два милицейских мотоцикла. Силы порядка становились все гуще. Подкатил фургон.

Лозунги вырваны и смяты. Женщин, и среди них Ольгу, заталкивают в фургон. Изумленная физиономия мешочницы.

Резкий, как электропила, крик бабы:

– Чаво украли? Люди добрые, чаво украли?

Юрий Иванович Лубенцов играл в теннис в просторном и пустом зале. Неплохо получалось даже и после дня государственных забот. Бум, бум, вполне технично он отбивал мячи, посылаемые спарринг-партнером, профессиональным теннисистом. Каменным истуканом сидел у стены его телохранитель, только глаза бегали вслед за мячом.

У другой стены сидела мрачная замкнутая Ольга. Она старалась не смотреть в сторону отца и вообще как бы подчеркивала, что она здесь чужой человек, да и зашла ненадолго, даже куртку не скинула.

Лубенцов поглядывал на дочь.

– Эй, Ольга, разделась бы, сыграла! Подмени Сережу!

О л ь г а. Я на пять минут. Мне нужно тебе кое-что сказать.

Л у б е н ц о в (*прыгает по площадке, как молодой*). А почему бы тебе не сыграть? Ты совсем забросила теннис. Это не-хо-ро-шо-о-о-бум! (*Идет с мячом на линию подачи и останавливается возле дочери.*) Не хочешь ничего общего иметь с правящим классом, да? Презираешь?

О л ь г а. Ты можешь прерваться хотя бы на минуту?

Л у б е н ц о в. Одного не понимаю... (*Подает мяч.*) Если ты политически против (*отбивает драйв партнера*)... то хотя бы... (*теряет мяч*) должно же у тебя быть хотя бы национальное сознание? Ведь с чужаками связалась... Не стыдно? Не противно?

Ольга встает и, чуть-чуть подпрыгнув, перехватывает мяч. Подходит к отцу.

О л ь г а (*тихо*). Я пришла тебе сказать одну вещь. Если ты еще раз помешаешь мне уехать, я посажу себя в тюрьму. (*Отдает отцу мяч и быстро выходит из зала.*)

Лубенцов некоторое время молча смотрит ей вслед, потом, слегка закусив губы, возобновляет игру. Несколько сильных ударов. Выходит к сетке, и тут его партнер, видимо, забывшись на мгновение, начинает бить в полную силу. Мяч вдруг влетает прямо в лоб Юрию Ивановичу. Юрий Иванович, на мгновение потерявший координацию, падает плашмя на площадку.

С медвежьим храпом телохранитель тут же наваливается на партнера Сережу.

Юрий Иванович через мгновение уже на ногах, возмущенно кричит телохранителю:

– Тело, дурак! Ты кем при мне поставлен? Телохранителем! Твое первое движение должно быть ко мне, к

телу! Все разваливается из-за неучей и олухов! Поучился бы у Сергея, как надо вникать в профессию. Сережа, твоя подача!

Теннис возобновляется.

Знакомый уже нам подъезд дома на Парк-Авеню в Нью-Йорке. Знакомая порочная физиономия дормэна ухмыляется в спину Олегу Хлебникову.

Олег выходит из лифта на нужном этаже. Дверь апартаментов Чарли Ксерокса почему-то открыта. Изнутри доносятся громкие голоса. С порога он видит нескольких людей, занимающихся установкой какого-то сложного фотографического оборудования. Квартира неузнаваема, все двери открыты, исчезли шторы и драпировка, исчезла тяжеловатая мебель, рояль, картины...

Олег потряс головой, ему стало даже слегка не по себе от неузнавания. Может быть, ошибся дверью? Но нет – вот висит на прежнем месте обрывок плаката, сорванного в прошлый раз капризным «юношей»...

Озабоченные молодые люди не обращают на вошедшего никакого внимания. К кому бы он ни обращался...

– Can I see mister Xerox? Where is Charley Xerox, please?¹ –

...все только пожимали плечами.

Один из фотографов довольно бесцеремонно попросил Олега:

– You guy do me a favor, take a spot for a moment², – и сфотографировал растерянную физиономию на фоне белой стены; видимо, ему нужно было прикинуть свое рабочее место.

Наконец, Олег определил мэнеджера, делового субъекта в твидовом пиджаке и темных очках, показал ему визитную карточку и спросил:

– What's going on?³

Мэнеджер повертел в руках карточку, потом его как будто бы осенило:

¹ – Могу я видеть мистера Ксерокса? Скажите, пожалуйста, где Чарли Ксерокс?

² – Эй, чувак, сделай мне одолжение, попозировуй один момент.

³ – Что происходит?

– Well, this fellow is gone. He sold the studio to my boss and went home.

О л е г. Home? Where is his home?

М э н е д ж е р. Ask me an easier question, buddy. Somewhere abroad, I guess. Well, somewhere in Australia, I guess... Why? What's the matter with you?¹

Вдруг на мгновение перед глазами Олега как бы вспыхнул ярчайший свет и он увидел, что стены студии оклеены его московским кошмаром – плакатами массовой агитации. Ничего больше в поле зрения, только Брежнев, ракетчик, рабочий, Брежнев, Ленин... Он тряхнул головой и снова увидел суетящихся рабочих и менеджера, который повторил свой вопрос:

– What's the matter with you?

О л е г. Nothing...²

Другой бы, может быть, и не поверил в неожиданное несчастье, в коварный поворот судьбы, попытался бы еще что-то спасти, куда-то бы еще помчался, стал бы, что называется, трепыхаться, нашему герою достаточно было «Австралии», чтобы убедиться, что все рухнуло, все пропало, он обманут, предан, и началась черная полоса его жизни.

Он идет по манхэттенским улицам, медленно тащится со своей московской сумкой. Мелькающие огни на Сорок Втором стрите, черные физиономии развязных проституток – «Come on, honey?!»³, вырывающаяся вдруг из-за угла буйная толпа подростков, преследующая несущегося в ужасе человека без штанов, вздыбившиеся лошади двух конных копов... В этой свалке постепенно растворяется фигура Олега Хлебникова. Быть может, в последний раз

¹ – Ах, да, тот приятель уехал. Он продал студию моему хозяину и уехал домой.

– Домой? А где же его дом?

– Спроси что-нибудь попроще, кореш. Где-то за границей, где-то в Австралии. А что? Что у тебя случилось?

² – Что у тебя случилось?!

– Ничего...

³ – Пошли, милоч?!

мы увидим его прыгающим в автобус-экспресс, курсом на аэропорт JFK¹.

«...Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, родная армия...»

Грохочущая музыка из телевизора. Под этот марш на экранё проходят танки и бронетранспортеры, проносятся реактивные самолеты.

Мы видим атлетически сложенного молодого человека – Сеню Басицкого, который сидит вполоборота к телевизору за обеденным столом, одним глазом созерцает прохождение войск, другим – содержимое тарелки.

– Сенька, что ты смотришь этот милитаризм? Выключи! – слышится повелительный старческий голос.

Неожиданно мы оказываемся среди незнакомых людей. Большая еврейская семья за обеденным столом. Во главе стола восседает дед, Арон Басицкий, рядом с ним его сын Давид, лет 50, при одном взгляде на него сразу скажешь «энергичный человек», жена Давида Роза, что называется, «настоящая киевская дама», трое их детей, упомянутый уже выше Семен, парень лет 25, и две девочки в нежном возрасте – Мусик и Тусик.

В ответ на реплику деда Сеня Басицкий лишь пожал правым атлетическим плечом.

– Интересно, вот и смотрю...

Д е д. Что тут интересного? Они хвастаются *своими* железками, а ты смотришь, как дурак!

Р о з а. Папа, в самом деле! Мальчик служил в десантных войсках! Сеня, скажи!

Сеня пожал левым атлетическим плечом.

Д е д. Роза, ты дура!

Р о з а (*оборачивается к мужу, беспомощно*). Додик, и как тебе это нравится? И мы вместе едем в Америку!

Д е д. Можете не ехать в Америку!

Д а в и д (*обращается к отцу как к явному своему любимцу и баловню*). Дедушка, дедуля, что-то ты сегодня разошелся...

¹ Джона Фитцджеральда Кеннеди.

Слышится звонок в дверях, и Тусик с Мусиком бросаются открывать. Давид, их папа, тут же встает, чтобы укрыться в спальне, кричит вслед:

– Если участковый, меня нет!

Д е д. Успокойся, это Соня (*смотрит на Розу*).

Р о з а (*со значением*). Соня уже три дня лежит без движения.

Д е д. Дай Бог тебе такое движение, как у моей сестры Сони.

Тусик и Мусик возвращаются с Ольгой Хлебниковой, восхищенно взирают на стильную особу.

– Папа, это... не участковый...

Ольга растерянно озирается под взглядами всего семейства, вертит в руках листок бумаги с адресом.

– Простите, я не ошиблась? Вы Басицкие?

Недоуменные взгляды семьи. Мама Роза поджала деликатные губки, но ответила неделикатно:

– С утра были Басицкими.

Дедушка Арон вдруг закричал яростно:

– Стул!

Тусик и Мусик подпрыгнули в ужасе.

– Дедушка! Дедушка!

Д е д А р о н. Стул для дамы, неучи и невежды!

Сенька тут же предложил Оле стул. Тусик и Мусик – кофе. Додик цепким взглядом озирает Ольгу, Роза смотрела неприязненно, а дед Арон сиял и поглаживал свой уса ля Серго Орджоникидзе.

О л ь г а. Я не совсем понимаю, почему я здесь... но вот у меня письмо... от мужа... из Америки...

Д е д А р о н (*не без блаженства*). Из Америки?

О л ь г а. ...И там сказано, чтобы я передала вам привет из бара «Стерлинг».

Д о д и к (*восторженно*). Да ведь это же от Шуры Соловейко! (*Оборачивается к сыну*.) Сенька, это твоя невеста приехала!

Сеня Басицкий мягко улыбнулся и вышел из столовой.

Р о з а (*возмущенно*). То есть как это – невеста? Муж в Америке, и она еще невеста?

Вернулся Сеня Басицкий в отличном кожаном пальто с ондатровым воротником.

– Я готов в загс.

Мама Роза в отпаде. Дед Арон бурно аплодирует.

Ольга и Сеня Басицкий шли по широкому тротуару Крещатика, мимо очередей в молочную, гастроном, универмаг, в магазин «Киевские торты» и в «Ювелирный». Публика оглядывалась.

– Что это они оглядываются? – нервно спросила Ольга.

Семен мягчайшим образом улыбнулся (удивительная у парня улыбка) и успокоил ее:

– Не нервничайте. Это не на вас оглядываются. Это на меня оглядываются.

О л ь г а (*с некоторой насмешкой*). А вы-то что за звезда?

С е н я (*скромно*). Я за «Динамо» в основном составе играю.

О л ь г а. Ого! Значит, вы... (*Она вдруг осознает, что в этой насмешливой интонации есть нечто вроде кокетничанья с красивым парнем, и довольно неуклюже меняет тон.*) Значит, вы по профессии футболист?

С е н я. Точнее, полузащитник.

О л ь г а. Что же вы собрались в Америку, там не играют в эту игру.

С е н я. Шутите?

Они уже на ступенях «Отдела записи актов гражданского состояния». Ольга вдруг, при виде вывески, заколебалась, засмеялась нервно:

– Ну и жизнь! Докатилась до фиктивного брака!

Невольно произошло подчеркивание слова «фиктивный», а также и испытующий взгляд был брошен на «женых».

С е н я. Посмотрите на меня! Похож я на бесчестного человека?

О л ь г а. Да ну вас к чёрту! Вы еще мальчишка! Пошли!

Дверь загса закрывается за ними.

Дверь загса открывается перед ними, и они выходят на крыльцо.

С е н я. Поздравляю!

О л ь г а. С чем это?

С е н я. Через две недели мы станем мужем и женой.

О л ь г а. Я надеюсь, вы понимаете, чем отличается фиктивный брак от настоящего?

С е н я. Конечно, понимаю.

Они снова идут по сумрачному уже Крещатику, и снова прохожие, особенно молодежь, разевают рты на Семена Басицкого.

Сеня же ни на кого не обращает внимания, а только лишь посматривает на свою миловидную «невесту». Весьма осторожно задает вопрос:

– А вот, вы говорили, муж в Америке... Как же так получилось?

О л ь г а. Долго рассказывать. Он художник. Не поладил, видите ли, с советской властью...

С е н я. Уважительная причина. Вполне уважительная причина.

О л ь г а (улыбается). Как у вас все просто, у молодежи.

С е н я. Посмотрите на меня. Похож я на человека, который ничего не понимает?

О л ь г а. Ах, Сеня, вы бы знали, как я волнуюсь! Олег пропал. Раньше звонил каждый день, но вот уже две недели ни слуху, ни духу. Дочка спрашивает...

С е н я (цепко). Имеется дочка? Как звать?

О л ь г а. Маша.

С е н я. О'кей!

О л ь г а. А почему вы-то в Америку собрались?

С е н я. Вы Додика видели? Моего бату? Гениальный человек!

О л ь г а. Почему?

С е н я. Верьте мне – гениальный. Он был директором магазина «Океан», и не того, что в центре, а того, другого.

О л ь г а (улыбается). Сеня, я не знаю ни того, ни другого.

С е н я. Коммерческий гений. А вообще-то нас всех дед Арон сагитировал. Был комсомольцем 20-го года, а сейчас такая стала контра! И что вы думаете, нет уважительной причины? Есть уважительная причина!

И снова мы вокруг большого обеденного стола в семействе Басицких. Много еды и кое-какие бутылочки, и соответствующие шуточки типа «а ну-ка водочки для обводочки и пивка для рывка».

За столом на этот раз присутствует и объект вечных споров между Розой и дедом Ароном, его сестра Соня, довольно дряхлая уже старушка, что называется «Божий одуванчик». Она, однако, ведет себя довольно активно, охотно все пробует и даже наливает себе сладкого винца и очень оживленно временами обращается к Розе с вопросами типа «а где вы берете эти куры?»

Дед Арон любовно поглаживает сестрицу по голове, приговаривает:

– В Америке есть такой орех – авокадо...

Р о з а (*жарким шепотом*). Тащить Сонечку в Америку? Это преступление!

Д е д (*стучит на Розу кулаком и сверкает глазами, ласково кричит Сонечке в ухо*). Чудодейственный орех авокадо!

Мусик-Тусик в это время у телевизора смотрят телеспектакль из жизни революционеров. Звук деликатно приглушен, но тем не менее иногда доносятся патетические вопли типа «На смерть пойдем за ленинскую правду!».

Дед Арон в такие моменты стучит кулаком на Мусика и Тусика, и те вздрагивают спинками.

Между тем, глава семьи Додик, не прекращая жевать, выпивать и бросать реплики семейству и новой «родственнице» Ольге Хлебниковой, не прекращает в то же время и говорить по телефону; голова набок, как у скрипача, трубка зажата между плечом и щекой.

Д о д и к (*в трубку*). Главное у человека здоровье. Так? А для здоровья нужна диета. Так? Не забывай о диете. Я не забываю о диете. (*Прикрыв трубку ладонью, громко, к членам семьи.*) Кушайте, кушайте, все кушайте-

те, я тоже кушаю, Оленька, почему вы не кушаете?! Сенька, ухаживай за гостьей! Дед, помолчи! *(Снова в трубку.)* Диета у меня здесь. Да, здесь. Да, и Сенька сидит на диете. Молоко – это хорошо. Коньяк не пьешь? Почему коньяк не пьешь? Можешь по буквам? Эл-и-эм-о... Лимонов нету... Тогда не надо пить коньяк...

Ольга сидела рядом с Семеном. Вначале она с интересом за всем наблюдала, ела с аппетитом и даже выпила с Сеней «водочки для обводочки», потом ее стал смущать телефонный разговор Додика. Сеня шепнул ей что-то на ухо, но она не расслышала, хотя он приблизил свои губы довольно близко к ее уху. Он еще больше приблизил губы к ее уху. Опять ничего не слышно, кроме жаркого невразумительного шепота. Оля отшатнулась. Дед Арон сурово глянул в сторону Сеньки и стукнул пальцем по столу. Сеня тогда сказал громко:

– Слышите, Додик шифром говорит с Нью-Йорком.
О л ь г а *(изумленно)*. С Нью-Йорком?

Додик делает ей жест – дескать, подождите, есть новости и для вас.

С е н я. Они с дядей Шурой Соловейко своим шифром могут чесать по любому вопросу...

О л ь г а. Пусть спросит об Олеге.

Додик кивает ей – дескать, спрашиваю или уже спросил – и заканчивает свой разговор словами:

– В любой рецепт ты можешь взять как соль, так и перец... Пока, Сашок! *(Резко потирает руки, еще озаренный какой-то отдаленной улыбкой, потом смотрит на Ольгу.)* Передал, что вы расписались с Сенькой, моя дорогая. Там очень рады и желают удачи. От Олега пока, к сожалению, ничего не слышно, моя дорогая. Куда-то парень заховался...

Раздается резкий звонок в прихожей. Одновременно вскакивают Мусик и Тусик.

– Ой, папка, на этот раз, наверное, участковый!

Д о д и к. Тусик! Мусик! Стоп на месте! Я сам! *(Выходит в прихожую.)*

Ольга некоторое время сидит оцепеневшая, смотрит в одну точку; видимо, сообщение о том, что Олег в Нью-Йорке «куда-то заховался», слегка ее оглушило.

Сеня с беспокойством заглядывает ей в лицо, бормочет что-то несуразное, что, дескать, не волнуйтесь, найдем Олега, он возьмет это на себя, посмотрите на него, похож он на трепача, подвигает ей рюмочку и даже кладет ей руку на плечо, не обращая внимания на грозный палец деда Арона и оскорбленное в лучших чувствах лицо мамы Розы.

Ольга как бы очнулась, увидела на своем плече руку Сени, усмехнулась. Встала и поблагодарила за угощение.

Д е д. Куда же вы, Олечка? У нас найдется место для ночлега.

О л ь г а. Спасибо. Я остановилась в «Днепре».

С е н я (вскакивает). Я вас провожу!

Она не отвечает и идет к выходу, а Сеня от переизбытка чувств даже испарину со лба вытирает.

Додик Базицкий, положив скрещенные руки на поясницу, смотрит в «глазок» на входной двери.

В глазке определился участковый уполномоченный капитан Капитонов и с ним не знакомый Додику штатский.

– Кто там? – спросил Додик.

– Свои, Ароньч! Открой! – попросил капитан.

Д о д и к. Вас вижу, товарищ капитан, и уважаю вашу форму, а вот пальтецо, что с вами, мне ничего не говорит.

У ч а с т к о в ы й. Да это свой, Ароньч. Совсем свой.

Д о д и к. Ручаетесь, товарищ капитан?

У ч а с т к о в ы й. Да что ты, Ароньч, как не родной.

Д о д и к. Хорошо, пускаю вас обоих, но учтите, я огражден положением Конституции о неприкосновенности жилища.

Открывает дверь и впускает участкового и сыскного.

В это время в прихожей появляются Ольга и Сеня. Набрасывают пальто и выходят на лестницу. Участковый зорко смотрит вслед Ольге.

– А это что за кадр с Семеном?

Д о д и к. Не кадр, товарищ капитан, а законная невеста прославленного спортсмена.

У ч а с т к о в ы й. Неужто из ваших? Что-то не похожа.

Д о д и к. Из наших, товарищ капитан, из советских людей. Ну, джентльмены (*довольно нагло обнимает за талию сыскного*), наверное, вас интересуют накладные на копченую селедку? Пройдемте в мой кабинет.

Ольга и Сеня стояли на обочине тротуара и ловили такси. Она спросила:

– Чего они хотят от Давида Ароновича?

С е н я. Презренного металла. Шантажируют. Сейчас Додик их забашляет, и порядок. Такси! Такси!

Он бросился в сумерки и тут же вернулся с машиной. Открыл дверцу для Ольги. Смотрел на нее с явной робостью, с мальчишеским восхищением. Она усмехалась – как бы в роли «львицы», но видно было, что и сама слегка трусит. Тем не менее сказала резким тоном из глубины машины:

– Ну что же вы? Садитесь!

Сеня тут же плюхнулся с ней рядом.

Последующую сцену можно начать по-разному. Можно и передать эротические восторги Сени и Ольги, а можно – в традициях 40-х годов – показать их что называется *arrez*¹, лежащими рядом на гостиничной постели.

Во всяком случае, *arrez* Ольга отвернулась и, когда благодарный и влюбленный по уши Сеня попытался поцеловать ее в щеку ли, в шею ли, в ухо ль, она довольно резко его отодвинула и сказала пренеприятнейшим тоном:

– Давайте-ка без поцелуечиков! Учтите, это все чистая физиология. Я люблю своего мужа. Наш брак фиктивный, а это... Ну, сами понимаете...

Сеня смотрел на нее со счастливой улыбкой. Резкость ее слов не очень-то до него доходила, он бормотал:

¹ После.

– Ну, уж чего уж на вы-то... Ольга, ты не права...
Давай уж, теперь-то уж, на ты...

О л ь г а. Нет уж, извольте на вы, месье!

Завернувшись в простыню, она перескакивает через Семена, пробегает в ванную. Обалдевший юноша в счастливом экстазе, лицо в подушку, стучит кулаком по кровати.

В номере полутемно, только светится ночник, да глядит в окно большая неоновая вывеска «ГОССТРАХ».

Стук в дверь. Сеня вскакивает с кровати, простыня на манер римской тоги, открывает дверь. За дверью – дежурная по этажу, с соответствующей физиономией и огромнейшей волосяной башней на голове.

– Посторонним после одиннадцати...

– А мы уже не посторонние, мамаша.

Пораженная его дерзостью, дежурная по этажу даже понизила голос:

– Вы что же тут? Раз-вра-том занимаетесь? Сейчас милицию вызову.

С е н я. Мамаша, мы сегодня заявление подали, а через две недели расписываемся.

Д е ж у р н а я. А где соответствующие документы?

Сеня прыгнул в сторону, вытащил из штанов четвертную ассигнацию.

– А вот, мамаша, соответствующие документы!

Дежурная взяла деньги, удовлетворенно хмыкнула и благосклонно кивнула. Дверь закрылась.

Сеня, в переизбытке чувств и сил, встал на руки вниз головой.

Ольга вышла из ванной с сигаретой в губах, в задумчивости остановилась перед зеркалом, пробормотала:

– Он там наверняка спит с кем попало. А мне нельзя подцепить мальчика?

Странное удивление появилось у нее на лице, когда она увидела стоящего на руках Семена. Потом улыбнулась, словно бы вспомнила, как будто после грехопадения прошло несколько лет.

– Молодой человек, посторонним лицам после одиннадцати...

Сеня воскликнул:

– Бэби, мы уже не посторонние!

Она расхохоталась:

– Какая я вам «бэби». Я вас старше на десять лет.

Сеня возразил:

– Прошу прощения, кажется, на восемь.

Она бросила ему его одежду, посмотрела и увидела, что парень сидит на ковре, очень печальный... красивый мальчик, длинные волосы на футбольный манер, отчетливая мускулатура... Безотчетно она подняла брошенное, сложила брюки, повесила на спинку стула, потом вдруг обратилась к Семену – впервые за весь день – серьезным тоном:

– Скажите, Семен, а почему, если всерьез, ваше семейство решило переехать в Америку?

Семен смотрел в одну точку и с некоторым опозданием вздрогнул, поднял голову.

О л ь г а. Ну, в самом деле? Папа ваш процветал, вы знаменитость...

Он ответил печально:

– Мы уезжаем от будущих погромов.

Она так изумилась, что села с ним рядом и заглянула в лицо.

– Сеня, вы серьезно? Неужели вы думаете, что в России возможны погромы?

Он не ответил, только пожал плечами, а перед ней на мгновение возникло «волевое» лицо ее собственного папаши с его национальной концепцией в зубах.

Безотчетным движением она протянула руку и погладила Сеню по голове. Он перехватил ее руку и стал целовать ладонь. Она вырывалась.

– Нет, нет, конечно. Уходите!

Сеня умолял, приближался все ближе:

– Я люблю тебя! С первого же взгляда полюбил! Оля, пожалуйста...

Простынь, замотанная вокруг тела, не особенно надежная защита. Все же она еще некоторое время пыталась возражать:

– Вздор, вздор! Прекратите хотя бы это слюнтяйство! Нашли себе любовь! Ха-ха! Не лезьте с поцелуями! Никогда! Никогда!..

Движущийся коридор вокзала ТWA в аэропорту JFK. Нескончаемая череда прибывающих пассажиров, разноплеменная толпа. Подплывающие и проходящие мимо лица. Для одних это обычный рутинный прилет в Нью-Йорк, для других – исторический момент.

Зоркий зритель издали заметит в тоннеле семейство Басицких, их непривычно напряженные лица.

Впереди, разумеется, папа Додик, рядом – мама Роза, которая обхватила одной левой рукой обоих подростков Тусика и Мусика, а в правой держит гирлянду итальянских пластиковых сумок. Затем – торжественный дед Арон, держащий под руку свою шаткую сестрицу Сонечку. И еще дальше – новоиспеченное «семейство»: Сеня и Ольга с Машенькой, которая держит за руки обоих.

Тоннель приближается к концу, появляется стеклянная стена аэровокзала; толпа встречающих, вереница желтых такси за стеклом...

– Что и требовалось доказать, – говорит Додик. – Мы в Америке!

– Тусик, Мусик, не глазейте по сторонам, – закудахтала Роза. – Папа, вы держите Сонечку?

– Сонечка крепче тебя во сто крат, – почему-то тихо резанул в ответ дед Арон, вытащил из кармана Орден Отечественной войны II-й степени и приколот его к карману френча а ля Киров.

– Семен, не потеряй Олю! Где Машенька? – продолжала командовать мама Роза.

Ольга еле сдерживала нервную дрожь. Она боялась смотреть на толпу встречающих; не поднимая головы, тихо и быстро говорила Семену:

– Надеюсь, вы не забыли, как себя вести? Надеюсь, понимаете, что он может быть здесь?

Парень жутко страдал, ему, как видно, никакая Америка не была интересна.

– Почему же опять на вы? Разве нельзя по-товарищески?.. – бормотал он.

Машенька тронула Ольгу за руку.

– Мама, мне кажется, там Олег! Ой, там папина голова торчит! Сеня, смотри, там мой папа!

Некто в ярчайшем американском пиджаке вдруг рванулся к семейству.

– Welcome to America!¹

Это, конечно, был Шура Соловейко. Обхватил Додика и тряс.

– Додька! Ты здесь! Глазам своим не верю! Рукам своим не верю! Щипайте меня, щипайте! Розка, дедка! Туська, Муська! Сонечка, это сон! Щипайте меня! Сенька, это не ты! Ох, Додька, мы с тобой тут такой возьмем бизнес!

Тут Соловейко заметил Ольгу с Машенькой и несколько сник.

– А это наша невестка, – в простоте душевной пролепетала Роза.

– Скажите, где Олег? – еле выдавила из себя Ольга.

– Не знаю, – развел руками Соловейко.

Америка расплылась перед глазами Ольги, прокрутилась несколько раз каруселью и померкла.

Разгар делового дня в downtown'e² Сан-Франциско. Слегка знакомая нам молодая дама пилотирует новенький «BMW». День яркий и свежий. Машина останавливается на горбатых улицах у светофоров, ветер треплет волосы Anne Stuart, то есть именно той девушки, которую мы видели в роли американской корреспондентки на вернисаже у Лики Димитриади.

В районе Union Square Анн закатывает свою машину в тоннель подземного паркинга. Аттендант в красном жилете берет у нее ключи и выдает ей талон.

– How long will you stay, lady?³

Анн отвечает автоматически «one hour»⁴, закиды-

¹ – Добро пожаловать в Америку!

² Деловой центр города.

³ – Надолго оставляете машину, леди?

⁴ – На один час.

вает сумку на плечо, но, пройдя несколько шагов, останавливается и оборачивается – что-то привлекло ее внимание в голосе аттенданта.

Он уже поехал вниз на ее «BMW», но через минуту снова появился на поверхности – за рулем белого «кадиллака», посадил за него дряхлого старикашку в клетчатых штанах и получил tips, несколько монеток. Теперь он идет к вновь прибывшему «корвету», протягивает талон черному плейбою. На секунду останавливается покурить среди группы таких же, как он, аттендантов в красных жилетах.

Анн смотрит на испитое, заросшее щетиной лицо и, не веря своим глазам, узнает в аттенданте знаменитого московского художника Олега Хлебникова.

Перед ней возникает на миг возбужденная атмосфера того вечера, на котором они познакомились, и холсты «Долгожданных животных», и насмешливое лицо тогдашнего Олега.

Она нерешительно приблизилась и произнесла по-русски:

– Олег, что вы здесь делаете?

Он посмотрел несколько диковато, но улыбнулся.

– Parking cars...¹

Ей показалось, что он даже не осознал, что с ним говорят по-русски.

– Don't you recognize me?² – спросила она.

– Well, you are a woman... – он усмехнулся. – More precisely, a young woman³...

Она была почти напугана – кажется, он под сильным «драгом».

– I am Anne Stuart⁴.

Он весело, почти юношески рассмеялся, не всякий и заметил бы нотку истерии в этом смехе.

– I thought you are Pamela Clark⁵.

¹ – Паркую автомобили...

² – Вы меня не узнаете?

³ – Ну, вы женщина... точнее, молодая женщина...

⁴ – Я Энн Стюарт.

⁵ – А я думал, вы Памела Кларк.

Заглянул ей в лицо.

– Wanna fuck?¹

В ее лице появилась решимость.

– Yes. Let's go!²

Он хлопнул себя по бедрам, крикнул другу-китайцу: «Chang, I'm splitting!»³, как будто не в первый раз приходилось ему покидать parking с молодыми леди типа Anne Stuart.

Они ехали по фривею⁴. Окна в «BMW» были открыты, и ветер трепал волосы Анн.

Олег откинул голову на спинку кресла и заговорил наконец по-русски:

– Вот теперь я вас узнал. Смешно, но тогда, у Лики, я именно так вас себе представил – за рулем, и ветер треплет волосы...

Она чуть не плакала от жалости.

– Олег, что случилось с вами?

Он закрыл глаза.

– Да ничего особенного. Просто, выпал в осадок...

Машина въехала в переулок, один из тех американских alleys с пожарными лестницами и мусорными баками, где любое сердце охватывает тоска. Это где-то в районе Heights Ashberry. Здесь когда-то зародилось движение хиппи, а сейчас осталась одна лишь желтая тоска и худосочие.

Длинноволосый старик спал на земле у спуска в бейсмент⁵, где помещалась «квартира». Черный трансвестид⁶ стоял с остекленевшими глазами напротив у стены. Его сзади обнимал и, кажется, слегка мастурбировал пьяный индеец. Здесь же шумно жила большая мексиканская семья – женщины стирали, дети катались на роликах, мужчины играли в карты...

– Ну, вот, видите, здесь я живу, – сказал Олег. – До свидания. Встретимся в другой раз. Обещаю побриться.

¹ Фривольное деловое предложение.

² – Да. Пошли!

³ – Я «откалываюсь»!

⁴ Автострада.

⁵ Подвал, цокольный этаж.

⁶ Охваченный экстазом.

Анн настойчиво проследовала вперед.

– Нет-нет, я хочу посмотреть, как вы живете!

Старик, лежащий у входа, открыл один глаз и пробормотал:

– Congratulations, Olek! You got a girl! Gonna spare some change for me?¹

Олег сунул ему за пазуху несколько долларов.

Сквозь окошко в комнате Олега была видна задница старика.

Посредине комнаты, на штативе, стоял начатый и брошенный холст с засохшими красками – свидетельство того, что вначале Олег еще пытался бороться. Они сидели у колченогого стола и смотрели друг на друга. На столе стояла галонная бутылка дешевого вина. Олег ковырял пальцем в жестяной коробочке.

– Хотите «Смок»? – спросил он.

Она отрицательно покачала головой, налила себе вина. На лице ее все еще было выражение какой-то решимости, что вкупе с замечательным румянцем и чистотой глаз очень ей «шло».

Он стал скручивать сигаретку, бормотал:

– Это, вы же знаете, вполне невинная вещь... Это же все курят...

А н н. Олег, но это все ужасно!

Он затянулся марихуаной и сразу повеселел.

– Ровно ничего ужасного, сударыня.

А н н. Вы талантливый художник! И вы все бросили! Живете в slums²... Нет, я этого не допущу! Это правильно по-русски – не допущу!?

Он улыбнулся и положил свою руку на ее ладонь.

– Кажется, спасти меня решили, сударыня?

А н н. Да.

Он засмеялся, налил себе вина, потом, будто вся мерзость вдруг его отпустила, вытащил из угла дряхлую гитару и запел уже известную нам песню:

¹ – Поздравляю, Олег! Нашел девочку! С тебя причитается!

² Трущобы.

...ОВИР нас не разгонит ни навеки, ни на час,
А если, вдруг случится, затоскуешь,
С тобой я повстречаюсь на бульваре Монпарнас,
А ты ко мне вернешься на Тверскую...

В окошке появились стоптанные башмаки старика. Видимо, вдохновленный Олеговыми долларами, он собрался в поход.

Башмаки исчезли. На их место прибежал и растянулся в солнечном пятне пузатенький щенок.

Ночью оказалось, что луна все же проникает в жилище Олега и даже освещает кусок стола и подушки на тахте, а следовательно, и лица двух лежащих рядом людей.

Анн смотрела на Олега с влюбленно-заботливым выражением.

С улицы доносился голос бухого старика:

Mankind I love you
While you are sleeping,
Mankind I hate you
While you are whieping¹...

В окошке появилась бутылка и драный сапог.

– Слышишь? – сказал Олег. – Это Грегори. Он поэт.

Анн положила ему голову на грудь.

– Это, конечно, очень романтично, но завтра ты переедешь ко мне на Belveder Island.

Олег промолчал, но обнял ее и потянулся – не без блаженства, не без освобожденности, не без того, что можно было бы назвать на старинный манер «благодарностью судьбе».

Семейство Стюартов с первого взгляда можно назвать «wealthy». Идеальная американская «фамилия» из верхушки среднего класса.

¹ Человечество, я люблю тебя,
Когда ты спишь,
Человечество, я ненавижу тебя,
Когда ты плачешь.

Мистер Стюарт, не будем уточнять, кто он, преуспевающий адвокат или глава фирмы, пятидесятилетний спортивного склада джентльмен, любезнейший, стильный и веселый.

Миссис Стюарт, то есть мать Анны, можно, разумеется, без всякого труда принять за ее старшую сестру.

А вот и Марджори Янг, сестра миссис Стюарт, художница, музыкант и поэт, особа романтического и слегка богемного плана.

Будет присутствовать и ее, что называется, «live-in»¹, Пол Дохени, да-да, из тех самых Дохени, сорокалетний спортсмен, журналист и член частного комитета по сбору разведывательных данных.

И наконец, два брата Анны, восемнадцатилетние близнецы Джим и Скотт, чудеснейшие ребята, такие же, как и сама Анна, «кровь-с-молоком», птенцы американских зажиточных субурбанацій².

Не исключено, впрочем, что может появиться чудо из чудес – бабушка, глава семьи, столетняя Мими Стюарт, о которой все здесь говорят:

– She is our national treasure!³

Итак, все семейство сидит на холме острова Бельведер, возле своего большого белого трехэтажного дома. Покачиваются под бризом пальмы и кипарисы. Яркозеленая подстриженная трава. Кусты роз. В глубине сцены, на дощатом деке, сервирован обеденный стол на девять персон.

Внизу блестит под клонящимся уже к закату солнцем заливчик, в котором стоят катера и яхты, далее простирается морская гладь с цепью маленьких островов – наподобие самого Бельведера.

– Coming! Coming!⁴ – как в старой дачной пьесе, закричали Джим и Скотт и побежали встречать сестрицу и загадочного русского художника, которого она обещала сегодня привезти с собой.

¹ Сожитель.

² Жители пригородов, провинциалы.

³ – Это наше национальное сокровище.

⁴ – Едут! Едут!

У подножия холма остановился «BMW», и из него вышли Анна и Олег.

– Last warning to everybody, – сказал мистер Стюарт.
– This guy is under stress. Anne begs all of you be nice with him as much as possible¹.

Олег, и в самом деле, был напряжен, пока они приближались к вершине холма, пока все это к нему приближалось – его новая жизнь, такая чистая и свободная.

– Не церемонься, – шептала ему Анна, – они очень простые. Будь самим собой.

(Таким образом, влюбленная Анна и отцу, и любимому дала соответствующие советы, которые, возможно, частично и привели к тому, что произошло.)

Семейство поднялось гостю навстречу.

– Мистер Хлебников, как приятно с вами познакомиться.

– Welcome to Belveder!²

– Be at home!³

Джим и Скотт уже катили два карта с напитками и снеками.

– Call me Ron!⁴ – сердечно сказал папа.

– This is Mimi, our national treasure⁵, – так мама Стюарт представила свою свекровь.

– I know Russia, – сказала Мими. – The president Nikolaj Lenin lives there⁶.

– I am sure, you love sailing⁷, – сказал Пол Дохени, из тех самых.

– I am a painter, too, – очаровательно улыбнулась Марджори Янг и добавила по-французски: – Voulez vous me donner une leçon, monsieur?⁸

– Hi! – сказал Джим.

– Hi! – сказал Скотт.

¹ – Предупреждаю еще раз всех... Этот парень под стрессом. Энн просила всех быть любезными до предела.

² – Добро пожаловать на Бельведер!

³ – Будьте, как дома!

⁴ – Называйте меня Рон!

⁵ – Это Мими, наше национальное сокровище.

⁶ – Я знаю Россию... Там живет президент Николай Ленин.

⁷ – Уверен, что вы любите парусный спорт.

⁸ – Я тоже художник... Не дадите ли вы мне урок, сударь?

Анна сияла, и Олег, надо сказать, улыбался направо и налево – люди эти ему нравились, и место тоже, и всё бы, наверное, прошло хорошо, если бы не одна случайная фраза, вернее, даже отдельное словечко, слетевшее с уст мистера Стюарта.

– I used to visit Moscow, – сказал этот джентльмен и добавил: – One can not but notice the certain achievements in this country¹.

Олег, к этому времени уже хвативший хороший double shot², дернулся.

– Achievements?... – криво усмехнулся он. – That's nice word, such a familiar one³...

– Don't you forget, dad, Oleg is an emigre! – бросилась на выручку Анна. – They threw him out of Russia!⁴

Олег взял со столика бутылку скоча и сел с ней на траву под пальму.

– Достижения... – бормотал он и вытирал рот рукавом.

Вдруг перед ним пронеслись каруселью кадры прошлой зимы, лица друзей и дружинников, жена, дочка, каменная харя тестя, и вдруг вся лужайка на холме заполнилась продукцией Комбината Наглядной Агитации – лозунгами, плакатами и бюстами Ильича. Он глотнул раз, еще раз и вынырнул – увидел вокруг мирную картину Бельведера и лица американцев, искаженные гомерическим сочувствием.

– I am sorry, – пробормотал он. – This is just a word, such a shameful word... achievements⁵...

Мистер Стюарт бросился к нему, чтобы загладить свою ошибку.

– That's my fault, Oleg! I'm terribly sorry! It was so silly to talk about russian achievements!⁶

¹ – Я бывал в Москве. Нельзя не отметить определенных достижений в этой стране.

² Двойная порция.

³ – Достижений? Прекрасное слово, такое привычное...

⁴ – Не забудь, папа, Олег – эмигрант! Они его выкинули из России!

⁵ – Простите, – это такое слово, такое позорное слово... достижения...

⁶ – Это моя вина, Олег! Страшно извиняюсь! Глупо говорить о русских достижениях!

О л е г. Why? If you are left, why should you avoid any talk about soviet achievements? Tell me, isn't it too bad to be left, residing Belveder Island, sir?¹

А н н а (близка к отчаянию). Олег, поверь, папа не левый, он, просто...

О л е г. Left, right... It doesn't make difference... Russian... Soviet... Same sort of things, ah?²... Да, сударыня?

Размахнувшись, он швырнул недопитую бутылку в розовые кусты и поцеловал старушку Мими в желтую щеку.

– Bravo! – воскликнула Марджори Янг.

– Not bad!³ – похлопал в ладони Пол Дохени.

И все заплодировали.

Дурная улыбка освещала лицо Олега.

Миссис Стюарт нежнейшим тоном обратилась к нему:

– Would you like to get rest, my friend? Look at these three windows upstairs! This is your room, dear Oleg.⁴

О л е г. Why do you love me so much, ma'm? Why do you care of a tramp like me? I know why! You americains are fond of handicapped. And I am not other than a handicap, mentally disabled, therefore⁵...

Анн подбежала к нему и обняла за плечи...

– Олег, Олег, пожалуйста!..

Он ернически поцеловал ей руку...

– И вы, дорогая, полюбили во мне гандикапа, а не художника! Это ваша американская черта – такое яркое сочувствие к гандикапам⁶...

¹ – Почему же? Если вы левый, почему вам не поговорить о советских достижениях? Скажите мне, это ведь не так плохо быть левым, живя на Бельведере, сэръ?

² – Левые, правые... Какая разница... Русские... советские... Те или другие, а?..

³ – Неплохо!

⁴ – Не хотите ли отдохнуть, мой друг? Посмотрите на эти окна наверху! Это ваша комната, дорогой Олег.

⁵ – Отчего вы меня так любите, мадам? Зачем вам заботиться о таком ханурике, как я? А, я знаю! Вам, американцам, нравятся неполноценные! А ведь я не что иное, как умственный калека, и поэтому...

⁶ Неполноценный, калека.

Он оттолкнул Анну и пошел к дому, то и дело оставливаясь и провозглашая:

– O'key, I am ready to be your home handicap! I will be your pet, ladies and gentlemen! A little whimsy pet, all right?¹

Проходя мимо соответствующего столика, он хапнул пятерней верхушку роскошного торта.

В довершение безобразной сцены, прыгнул в бассейн, как был – в башмаках и одежде. Поплыл, распевая свою песенку.

Анна сидела, закрыв лицо руками. У всех остальных были каменные лица. И только Марджори Янг хлопнула себе ладошкой по колену:

– That's a real Chekhov's style, indeed!²

Ольга и Миша Шварц в вагоне сабвея, идущего в Бруклин. Они продолжают, видимо, долгий разговор.

– Хорошие друзья, – сердито говорит Ольга. – Сколько вас здесь, в Америке, русских художников? Неужели не можете найти Хлеба? Пропал и всё, да?

Ш в а р ц. Да ты пойми, Ольга, я сделал действительно все, что мог. Везде, где есть наши, ищут Олега, но толку нет. Осталось только в FBI³ обращаться.

О л ь г а. Значит, надо в FBI.

Шварц испытующе на нее посмотрел.

– А ты уверена, что надо?

Она хотела что-то ответить, но только рот открыла и замолчала.

– Прости меня, Оля, – продолжал Шварц, – но здесь говорят, что... что ты вышла замуж и счастлива, вот такие есть разговоры...

Ольга отвечала очень нервно:

– Я вышла замуж фиктивно... Ты знаешь прекрасно... Чтобы вырваться оттуда... Разве ты этого не знаешь?... Чтобы снова быть с Олегом... Я его люблю...

¹ – O'кей, я готов стать вашим домашним убогим! Я буду вашим котиком, леди и джентльмены! Маленьким капризным пупсиком, хорошо?

² – Да это же в чеховском стиле!

³ Федеральное бюро расследований.

Он отец моей дочери... Что касается... ну... других сторон жизни... то это мы с ним сами обсудим...

Поезд подходил к станции. Шварц печально сказал:

– Да, ты права, конечно. Вот моя станция. Пока. Созвонимся.

И вышел из вагона.

...Поезд грохотал, вагон бросало из стороны в сторону, Ольга сидела с каменным лицом, не замечая, как мелькают станции и вагон постепенно пустеет.

Она опомнилась, когда в вагоне осталось не больше десяти пассажиров, и обратилась к соседке, пожилой даме:

– Could you tell me, ma'm, what's the next stop?¹

Дамочка посмотрела на нее с недоумением и потом закричала на весь вагон:

– Товарищи, кто говорит по-английски?

Пассажиры пожимали плечами, кто-то вытолкнул вперед подростка.

– Валерочка, спроси у тети, что ей нужно?

– What are looking for, тетя?² – спросил мальчик.

В окне вагона появилась надпись «BRIGHTON BEACH».

– Спасибо, – сказала Ольга. – Ничего не нужно. Я уже дома.

Какой-то господин приподнял шляпу.

– Простите, я вас не сразу узнал, госпожа Басицкая.

Ольга идет по узкой улочке в том районе Бруклина, который здесь иногда именуется «Малой Одессой». Она погружена в себя, смотрит под ноги, иногда резкими движениями поправляет волосы, словно отмахивается от беспокойных мыслей. Поворачивает за угол и видит крепкий двухэтажный дом с просторным американским крыльцом, на котором сейчас возвышается сухопарая фигура деда Арона с газетами в руках. Перед домом запаркован желтый taxi-cab «chekker»³.

¹ – Не скажете ли, мэм, какая следующая остановка?

² – Что вы ищете, тетя?

³ В шахматную клетку.

Будто споткнувшись, она останавливается, смотрит на дом, потом вытаскивает сигареты, закуривает, идет прочь, оглядывается, поворачивает назад, снова останавливается, садится на уличную скамейку и опускает лицо в ладони...

Двери на крыльце раскрыты в living room¹ дома Басицких. Мы видим в глубине, возле кофейного столика, двух погруженных в жаркую дискуссию бизнесменов. Додик и Шура Соловейко. На столе горой лежат рекламные проспекты и бумаги.

Еще глубже, в соединенной с living room кухне, видна мама Роза. Ей все время порывается помочь дряхлая Сонечка, но мама Роза всякий раз выводит ее из кухни и сажает в кресло перед телевизором. По лестнице сверху то и дело скатываются, исчезают в многочисленных дверях и снова взлетают Мусик, Тусик и Ольгина Машенька, все трое, разумеется, в американских джинсах и майках. Ближе всех к двери сидит Сеня с самоучителем английского.

– What are you talking about... – повторяет он, – what are you talking about...² –

а сам все время посматривает на улицу, поджидает Ольгу.

Дед Арон раздраженно швырнул на крыльцо сначала «Правду», потом «Новое Русское слово».

– Ну, что они пишут?! Одни – лжецы, другие – олухи! Что пишут – уши вянут!

Проходит в гостиную и слышит Сенино «What are you talking about», передразнивает его:

– ...Ебаут, ебаут! У тебя, Семен, только одно на уме!

Дискуссия двух бизнесменов. (Додик уже тоже облачен в ярчайший клетчатый пиджак.)

Д о д и к. Объясни мне, Шура, за-Бога-ради, почему я не могу пустить этот товар за этот баланс? Какие тут две большие разницы?

Ш у р а. Это у тебя, Додик, пережиток социализма в сознании. Хочешь знать, почему я имею здесь хорошее

¹ Гостиная.

² – О чем вы говорите?

время? Я изжил из себя пережитки социализма. Поймал? Товар не нуждается быть оверпрайзед¹, товар нуждается быть продан. Усёк? Тогда ты будешь иметь хорошее время...

Дед Арон поставил на кухне два полугалонных пакета молока, сказал маме Розе:

– Вообрази, Роза, вхожу в Дэвис-шоп, прошу молока, а Дэвис смотрит на меня, как баран на новые ворота.

Р о з а. Папа, но вы же знали, что в Америке многие говорят по-английски и не понимают по-русски...

Д е д А р о н. Но не до такой же степени! Пакет молока, в самом деле... Элементарные вещи не понимают...

Достаёт из холодильника три плода авокадо, затем извлекает деревянную дощечку, молоток и приглашает сестру.

– Сонечка, к столу!

Старушка, скорчив детскую гримаску еле скрываемого отвращения, садится к столу.

– Ежедневно, Сонечка, ты должна кушать чудодейственный орех авокадо.

Чистит авокадо, отбрасывая съедобную мякоть в тарелку. Лупит по ореху молотком, отдувается:

– Трудно потреть авокадо, но нужно.

Ну, а дети в семействе Басицких – и Тусик, и Мусик, и Машенька – уже лепечут по-английски:

– You can not imagine, Тусик, – how he looked at me and I... What did you do? I told him, you are not a good boy, Jerry Laber!²

– Gee! I can not imagine that!³

– I can imagine that!⁴, – вскричала Машенька.

Семен посмотрел на часы, встал, бросил взгляд на экран телевизора, где шла бесконечная футбольная американская битва, пожал плечами, спустился с крыльца. Еще раз посмотрел на часы и на дорогу и, не заметив Ольги, пошел к своему такси-кэбу.

¹ Выше стоимости.

² – Представь себе, Тусик, как он на меня посмотрел и я... Что ты думаешь? Я сказала ему: ты не хороший мальчик, Джерри Лэйбер!

³ – Вот здорово! Не могу себе этого представить!

⁴ – Я могу это представить!

Ольга увидела его возле машины, вскочила и побежала к дому. Семен услышал стук каблуков, выглянул, лицо его помрачнело, отразило тяжкие переживания, он тронул свой «шеккер» и так поехал – медленно-медленно, с повернутым к Ольге мрачным лицом.

Она успела добежать и ухватила его за локоть.

– Сэндвичи, конечно, забыли? Подождите!

...Вбежала на кухню, прыжок к холодильнику, вытащила пакет с сэндвичами, схватила с полки термос, наполнила его кофеем...

Тут она заметила, как Сонечка мучается с орехом авокадо, быстро порезала оставшуюся мякоть, полила оливковым маслом, поставила тарелку перед Сонечкой, а орех авокадо стряхнула. Засим выскочила из кухни.

– Ольга! – оторвался от коммерческих бесед Шура Соловейко. – Я тебе джоб¹ накнокал, в книжном магазине на Пятой авеню!

Ольга даже подпрыгнула:

– Ой, Шура, не шутите?

– Чего не сделаешь для невестки... – крикнул ей вслед Соловейко.

С кухни прилетел восторженный вопль Сонечки:

– Это же вкусно!

...Ольга протянула пакет и термос своему «фиктивному» мужу, а тот, теперь уже сияющий неизвестно по каким причинам, обхватил ее за талию и попытался притянуть поближе на предмет поцелуя.

– Ну-ну, – сказала она, смеясь, – давайте-ка без телячьих нежностей.

С е м е н. Посмотри на меня! Похож я на...

О л ь г а. Очень похож.

Сияющий Семен уезжает на своем огромном «шеккер'е», и Ольга даже смотрит ему некоторое время вслед, то есть как бы пребывает в роли действительной, а не фиктивной жены.

Сияющий Сеня высадил пассажира возле площадки, на которой порториканские мальчишки гоняли в «соккер».

¹ Работа.

Некоторое время он смотрит на игру, потом, не выдержав, выскакивает из машины.

Мяч попадает ему в ноги, и вот он, забыв обо всем, мчится по площадке, делает обманные движения, дриблингует с таким искусством, что мальчишки только рты разевают...

Прыгают цифры на забытом счетчике в его кэбе.

Гвалт спортивной площадки сменяется идиллической тишиной, в которой слышится только чистенький наивный голос флейты.

Зеленый холм острова Бельведер, на котором несколько страниц назад разыгралась довольно безобразная сцена. И вот, пожалуйста, все забыто: художник Хлебников пишет маслом большую картину, изображая по памяти московского снежного жирафа, а рядом миловидная тетя его возлюбленной Анны пишет то, что видит, то есть пейзаж, а рядом Пол Дохени, из тех самых Дохени, обнаженный до пояса, играет на флейте. Все трое улыбаются друг другу.

Где-то в глубине кадра, на вышке над бассейном, дурачатся мальчишки Стюарты. Папа на веранде читает газету. Мама и «национальное сокровище» играют в шахматы. Словом, безобразнейший инцидент прощен и забыт, и патронаж семьи Стюартов над пошатнувшимся русским талантом продолжается.

А впрочем, может быть, и Олег сам уже стал частью этого спокойного, комфортабельного, чистого и честного мира? Во всяком случае, он спокойно работает, на свистывает в такт флейте и весело смотрит, как бежит к нему по тропинке почему-то чрезвычайно возбужденная Анна.

Он улыбается.

– Look at your niece, Margy! She is excited again!¹

Тетя улыбается в ответ.

– It is not *my* fault, sir²...

¹ – Посмотрите на вашу племянницу, Марджи! Как она взволнована!

² – Это не *моя* вина, сэръ...

Подбежавшая Анна выпаливает:

– Oleg, we gonna fly to New York! Immediately!

Олег улыбается.

– You just arrived from New York. We gonna relax, I guess... By the way, look at this beast!² (Показывает кистью на жирафа.)

А н н а. I saw *all* your beasts, honey! Charley Xerox started to expose them last night under somebody else's name!³

Олег отшвырнул кисть и вскочил. Снова паника в благородном семействе. Анна и Олег бегут вниз по холму к машине.

Миссис Стюарт догоняет их с плащами и шляпами.

Художественная галерея где-нибудь в районе 57-й улицы. Там целая стена занята экспозицией знакомых нам «Долгожданных животных».

Посетителей не так много, однако на двух-трех картинах уже имеются таблички «sold»⁴.

А вот на стене и портрет «автора» этих картин, «сибирского отшельника Мити Бредова» – заросшая седоватым мохом физиономия, рубашка в петухах, монокль.

...Олег был счастлив, когда увидел холсты. Целы! Приехали! Он даже потрогал краску ладонью. Обернулся в поисках Анны, сиял, заглянул в лицо какому-то посетителю, прислушался к разговору.

Анна, между тем, напряженно беседовала с двумя молодыми людьми, служащими этой галереи, наседала на них, показывала на Олега. Те недоуменно улыбались, пожимали плечами, потом положили перед ней ворох каких-то бумаг, но она не стала их смотреть и подошла к Олегу.

¹ – Олег, мы летим в Нью-Йорк! Немедленно!

² – Ты же только что из Нью-Йорка. Нужно расслабиться... Между прочим, взгляни на этого зверя!

³ – Я видела всех твоих зверей, дорогой! Чарли Ксерокс выставил их всех вчера вечером под чьим-то другим именем!

⁴ Продано.

– They’ve never heard neither your name nor Херох. I am sure, he uses a front! That’s a swindler!¹

И вдруг они оба одновременно увидели Чарли Ксерокса. Почтенный коллекционер появился в боковом проходе за стеклянной стенкой, раскурил свою трубку, поднял голову и увидел смотревшего прямо на него Олега. Затем – нервы, очевидно, у коллекционера не простые, а большевистские, – не торопясь направился по проходу к выходу на улицу. Выпуская клубы дыма, слегка подчихивая.

Олег и Анна пошли за ним вдоль стеклянной, в человеческий рост, перегородки.

– Мистер Ксерокс, кажется, опять у вас грипп? – поинтересовался Олег. – Почему вы не следите за собой? Поверьте, грипп вам не к лицу. Вам нужно вылечиться. Как ты считаешь, Анн, нужно ему вылечиться?

А н н. Ему нужно сделать укол, вакцинацию, о’кей?

Чарли Ксерокс, не поворачивая к ним лица, нахлобучил шляпу и влез в рукава плаща. В том месте, где кончалась стеклянная перегородка и где они сошлись с Олегом, он сделал некоторое опасливое движение плечом.

– Какая вы сопля, Чарли. Надо лечить насморки, – сказал на прощание Олег.

– Я совершенно измучен, – ни к кому не обращаясь, сказал Ксерокс, вышел на улицу и через мгновение затерялся в толпе.

Хохоча, Олег и Анна вернулись в зал и сняли со стены изображение The siberian regluse Mitiya Bredov².

Тут же к ним, как будто по заказу, подлетел нью-йоркский фрукт.

– Hi! What’s going on, folks? I am reviewing this staff for «Times»³.

Здесь мы можем включить музыку, ибо начинается новая полоса в жизни Олега Хлебникова. Мы можем отъехать с нашей камерой назад и чуточку подняться на опе-

¹ – Они никогда не слышали ни твоего имени, ни имени Ксерокса. Я уверена, он использует подставное лицо! Вот мошенник!

² Сибирский отшельник Митя Бредов.

³ – Эй, народ, что тут происходит? Я пишу об этом хозяйстве для «Таймс».

раторском кране, чтобы показать общий вид галереи и фигуры наших героев, рассказывающих нью-йоркскому фрукту и еще кучке галерейных зевак свою странную историю.

Затем музыка выключается и мы слышим фразу нью-йоркского фрукта, заключающую этот эпизод:

– OK, folks, I'll pick you up tomorrow at 10.30¹...

На следующее утро в указанное время Олег, Анна и нью-йоркский фрукт вывалились в страшной спешке из отеля «Plaza». NF был в явном ажиотаже, частил, вылупляя глаза:

– My boss is excited! Everybody is excited! That's a real story! Harry up, folks! We got a thing!²

Он бросился в гущу траффика и остановил такси.

Все трое бухнулись на заднее сидение «чеккера». NF прокричал в окошечко адрес шоферу, потом тут же вытащил перо и блокнот.

– Let's go further! You do not like New York, do you? You can not like it after all, I guess³...

О л е г. I can not, but love it!⁴

N F. Why so many Russian artists love this junkyard?⁵

В этот момент водитель такси высунулся из окна и закричал кому-то на чистом русском языке:

– Еттиттвоюамуюшит!

Олег и Анна покатались с хохоту.

NF подпрыгнул.

– What's the watter?⁶

Водитель кричал, размахивая кулаком:

– Он взял мой зеленый!

Анна сказала NF:

– That's why they like New York⁷...

N F. What did he say?⁸

¹ – О'кей, народ, я заеду за вами завтра в 10.30.

² – Мой начальник загорелся! Все загорелись вашей историей! Живей, народ! Дело будет!

³ – Поехали дальше! Вы не любите Нью-Йорка, не так ли? Вы все-таки не можете его любить...

⁴ – Не могу, но люблю!

⁵ – Почему так много русских художников любят эту свалку?

⁶ – Что случилось?

⁷ – Вот почему они любят Нью-Йорк.

⁸ – Что он сказал?

Олег спросил водителя:

– Ты откуда, друг?

В о д и т е л ь. С Киева.

О л е г. Давно приехал?

В о д и т е л ь. Три месяца.

Как вы уже, конечно, догадались, судьба и законы драматургии свели в этом пункте сценария Олега Хлебникова и Семена Басицкого.

Сеня крутил баранку, улыбался, поглядывал в зеркальце на пассажиров; хоть и не было в этом по нью-йоркским понятиям ничего особенного, но все-таки приятно везти соотечественника. Вдруг до него долетел обрывок разговора:

N F. Let me check your spelling once again¹.

О л е г. K-h-l-e-b-n-i-k-o-v... Oleg Khlebnikov. Oleg is my first name²...

N F. That's much easier, but last one... Oh, My!³

Старается правильно произнести полное имя и всякий раз получается что-то несусветное.

Олег и Анна смеются, поправляют журналиста, и до потрясенного Сени окончательно доходит, кого он везет.

«Чеккер» плывет через Пятую Авеню на красный свет. Скрип тормозов, гудки, крики:

– What's he doing?⁴

Семен перекладывает руль в полупрострации направо-налево.

– Where are you going? – кричит ему в окошечко NF.

– You took a wrong direction, buddy!⁵

«Chekker» останавливается у витрин большого книжного магазина. Семен вылезает и говорит на заднее сидение:

– Можно тебя на минуточку, Олег?

¹ – Давайте-ка еще раз проверим по буквам, как пишется ваша фамилия.

² – Х-л-е-б-н-и-к-о-в... Олег Хлебников. Олег – мое имя.

³ – Имя значительно проще, но фамилия... О, Боже!

⁴ – Что он делает?

⁵ – Куда ты крутишь?.. Ты спутал дорогу, кореш!

Семен обеими руками вытирает себе лицо и мотает головой в сторону магазина.

– Зайди туда.

Шаткой походкой, почти ничего уже не видя, во власти мощного предчувствия, Олег входит в магазин и видит в конце длинного прохода меж бесчисленных книг идущую ему навстречу Ольгу.

...С улицы, через стеклянные двери, смотрят трое – Семен, Анна и нью-йоркский фрукт.

Анна отшатнулась.

– Кто это?

– Это Ольга, – тихо сказал Семен.

– А вы? – прошептала Анна. – Неужели вы?.. Как?..

Вы Семен Басицкий?

– Вот именно, – сказал Семен.

– Я все знала про вас. Мне рассказывали... Я все знала... Боже... Зачем вы это сделали?

Семен опять вытер лицо ладонями, тряхнул головой и пробормотал:

– Посмотрите на меня. Похож я на гада?

Они вздрогнули, услышав щелканье автоматического фотозатвора. NF не понимал, что происходит, но, чувствуя журналистским чутьем, что это а real story¹, фиксировал все на пленку.

Уже начали сгущаться сумерки, когда из задрипанного отельчика на West Side вышли Олег и Ольга. Ветер закручивал на перекрестке маленький мусорный вихрь. Бродяга возле цветочного магазина играл на скрипке.

Не глядя друг на друга, они постояли возле скрипача, бросили ему в футляр каждый по четвертаку. Потом Олег купил у цветочника букет гвоздик.

– Мерси, месье, – сказала она и как-то глуповато хихикнула.

– Ну вот, – сказал он.

– Да, вот так, – пробормотала она.

Он посмотрел на часы, и на лице его отразилась тревога.

¹ Настоящая история.

- Слушай, мне нужно позвонить.
- Она тоже глянула на часы и ахнула:
- Ох, и мне совершенно необходимо!

Они увидели стеклянную будку, разделенную на четыре секции, и в них четыре телефона.

Он зашел в одну секцию, она в другую. Стали набирать номера. И в той, и в другой трубке слышались долгие гудки. Они старались не смотреть друг на друга и набирали снова и снова.

В полупустом и полутемном баре хмельная Anne Stuart играла на пианино и пела нервным голосом «Man I love»¹. Рядом, со стаканом скоча, в развинченной позе расположился нью-йоркский фрукт. Он говорил:

- Anne, I fell in love with you².

Она отвечала ему по-русски:

- Пошел к чёрту!

Он кивал головой.

- I really did³...

Мяч уже плохо был виден, но soccer на пустыре продолжался с невероятным азартом, и в центре игры, разумеется, был Сеня Басицкий. Он играл самозабвенно, выкладывался, как говорится, на полную катушку, не видя, что...

...из остановившегося поблизости «ягуара» за ним наблюдают два спортивных джентльмена. Один говорил с голландским акцентом, другой с немецким.

- No doubts, he is a real «pro»⁴.
- His kicks resemble Krupff⁵...
- As to me, he dribbles like Bekki⁶.
- Well, let's talk to this guy about business⁷.

¹ «Человек, которого я люблю».

² – Энн, я влюблен в вас.

³ – На самом деле влюблен...

⁴ – Несомненно, он настоящий профессионал.

⁵ – Он бьет, как Крупф.

⁶ – На мой взгляд, он ведет, как Бекки.

⁷ – Ну, давай поговорим с этим парнем о деле.

В пустые секции телефонной будки зашли толстый черный франт и сигх в традиционной чалме.

В отличие от Олега и Ольги, оба дозвонились сразу. Негр захохотал, а сигх заговорил о чем-то с изнеможением и даже скрытым трагизмом.

Олег, не поднимая головы, продолжал набирать свой номер. Тем же была занята и Ольга.

Здесь мы можем на прощание дать последнюю ноту West Side'a, с отдаленной скрипкой, хохотом негра, глухим голосом сигха и гудочками телефона, ноту печальную, но не оборванную, не случайную, а как бы продолжающую весь наш концерт.

Затем, как эпилог, возникнет снова московский снег, и мы поймем, что прошло еще сколько-то месяцев.

Снег лепил в большие окна вельможной квартиры на улице Алексея Толстого, где в своем обширном кабинете сидел за чтением бумаг товарищ Лубенцов. Нельзя сказать, что семейные неприятности все же совсем не отразились на его наружности, выглядел он сейчас отнюдь не таким молодцом, как в начале фильма, но основательно усталым, почти стариком.

Телефонный звонок прервал труд государственного человека. Он покосился – звонила не «вертушка», а обыкновенная городская дрянь. С косой миной, свидетельствующей об ухудшении кислотности желудка, снял трубку.

– Слушаю!

И вдруг все в нем вспыхнуло, все вдруг воссияло, когда в трубке послышался детский голос:

– Дедушка! Это я! Маша!

Что он хотел сказать своей крошке? Трудно угадать – в следующий момент радость сменилась знобящим страхом. Лицо покрылось испариной.

– Кто говорит? – спросил он странным голосом.

– Дедушка, да это же я! Маша! I call you from New York!¹

Он зажимает трубку ладонью, так как боится, что

¹ – Я звоню тебе из Нью-Йорка.

внучка за 10.000 км услышит его хриплое дыхание. Потом говорит, словно робот:

– Вы ошиблись. Неправильный номер, –
и вешает трубку.

...Потрясенный Юрий Иванович встал из-за стола и зашагал по кабинету. Вот перед ним карта мира. Он смотрит на нее, словно пытается вообразить себе расстояние между собой и внучкой, все эти поля и моря.

Снова зазвенел телефон. На этот раз он просто вырвал шнур из розетки. Снова зашагал, остановился посреди кабинета. Мрачно и враждебно посмотрел на собственное отражение в зеркале, на портрет любимого вождя возле письменного стола, прошагал к окну и раскрыл его одним движением.

Влетел снежный заряд, загудела ночная Москва. Он рванул со стены портрет «любимого вождя» и с ледяной яростью швырнул его в темноту..

Внизу по тротуару плелась мешочница. Портрет спланировал к ее ногам.

– Портретик! – обрадованно ахнула бабка.

Вытерла находку платком и сунула в сумку, откуда торчали десятка два куриных лап.

1981 год. Остров Эгина



DE PROFUNDIS

Лежит на стойке друг-котище,
 глазища зеленой со сна.
 Я говорю: «Налей, трактирщик,
 зеленого налей вина,
 налей мне чарку зелена».

Трактирщик говорит: «Ну, Леш,
 ну, что ты, Леша, воду мутишь?
 Я бы налил, да как нальешь!
 Ну, а налью – как пить-то будешь?
 Иди, иди, и так хорош».

Я бы пошел, да как пойдешь –
 не вытянуть подошв из ила.
 «Извозчик, друг, не подвезешь?»
 «Один подвез... Куда – чудило!»
 Зеленый плещется овес.

А эта церковь как была,
 да только поп уплыл куда-то,
 и бирюзовы купола,
 а золото зеленовато.
 А вот и рыбка подплыла.

Улыбкой рыбкин рот распорот.
 Вот в китель влит порядка страж.
 Уж он-то, знать, залил за ворот.
 Так возвращаюсь я в наш город.
 Ах, рыбка, рыбка, что мне дашь?

АЛЛЕГОРИЯ

Правильно поют в Артеке дети:
«Коммунизм шагает по планете».

Он шагает грузно и неловко,
вляпывается в кучи и ворчит,
и задорная его боеголовка
из ширинки незастегнутой торчит.

6 АВГУСТА 1945 г.

Колесница Аполлона
и коринфский завиток,
и еще неопыленно
на пчелу глядит цветок.
Триумфаторы в колоннах
маршируют на восток,
и в коленках оголенных
восхищенья холодок.
Победитель над Европой
на хоругви с Ильичом,
а рябой и черножопый
в нем еще не уличен.
Но узнает вся Европа
свою страшную судьбу,
красный ангел агитпропа
дунет в длинную трубу.
Пусть весельем Запад занят,
снова волею Москвы
с наших стен глядят на запад
гидры, гении и львы.
На рассвете леденеет
бронзовый полугрузин,
злая тень его длиннеет,
медный конь под ним бледнеет.
Зри! он пальцем погрозил.

В ТРАКТИРЕ ПОД МАШИНУ

Ввиду отсутствия ансамбля
пред вами выступлю я сам, бя...
Ко-в.

А у меня ни пуха, ни пера
и, кроме родины, ничем я не торгую,
но не берут лежалую такую,
им, вишь, не надо этого добра.

На мне не выживают даже вши,
не переносят запах алкоголя,
а мне уж под полсотни, а какое
народу дело: «Лесов, попляши».

Я делаю ногою толстой па,
одно вперед и два назад, как Ленин,
стибаю с треском старые колени,
и сдержанно хихикает толпа.

На Дерибасовской готовят жидкий супчик,
машина в дырочку проталкивает зубчик,
какой приятный краешек, уступчик,
дрожат огни, шагни туда, голубчик.

Эк, тело, доплясались мы с тобой,
что отчебучиваем за балеты.
Машина заиканьем заболела:
«По мостовой... стовой... стовой... стовой...»

«ЛЕБЕДЬ ПОТА ШИПА РАН»

(Многоступенчатая нордическая метафора: *шип ран* – меч: *пот меча* – *кровь*: *лебедь крови* – *ворон*.)

1

В доме варежки вяжут варяжки,
в доме тихо, тепло, полумрак.
В генеральской тужурке, фуражке
на войну уезжает варяг.

В генеральской тужурке и стрижке
волосок к волоску, полубокс,
и, полвека привычно остривший,
произносит швейцар: «Полубог-с».

Сквозь зеркальные стекла подъезда
дочь-курсистка угрюмо глядит.
Черный паккард срывается с места.
Черный ворон на битву летит.

2

Для филолога это не диво,
карандашик слегка обведет,
в липковатом комке генитива
предсказуемы «меч», «кровь» и «пот».

Чу, часы заворочались – девять.
Библиограф подходит опять.
Остается не выяснен «лебедь».
На столе позабыта тетрадь.

Невский умер. Подходит девятка
И увозит в туман, гололедь.

Ах, надолго забыта тетрадка!
Белый лебедь остался белеть.

3

Пациенты боятся наркоза,
но сдаются в тоске и слезах.
Рваной раны огромная роза
распускалась у всех на глазах.

Ковыряясь в глубинах разреза,
уже просто рукой, без ножа
извлекая из мяса железо,
пел: «Пощады никто не жела...»

Медсестра с драгоценною ватой
подошла ему лоб обтереть,
и мгновенно комок сероватый
кровь и пот пропитали на треть.

4

«Слово о половецком разгроме,
о „Варяге“, идущем ко дну,
Ермаке перед смертью в истоме –
всё сливается в тему одну».

Подготовлен доклад к семинару.
Вдруг, при поиске беглом ключей
хмурый взгляд упирается в пару
на тужурке скрещенных мечей.

На мгновенье отбросило фото
для фотографа сделанный вид?
Или стукнула дверь? Иль всего-то
запах шипра? Но меч глянецвит.

* *
*

*Запах шипра, но меч, глянецвит,
кровь и пот пропитали на треть.
Черный ворон на битву летит.
Белый лебедь остался белеть.*

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГИЙ.
ЭЛЕГИЯ В ТРЕХ ЧАСТЯХ



*Бог умер.
Ницше.
Ницше умер.
Бог¹.*

В уборной стонет сизый голубок.
За дверью 00 (два нуля) хорал воды проточной,
и посетитель беспороточный
среди мрамора сидит, как полубог.

Усвоив шутку с зеркалом внутри,
непешным оком осмотри
сырые стены мраморной пещеры
Здесь части тел ведут свою войну,
забыв предохранительные меры,
ужасные в длину и в ширину.

... бог умер ницше: ницше умер бог...
Напухших пушек дула смотрят вбок
поверх бойниц курчавых. Из бойниц же,
раскрытых между ног, как третий глаз,
на нас глядит не Бог, не Ницше,
незнамо что глядит на нас.



Дом, именуемый глаголом – «лгу»,
пустынных волн стоял на берегу
и вдаль глядел. Пред ним неслись «победы»,
троллейбусы, профессоры, народ,
красавицы и наоборот,
и будущие эзоповеды.

За чтение на картошке «Also sprach...»
там было мне когда-то sehr schwach.
Я там узнал, что комсомол неистов,
что, что бы я им там ни плел, козел,
из этих алкашей и онанистов
со мной никто б в разведку не пошел,

что я – змея, побег дурной травы,
что должен быть растоптан и раздавлен.
Но тут примчался папа из Москвы,
присил, и я был, так и быть, оставлен.

Я на допросе препирался с про-
(зачеркнуто) – на зачете с Проппом.
Я думал, сказки – то, сё, зло, добро,
а Пропп считал избушку гробом².

И Пропп был прав, а я не прав. И вот
ко мне избушка повернулась задом.
В разведку не был послан я отрядом,
но поворот мне вышел от ворот,
где забивает целый день козла,
а польт не принимает гардеробщик,
где темная Нева под льдами ропщет
извне добра и зла.



Университет похмельной лиги.
На железных полках дрыхнут книги.
Перестрелка теннисных мячей.
Всё всегда кончается ничьей.

Старички в штанишках сухопары
и старушки (смешанные пары).
Скованный склероз телодвиже-
ний, как пары рифм: две М, две Ж.

Теннисная схватка без ракетки.
Пишущая машинка без каретки.
Пыльное, без форточки окно.
Темновато. Впрочем, не темно.

Прогуляться возле стадиона.
Не студено? Вроде не студено.
Но нельзя сказать, чтобы тепло.
Два овала вялых на табло.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Граффити, часто встречающееся на стенах университетских уборных в США.

² См.: В. Я. П р о п п. «Исторические корни волшебной сказки».



Михаил ЛЕМХИН

Три повести братьев Стругацких

Вот, наконец, эта книга; мне не терпелось ее увидеть*.

Ненадежный переплет, скверная бумага.

Боюсь, я не умею этого объяснить, знаю только наверное, что для меня эти три повести – «Трудно быть богом», «Пикник на обочине» и «За миллиард лет до конца света» – не просто вехи м о е й жизни, а целые куски жизни, прожитые под знаком этих повестей.

И я точно знаю, что я не один такой читатель.

Собственно феномен популярности – отдельный, особый разговор, речь сейчас о другом. О том, что вопросы, волновавшие Стругацких, были, одновременно, не только их вопросами. Эволюция Стругацких, их самоощущение в мире – довольно типичны для значительной части гуманитарной и, особенно, технической интеллигенции. Именно поэтому Стругацкие, без сомнения, входят в число самых читаемых авторов как метрополии, так и Зарубежья.

Книга, о которой я говорю, вероятно, лучший сборник Стругацких – повести, собранные здесь, осязаемо демонстрируют нам не только, как менялись авторы этих повестей, но и как менялось время.

1963 год («Трудно быть богом»), 1971 год («Пикник на обочине»), 1975 год («За миллиард лет до конца света») – казалось бы, что за срок такой – 8 лет, 5 лет?.. Что могло измениться?

* Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. «За миллиард лет до конца света». М., изд-во «Советский писатель», 1984.

Но даже те, кто искал в этой книге лишь увлекательного чтения, думаю, не могли не заметить, что изменилось многое...

Действие повести «Трудно быть богом» разворачивается где-то на иной планете в королевстве Арканар. Земляне, сотрудники Института экспериментальной истории, не только наблюдают жизнь этой планеты; они, затесавшись среди жителей – от гвардейцев и царедворцев до праздношатающих фрондирующих аристократов, – пытаются сглаживать, сколько возможно, острые углы: иногда – остановить бессмысленное кровопролитие, в другой раз – облегчить участь гонимого.

Вот как один из землян, пожилой опытный «историк», наставляет героя повести Антона (в Арканаре Антон зовется дон Румата):

«Нужно наконец твердо понять... никто из нас реальных осязаемых плодов своей работы не увидит. Мы не физики, мы историки. У нас единицы времени не секунда, а век, и дела наши – это даже не посев, мы только готовим почву для посева».

Но они ведь не боги в самом деле, а просто люди, и не очень легко удержаться на этой высоте понимания и всепрощения. Сколько угодно раз можно объяснять себе, почему жители Арканара стали такими, откуда взялась эта жестокость, откуда эта омерзительная самодовольная тупость, трусость, наглость, коварство. Можно убеждать себя, объяснять себе, но только до тех пор, пока чувствуешь самого себя богом, пока сам ходишь не по земле, а скользишь над землей, не ступая по грязи, пока мягко, раскрытой ладонью, отстраняешь от себя и х ж и з нь.

Бог милосерд.

Но если ты ненароком обнаружишь, что здесь, вокруг тебя, среди этого смрада, похоти и крови, есть что-то тебе дорогое – чувства, люди, стихи, – ты вдруг станешь сам частью этой жизни. Спустившись с Олимпа, ты вынужден будешь шагать, как все, по грязи.

Так случается и с героем повести доном Руматой, когда он обнажает свой меч против убийц и мерзавцев.

Он не бог уже, а человек, и он действует так, как должен был бы вести себя любой человек на его месте. Однако трагедия в том, что он одновременно и бог, он не может утратить, даже если пожелает, свою божественную сущность. И он понимает, что даже не сеет, а только взрыхляет почву.

Трудно быть богом. Точнее сказать, трудно быть одновременно и человеком, и богом.

Правда, в повести «Трудно быть богом» перед нами картина хотя и мрачная внешне, но на самом-то деле весьма оптимистическая по существу.

Конечно, мы видим мир идиотизма и серости. Забитая, манипулируемая толпа готова и к расправе над книгоочехями, как готова она – в то же время – и к бессловесному покорному повиновению.

Но авторский идеал, то самое «светлое будущее», мир «счастья и добра» – одним словом, абстрактное общество, которое авторы противопоставляют чудовищному настоящему, эта точка отсчета присутствует в «Трудно быть богом». И не только в двух, обрамляющих повесть, главах, но и в авторском сознании. Авторы ведут речь о том, что мешает движению к этому идеалу – и, естественно, многое мешает! – но сама возможность того, что идеал этот достижим, не подвергается сомнению.

Это я говорю сейчас, глядя в повесть с расстояния в двадцать два года. А в то время и читатели, и критики сосредоточили свое внимание на другом, на картине действительности, нарисованной в «Трудно быть богом». То есть на критическом аспекте повести. Это – естественно, повесть именно и говорила о действительности. И казалась эта повесть беспросветной, ибо рисовала она мир, которому ох как далеко еще было до идеала.

Повесть казалась тогда мрачной.

Теперь я без тени сомнений называю эту книгу оптимистической – потому что идеал был. Он представлялся далеким – именно об этом и повесть, что идеал вдруг оказался значительно дальше, чем виделось еще вчера, – но он был несомненным эталоном, хотя и не материальным, но как будто бы и зримым.

Господствующим настроением тогда, в начале 60-х, была вера в обновление. То, что было, – не повторится. Конечно, на 30 лет мы свернули с нужной дороги, но теперь всё будет правильно!

Пусть то была эйфория, но, в достаточной степени, и тенденция.

И то, что веселый роман – космический вариант «Трех мушкетеров» – вдруг превратился в процессе писания в сумрачную книгу, далекую от эйфорийного настроения, объясняется просто. Нужно лишь перелистать газеты за март 1963 года. После двух встреч деятелей литературы и искусства с партийными бонзами выяснилось, что наше светлое будущее не так уж близко, и путь к нему – не прям.

Всё то, что, казалось, уже ушло в небытие или доживало свой век в тени, забытое, вдруг, словно бы с новыми силами, вырвалось на свет – а командиры от искусства принялись натягивать провисшие было вожжи...

«...от грамоты, от грамоты всё идет, братья... оскорбительные стишки, а там и бунт... всех на кол, братья!.. я бы делал что?.. я бы прямо спрашивал: грамотный? на кол тебя! стишки пишешь? на кол!.. на кол, слишком много знаешь!..»

Так вот судачат в пивной жители гипотетической страны Арканар. И посланцы светлого коммунистического завтра хотят, но не могут им помочь.

«Да, братья, это вам не смутное время! Прочность престола, благосостояние, незыблемое спокойствие и справедливость... Ура, дон Рэба!.. Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная!..»

Помните, про это самое – чудесное – время у Юлия Кима?

Солнце светит, но не греет – это не беда.
Разлилося половодье – полая вода.
К радости для мелкого и крупного скота
Оттепель настала, но не та.

Весенняя вода, веселая вода,
Ох, мутная, распутная, беспутная вода.

Берите невода, кидайте – кто куда,
Тяните, братцы, рыбку из пруда.

Среди неба ясного грянул первый гром.
Всё кипит и пенится, как будто старый ром.
Весенний шум, зеленый шум идет, себе, бредет,
Как сказал Некрасов, но не тот.

И посланцы светлого будущего, эти интеллигенты, вынуждены были задуматься о том, как же несчастной стране добраться, дотащиться до их замечательного идеала. Оказалось – об этом нужно думать им самим, оказалось – готовые теории тут не при чем; совсем не катится и даже не ползет вперед их безвольный Арканар, скорее уж, похоже, соскальзывает назад.

«Самыми страшными были эти вечера, тошные, одинокие, беспросветные. Мы думали, что это будет вечный бой, яростный и победоносный. Мы считали, что всегда будем сохранять ясные представления о добре и зле, о враге и друге. И мы думали, в общем, правильно, только многого не учли. Например, этих вечеров не представляли себе, хотя точно знали, что они будут...»

Как же воплотить в жизнь идеалы? Вот герой повести, Антон (он же – дон Румата), беседует об этом с местным жителем, Будахом:

«...Но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему? Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы сказали: вот теперь мир добр и хорош?..»

Будах, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него.

– Что ж, – сказал он, – извольте. Я сказал бы всемогущему: „Создатель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так просто этого достигнуть. Дай людям вволю хлеба, мяса и вина, дай кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и всё, что разделяет людей“.

– И это всё? – спросил Румата.

– Вам кажется, этого мало.

Румата покачал головой.

– Бог ответил бы вам: „Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими“.

– Я бы попросил оградить слабых. „Вразуми жестоких правителей“, – сказал бы я.

– Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их.

Будах перестал улыбаться.

– Накажи жестоких, – твердо сказал он, – чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым.

– Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого.

– Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили всё и не отбирали друг у друга то, что ты им дал.

– И это не пойдет людям на пользу, – вздохнул Румата, – ибо когда получают они всё даром, без труда, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних живостных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно.

– Не давай им всего сразу! – горячо сказал Будах. – Давай понемногу, постепенно!

– Постепенно люди и сами возьмут всё, что им понадобится.

Будах неловко засмеялся.

– Да, я вижу, это не так просто, – сказал он. – Я как-то не думал раньше о таких вещах... Кажется, мы с вами перебрали всё. Впрочем, – он подался вперед, – есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни!

Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата... Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках...

– Я мог бы сделать и это, – сказал он. – Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?

Будах, сморщив лоб, молча обдумывал. Румата ждал. За окном снова тоскливо закрипели подводы. Будах тихо проговорил:

– Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново, более совершенными... или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.

– Сердце мое полно жалости, – медленно сказал Румата. – Я не могу этого сделать.

И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой».

Вот о чем эта книга. Пошатнулась – только что отстроенная – система мироздания.

Еще вчера, казалось, все были вместе, вместе – вперед (прошу прощения, но это не только мой пафос, а пафос того времени). И вдруг стало ясно, что сами они (уважаемые сограждане) никуда не пойдут, а сердце твое полно жалости, а кто-то смотрит на тебя с ужасом и надеждой – и ты, Ты должен думать о них, решать. Как пройти – сквозь грязь и смрад – туда, к твоему светлому идеалу*.

И, кроме сострадания, ведет, повторяю, еще одно – убежденность, что идеал этот, несомненно, достигим.

На дворе 1963 год. Дальше – пунктиром – падение Хрущева, процесс Синявского и Даниэля, Чехословакия.

Я не останавливаюсь сейчас на том, что написали Стругацкие между 1963 и 1971 годами, я не прослеживаю шаг за шагом эволюцию их взглядов, отразившуюся в таких произведениях, как «Жищные вещи века», «Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне», «Гадкие лебеди», «Второе нашествие марсиан». В книге, о которой мы говорим, всех этих повестей нет (а одна из них, «Гадкие лебеди», и вообще не доступна большинству

* Сам по себе этот конфликт типичен для романтической литературы. –А в т.

советских читателей*). Следующая в книге – повесть «Пикник на обочине», написанная в 1971 году.

Прошедшие с 1963 года восемь лет, похоже, уничтожили все иллюзии без следа. Если в 1963 году мы оставили Стругацких (или они – нас) в поисках путей к довольно определенному идеалу, который они доверчиво поместили на границе своего горизонта, то в 1971 году мы застаем их в «мире без иллюзий». То есть и следов не осталось былой уверенности, что законы истории известны нам, что будущее – счастливый мир любви, творчества и добра. Что мы вообще существуем, как «мы», как объединенная чем-то (кроме внешних для нас законов и уложений) группа людей.

Каждый – за себя.

Каждый борется за свое место под солнцем, барахтаясь, зацепляя – даже если без злого умысла – других.

На этот раз действие происходит не на какой-то абстрактной планете, а на Земле.

Посетив Землю (само посещение – за рамками повести), пришельцы оставили по себе память – шесть зон, где они вступили в контакт с нашей планетой.

Загадочные явления, удивительные, непонятные механизмы, опровергающие многие, еще вчера неоспоримые, естественные законы, – вот что оставили пришельцы в этих зонах.

Впрочем, важнейшее, что «извлекают» люди из этих зон, относится скорее к философии, чем к технике.

«– И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием?..» – спрашивает журналист знаменитого ученого, Нобелевского лауреата, и получает странный ответ:

«– Сам факт Посещения.

– Простите?

– Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно,

* Повесть «Гадкие лебеди» в СССР не издана. Она была отвергнута десятками редакций: от журнала «Юность» до Магаданского книжного издательства включительно. Повесть, написанная в 1966-67 гг., была издана в 1972 году «Посевом». – А в т.

кто были эти пришельцы. Не важно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно, что теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что Институту внеземных культур уже никогда больше не повезет сделать такое фундаментальное открытие».

В то же время, естественно, разнообразные группы и организации, минуя Институт внеземных культур (который контролирует зоны посещения), пытаются раздобыть различные «вещи» и «механизмы», оставшиеся от пришельцев. И они готовы платить, не скупясь. Возникает новая специальность – сталкер. Сталкер – это человек, который, рискуя жизнью, прокрадывается в Зону и выносит оттуда «товар».

Местная полиция, специальные подразделения международной охраны, плюс некая засекреченная международная служба контрразведки*, – все они охотятся за сталкерами и за теми, кто скупает «хабар», товар, добытый сталкерами.

Герой повести «Пикник на обочине» – сталкер, рыжий Ред, Редерик Шухарт. Это простой парень, который никому не желает зла, он только хочет жить по-своему, почувствовать себя хозяином своей жизни**.

Но – и в этом основной заряд книги – он, живущий словно чужак, не принимающий стадной жизни, все равно такой же продукт общества, как и стадо. Тот невидимый и бестелесный режиссер – само устройство нашей жизни, – который распределяет роли, заранее определил Шухарту роль вечного одинокого волка. Шаг за шагом удаляясь от системы поведения, предписываемой обществом, Шухарт все ближе и ближе подходит к тому об-

* В порядке хвастовства важным родством – контрразведкой этой командует мистер Лемхен с «прямоугольным генеральским лицом». – А в т.

** Герой «Пикника» – это нескрываемый Гарри Морган из «Иметь и не иметь». «Пикник» вообще в значительной степени – даже композиционно – ориентирован на этот роман Хемингуэя. Как бы современный, отягощенный всеми мерзостями послевоенного уже мира, вариант судьбы.

Точно так же – что подчеркнуто и названием: «Второе нашествие марсиан» – это вариация на тему уэллсовской «Войны миров». – А в т.

разу, который фатально определен ему этим самым обществом.

Шухарту кажется, что он с а м живет, что он свободен, борется, зубами вырывает – всё ожесточаясь – у этого общества возможность быть самим собой. Однако правила игры неизменны, и, не подозревая этого, он неотвратимо стремится к той лузе, в которую он послан бесчеловечно рассчитанным ударом.

И – думая только о спасении своей дочери – он переступает последнюю черту, становится убийцей. По той логике, в соответствии с которой он жил, у него не было иного выхода, не было других вариантов, и он прошел свой путь до конца.

Он шел за счастьем для себя.

За этим он и вообще-то ходил в Зону. Сначала за деньгами, то есть за независимостью. Но оказалось, что за деньги не может он купить здоровье для дочери, не может купить и справедливость, чтобы «они» заплатили за все его унижения.

На этот раз он шел в Зону за справедливостью: «Расплатиться за всё, душу из гадов вынуть, пусть они дерьма пожрут, как я жрал... Не то, не то это, Рыжий... То есть то, конечно, но что всё это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли.

Он похолодел от какого-то страшного предчувствия...»

Этот панический бессвязный поток – всё, что может «Рыжий» Шухарт противопоставить обществу, добравшись наконец до удивительного «шара», исполняющего желания.

«Господи, да где же слова-то, мысли мои где? Подлость, подлость... И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады... Шпана... Как был шпаной, так шпаной и состарился... Вот этого не должно быть! Ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить... Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю, и для чего человек рожден – не знаю. Родился – вот и рожден. Кормятся кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пусть все подохнут. Кто это – мы? Кто – они? Ничего

же не понять. Мне хорошо – Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо – Очкарику плохо, Хрипатому хорошо – всем плохо, и самому Хрипатому плохо, только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя извернуться... Господи, это ж каша, каша!..

...Теперь он сидел, закрыв голову руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хоть бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но он опять видел только рыла, рыла, рыла... зелененькие... бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр... Он знал, что все это надо уничтожить, и он хотел это уничтожить, но он догадывался, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего – только ровная голая земля*...

Выламываясь из фиксированной структуры, Редерик Шухарт хочет добра, справедливости. Но что это такое, как это выглядит?

Юноша, жизнью которого Шухарт пожертвовал, чтобы открыть себе дорогу к «шару», этот сын мерзавца и негодяя, юноша этот выкрикнул «шару» за секунду до смерти свою просьбу, свое самое заветное желание: «Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!..»

Ожесточенный, с задубленной кожей, Редерик Шухарт, не умея найти слова, отчаявшись хоть бы увидеть образ справедливой жизни, просит «шар» заглянуть к нему в душу, разобраться, взять оттуда все, что там есть настоящего.

«Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады

* В «Гадких лебедях», например, иное общество, населенное иными людьми, возникает не в результате эволюции, а в результате некоей фантастической метаморфозы. Старый мир не уничтожается только потому, что он уже не заразен, то есть новый не восприимчив к этой заразе.

С другой стороны – и по другую сторону железного занавеса, – Дария, героиня фильма Антониони «Забриски поинт» (1970) взглядом своим взрывает к чёртовой матери весь этот старый мир: и дома, и шкафы с платьями, и холодильники со жратвой, и даже книги. Остается «только ровная голая земля». – А в т.

не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всесильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю – там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никому и никогда не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, – ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: „СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!“»

Справедливость, за которой он пришел на этот раз в Зону, не может быть справедливостью только для него.

Редерику Шухарту нечего больше сказать, кроме как повторить слова безусого мальчишки, отправленного им на смерть. У него нет других слов.

Но нет этих слов больше и у авторов. За восемь лет до того они готовы были бороться, рвались бороться за свой идеал, воплощенный лишь в словах. Но вот теперь – есть волшебный шар, «машина желаний»*, но слова поблекли, исчезли, изменили смысл... Где он, идеал?

Найти правильный путь – было вопросом тогда. Теперь оказалось, что и сама цель перестала быть конкретной.

Будах и Румата перебрали тогда все возможные варианты. Теперь могла бы «машина желаний» попробовать снова. Но уже вопрос не стоит – как дойти, теперь вопрос – куда.

Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!!

Много это или мало? Конкретно?

Это всё.

Больше ничего не осталось.

Было время, когда господствующей верой была вера в перемены, пусть не очень скорые... но верили, что они, конечно, произойдут на наших глазах. Потом – верили в то, что мы (не уточняя, кто такие эти расплывчатые

* «Машина желаний» – название нескольких вариантов сценария, из которого возник фильм Андрея Тарковского «Сталкер». – А в т.

«мы»), взявшись за руки, – сила или, уж по крайней мере, нерасторжимое целое, нас не распылишь.

В середине 70-х годов господствующей темой размышлений, застольных бесед и литературы стала проблема л и ч н о й ответственности; «мы», совершенно размывшись, превратилось уже в нечто почти не существующее (говоря «мы», подразумевали не какую-то общественную группу, а двух-трех друзей).

Тема сама собой сформулировалась, и серия замечательных книг образовала целое направление.

Лучше всего обратиться к стихам:

Дорожные мелькают знаки,
Пером вожденье по бумаге
Не больше требует отваги,
Чем слово твердое и взгляд.
Прямой поступок – вот реальность,
Не меньшая, чем гениальность,
Его пример и моментальность
Слепят, как дуговой разряд.

Так писал Александр Кушнер в книге «Письмо», на мой взгляд, самой значительной поэтической книге 70-х годов в России.

Итак, была целая серия книг о необратимости прошедшего, совершенных поступков, о том, чего нельзя переступить, не разрушив самого себя: «Сотников» Василя Быкова, «Бедный Авросимов» Булата Окуджавы, фильм Тарковского «Солярис» и, конечно, «Дом на набережной» Трифонова.

И в «Сотникове», и в «Бедном Авросимове», к примеру, речь велась не об организованной борьбе, сопротивлении. Разговор шел о том, «как вести себя на допросе». (Помните, сколько появилось тогда самиздатовских инструкций с этим названием.)

Я вовсе не хочу сказать, что эти романы были инструкциями в беллетристической форме, я имею в виду лишь то, что центр тяжести перемещался в сферу личного, даже интимного. Вопрос решался не на уровне – за кого я? Речь шла о выборе, наиболее адекватном твоей,

уже сформировавшейся, личности, о том, хватит ли у тебя сил защитить себя.

Это был не выбор позиции (она была выбрана давно) – речь шла о духовной смерти.

И вот теперь не боги, не хемингуэевские одинокие волки, а наши современники, ленинградцы, герои повести «За миллиард лет до конца света» (1975) ищут не путь в светлое будущее, и даже не саму идею – каким это будущее должно быть, теперь вопрос стоит так: его, будущего, и вовсе не будет, если они не найдут в себе силы противостоять чудовищному давлению настоящего.

Легко представить себе реальный ленинградский дом на реальной улице, квартиру с телефоном 93-89-27. Ну, скажем, улица Победы. Пройдемте по этой улице – вправо от Московского проспекта, вообразили? Теперь – во двор, длинный-длинный, со сквером посередине. Идем по двору почти до конца, входим в парадное.

Теперь поднимайтесь, скажем, на пятый этаж. Вправо и влево от лифта – двери. Войдем в ту, что слева, в торце коридора.

Две комнаты – одна против другой. Дальше еще одна, через крошечный коридорчик – кухня. Вот эти комната и кухня и есть место действия повести.

Можете, конечно, подставить на место этой – множество иных ленинградских или московских квартир. Действие же «Миллиарда лет» разворачивается здесь, в абсолютно точно описанной – с точным адресом и телефоном, измененным лишь на одну цифру, – квартире одного из авторов.

Итак, кухня и комната. Комната – кабинет. Довольно просторный, на полках книги, у окна, торцом к нему, письменный стол, а за окном башня – двенадцатиэтажник. Тахта. На ней телефон, с него-то все и начинается.

Начинается с обычных телефонных звонков – не туда попали, раз, другой, третий. Хозяин квартиры, астроном (как, между прочим, и реальный хозяин этой квартиры) Дима Малянов, вскакивает из-за стола, заваленного книгами и вычислениями, и, плюхаясь животом на тахту, срывает телефонную трубку. Не туда попали. Словно

специально, чтобы не дать сосредоточиться на работе, на вычислениях.

Жрать охота. В холодильнике пусто, а тащиться в гастроном, на Московский, – не хочется. Жена и сын – у тещи в Одессе.

Телефон звонит, есть хочется, но работа идет хорошо, даже, наверное, отлично. И Малянов думает: «Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем, это, брат, настоящее... Этого, брат, до тебя никто не делал... тьфу, только бы не сглазить...»

Жара. Дима Малянов сидит за столом в трусах. Вот такова атмосфера.

Звонки телефонные мешают – плевать. Есть охота – потом. Но тут, неожиданно-негаданно, и всё же самым реальным образом, без чудес – появляется еда. И какая! Ветчина и колбаса, осетрина, икра, вино и водка, и дорогой коньяк, и дорогие конфеты.

Есть-то, конечно, хочется. И кот – со странным именем Калям – умирает от голода, но ничего, теперь и ему рыбки перепадет.

Но и после этого маленького пиршества мысли возвращаются в привычное русло, к вычислениям, к письменному столу.

Звонок в дверь...

«На пороге стояла молодая женщина в белом минисарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая. Незнакомая».

Разве странно? Все обыкновенно – приехала в Ленинград одноклассница жены. В гости. Посмотреть город.

Не странно. Но какая тут работа!

И, что удивительно, Дима Малянов не один такой. У его друзей, у друзей его друзей – тоже какие-то проблемы.

К одному, замечательному изобретателю, Захару Губарю, холостому, вдруг косяком пошли многочисленные подружки и даже некоторые из них – с мужьями. И появляется сын пяти лет – о существовании которого Захар не имел представления.

Второму, биологу Валентину Вайнгартену, в самый разгар работы, которая, по его выражению, «пахнет нобелевкой», предлагают – заманчиво! – директорство в

новейшем институте, кучу иных синекур и впридачу сообщают: «„Мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания. В качестве залога позвольте вручить вам небольшой презент“. С этими словами рыжий... бросил на стол... толстый пакет... набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может».

Но это – пряник. А возможны – так было и сказано – и другие меры.

Вот, скажем, у востоковеда Глухова, собравшего огромный материал для своей новой работы, вдруг появляется странная болезнь: он может думать о работе, рассказывать о ней, но стоит ему взяться за перо, начинаются головные боли, тошнота. Удивительная болезнь!

Некая сила не дает каждому из них закончить работу – мешает, требует, сулит, угрожает. Судя по внешним проявлениям, возможности этой силы безграничны. Что это за сила такая, откуда она, каковы ее цели?

Один из героев повести, Вечеровский, называет эту силу Гомеостатическим Мирозданием, он формулирует это так: «мироздание сохраняет свою структуру». То есть система защищает себя, создавая условия, при которых никакие изменения невозможны. Прочитируем Вечеровского: «...если бы существовал или хотя бы возобладал... непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура мироздания... нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно стало бы просто другим – вопреки принципу гомеостатичности».

Какой-то бред! Система, зафиксированная навечно, защищающая свою структуру!

И всё это вторгается в реальный быт, в реальную нашу повседневную жизнь с ее повседневными проблемами и ценностями.

Вот так, при помощи почти телевизионного наезда – от общего к крупному, самому крупному плану – возникает проблема выбора, отодвигая другие проблемы, но и на них отбрасывая свою дрожащую тень. Какое имеет значение, что это за сила, как ее назвать, откуда взялась

она. «Не важно, какая сила на вас действует, важно – как вести себя под давлением», – говорит Вечеровский.

А, собственно, какие варианты, как тут можно себя вести?

Один умирает – то ли его убили, то ли, вернее всего, сам застрелился, не выдержав давления, – вот один вариант.

Еще путь – плюнуть на эту работу, плюнуть на все, стать другим, смотреть телевизор, читать детективы:

«– Да ясно же! – сказал Глухов с необычайной проникновенностью. – Неужели не ясно, что выбирать? Жизнь надо выбирать! Что же еще? Не телескопы же ваши, не пробирки же... Жить надо, любить надо, природу ощущать надо, а не ковыряться в ней!.. Что еще человеку надо?..»

А Малянов думает о нем: «Вот, значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он не тот. Не выдержал. Елки-палки, но ведь бываюют, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит».

Стругацкие не облачаются в судейские мантии, не выкрикивают – «виновен», указывая пальцем на Глухова. «На самом деле, – думает один из героев повести, – Глухов вообще вне сферы анализа, он в сфере милосердия»*.

Но уже цитированный герой повести, Вечеровский, говорит:

«– Меня бесит вовсе не выбор Глухова. Какое я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшись один на один, без помощи, без надежды... Меня раздражает поведение Глухова после выбора. Повторяю: он стыдится своего выбора и потому – только потому! – старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того могучую силу».

А Глухов судит себя сам: «В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боя-

* Вспомним, из «Мастера и Маргариты»: «Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий». – А в т.

лись проговориться под пытками, а просто, было стыдно... В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими – перед обществом, перед друзьями... А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится... Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал... Вот уже и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заноеет... Вы знаете, я всё думаю... вот такие, как мы, – что это такое? То ли мы действительно так хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, – атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться».

Да, действительно, кажется, что это – путь: и аллея ухоженная, и скамеечки расставлены под фонтанами, отдохнуть на них можно, если устал, от жары укрыться, как Хлестаков говорил, «под сенью струй».

А вроде и не путь – мираж, идти по нему нельзя. Во всяком случае – оставаясь собою. Расплющит тебя, станешь другим, «всё будет другое, другие друзья, другая работа, другая жизнь».

«Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы...»

Эти слова, раз произнесенные, звучат в ушах Димы Малянова даже и тогда, когда он сделает свой выбор – повернет с полпути обратно.

Что может быть безнадежней – всю жизнь кривые глухие окольные пути? Но ведь бывает такое давление, которого никакой человек не выдержит.

Звонок в дверь.

«Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: „Телеграмма, прошу расписаться...“ Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же, в прихо-

жей, под яркой пятисотсвечевой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.

Телеграммы была от тещи. „ВЫЛЕТАЕМ С БОБКЕЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА“. И ниже была приклеена полоска: „ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК“.

Здесь я прошу вас остановиться. Подумайте. В любом – самом общем – виде. Ваш ребенок – или открытие (выдающееся)? Ваш ребенок – или идея (любая)? А? Ваш сын, ваша дочь, ваша жена. Что выбираете?

Это не называется выбором, скажете вы. Галилей, к примеру, мог выбрать либо свою жизнь, либо идею. Свою жизнь. Не жизнь д о ч е р и ставил он против идеи, а свою...

И Дима Малянов делает свой выбор – он складывает вычисления в папку, пишет на ней: «Д. Малянов. К вопросу о взаимоотношении звезд с диффузной материей в Галактике», подумав, зачеркивает свою фамилию и несет эту папку человеку, который решил по-другому.

Который решил не сворачивать, решил собрать материалы всех отказавшихся, повернувших с полпути; вынужденных повернуть. Он, правда, один, нет у него ни жены, ни сына, с которыми нужно было бы расстаться, вступив на дорогу, ведущую к океану смерти.

Он, этот человек, из тех, кто просто физически не может капитулировать. Но он вовсе не собирается умирать. Он собирается бороться, пусть в одиночку – а он верит, что будет не один, – и, потом, ведь никто еще не пытался, никто еще не пробовал – не сдаваться. Что будет, что произойдет, если кто-то не свернет обратно с полпути? может быть, этот шаг породит нечто неведомое нам?

Ведь протоптанные кривые глухие окольные пути – и все мы это знаем, – несмотря на свою сугубую зримость, не более чем мираж. Именно они не могут никуда привести.

От веры в конечную историческую справедливость и поисков своего – интеллигенции – места в общем строю до

утверждения ответственности каждого перед собой, до осознания невозможности переступить некую границу, не разуршив самого себя, – вот путь авторов этой книги.

Любопытно было бы рассмотреть этот путь в широком литературном контексте, сопоставляя с работой других значительных прозаиков. Например, рядом с Юрием Трифоновым: «Утоление жажды» (1963) – «Отблеск костра» (1965) – «Другая жизнь» (1975) – «Дом на набережной» (1976).

Та же линия.

Впрочем, путь Трифонова начался раньше, со «Студентов», то есть с «Дома на набережной» с противоположным знаком. Однако это уже совсем другая история.

Вообще-то, Стругацким не везет с критикой. В лучшем случае – поощрительно-похвальные рецензии, в худшем – разгромные фельетоны.

И ни одной серьезной статьи.

Самой заметной была статья А. Лебедева в «Новом мире». Она относилась к разряду поощрительных. Правда, ничего особенно интересного в ней не было. Она, скорее, имела значение только как факт – положительная статья в «Новом мире»*. Авторы могли гордиться. Читатели могли ориентироваться – мол, свои ребята.

Но к литературе это никакого отношения не имело.

Конечно, были и цензурные препятствия. Но не помешали же цензурные препятствия Льву Аннинскому написать и опубликовать великолепные работы о Трифонове, Владимове.

Это все-таки странно: читателей – миллионы (самых разных: от школьников до интеллектуалов), а для критиков Стругацких словно бы и нету.

При любом раскладе, при попытках сделать хотя бы приблизительный обзор литературы, находится место для графоманов вроде Пикуля, но не для Стругацких**.

* «Реалистическая фантастика и фантастическая литература» – «Новый мир», № 11, 1968.

** В двух книгах о русской прозе, вышедших в последнее время в эмиграции, Стругацкие упоминаются – и только.

В книге П. В а й л я А. Г е н и с а «Современная русская проза» («Эрмитаж», 1982) авторы поминают Стругацких лишь для полноты

Для критиков – фантастика какая-то недолитература.

Надеюсь, эта книга, «За миллиард лет до конца света», покажет, что произведения Стругацких – полноценная и немаловажная часть современной литературной жизни, а эволюция их творчества неотделима от общего литературного и социального процесса.

Июль, 1985 г.

Перечитав написанное, я сообразил, что упустил две вещи, о которых, наверное, стоит сказать: одну – существенную, вторую – скорее забавную.

ПОСТСКРИПТУМ ПЕРВЫЙ

Существенное – то, что связано с фильмом «Сталкер», поставленным Андреем Тарковским по сценарию братьев Стругацких.

Фильм «Сталкер» не очень похож на повесть «Пикник на обочине», но, вопреки распространенному мнению, «Сталкер» снят и м е н н о по сценарию Стругацких, практически без каких-либо изменений (изменения, сделанные Тарковским в окончательном варианте сценария, можно буквально пересчитать по пальцам).

Уже первый вариант сценария – а вариантов было девять – мало чем напоминал повесть «Пикник на обочине», хотя, несомненно, рос он из той же корневой системы.

Весной 1976 года впервые Тарковский и братья Стругацкие собрались втроем в Москве*, дома у Аркадия Натановича, чтобы обсудить будущий фильм.

картины. Собственно, П. Вайль и А. Генис видят в творчестве Стругацких серьезную, значительную литературу, а не детско-юношескую фантастику, но непосредственно анализом произведений Стругацких они не занимаются.

То же – и в «Вольной русской литературе» Ю. Мальцева («Посев», 1976). – А в т.

* Аркадий Стругацкий живет в Москве, Борис – в Ленинграде. – А в т.

Как ни покажется странным, первое, на чем настаивали Стругацкие, чтобы в фильме не было никакого фантастического антуража, вообще – никакой фантастики. К примеру, они были против фантастических интерьеров (как в фильме Тарковского «Солярис») – простое человеческое жилье, комната.

Работа над «Сталкером» была долгой. Съёмки начались по 8-му варианту сценария. Однако, когда у Стругацких появилась новая идея, радикально меняющая образ главного героя, Тарковский попросил Стругацких переписать сценарий, ориентируясь на эту идею, а сам, приложив нечеловеческие усилия, добился разрешения начать съёмки сначала, отбросив уже готовый материал.

Стругацкие написали 9-й вариант сценария – тут, кстати, он превратился в двухсерийный, – по которому и был сделан фильм.

К чему я это все говорю?

«Главная заслуга в создании фильма принадлежит А. Тарковскому, мы были только его подмастерьями», – написал А. Н. Стругацкий, предваряя публикацию одного из первых вариантов сценария*. То же Аркадий Натанович говорил и выступая на премьере фильма, 15 июня 1979 года в московском Доме кино.

Естественно, у кинофильма может быть только один автор – это режиссер. Все остальные – сценаристы, композиторы, актеры, операторы – или помогают режиссеру, работая на его замысел, или мешают ему**.

Автор фильма – конечно же, Тарковский.

Но, несомненно, что «Сталкер» это совсем не переделанный (переосмысленный) Тарковским «Пикник на обочине». Сценарий, написанный Стругацкими, бесспорно

* «Научная фантастика», вып. 25. М., изд. «Знание», 1981, стр. 7. – А в т.

** Существуют и иные точки зрения. Эта статья – не место для аргументов в пользу правомерности той или иной из них, однако, стоит отметить, что именно такой подход к кинорежиссуре обосновывает в своих интервью и статьях Андрей Тарковский.

Между прочим, советские законы автором считают сценариста, режиссер же имеет статус лишь наемного работника студии. – А в т.

отражает их взгляды, их размышления того времени не в меньшей степени, чем отражает вся эта работа взгляды Андрея Тарковского.

Недаром монологи Писателя, одного из персонажей фильма, дословно совпадают с наиболее искренними, откровенно лирическими страницами повести Стругацких «Гадкие лебеди» (1966-67) и романа «Град обреченный» (1970-72).

И если мы взглянем на фильм под этим углом, то есть рассматривая эволюцию творчества Стругацких, – то мы увидим и кое-что новое.

Вспомните отчаяние Редерика Шухарта, который, глядя на волшебный «шар», «машину желаний», пытается хотя бы вообразить – что такое счастье? как сделать счастливыми всех?

У него нет слов.

Загляни в мою душу, молит он «шар», я не могу толком сказать тебе, чего я хочу, но, загляни ко мне в душу и сделай так, как просит моя ч е л о в е ч е с к а я душа.

В «Сталкере» это уже аксиома – словами и не предполагается разговаривать с «машинной желаний». Слова здесь бессильны. «Мысль изреченная есть ложь».

Разве что поэзия в состоянии дать картину души.

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Всё, что сбиться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,

Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

В фильме «машина желаний» – это просто комната в полуразрушенном доме.

На пороге этой комнаты Сталкер, как бы очищая душу огнем поэзии, читает стихи*.

Но, проделав трудный путь, ни сам Сталкер, ни Ученый, ни Писатель так и не переступают порога.

«Машина желаний» заглянет в душу и прочтет. Но что она прочтет? Вот вопрос: что там, в нашей душе?

Ред Шухарт, простой парень, считал, что зло – вокруг нас, снаружи. Душа-то у меня человеческая, думал он. Ей можно доверять.

Герои фильма – Сталкер, Ученый и Писатель – понимают, чувствуют, что зло также и внутри нас.

Что увидит эта комната, «машина желаний», заглянув в их души? Что там – внутри? Все трое – они боятся себя.

Удивительно, как это всё далеко от философии времен «Трудно быть богом» и, одновременно, очень близко по-человечески, что ли.

То, что тогда самочинно, без спроса прокрадывалось в книги, расшатывая стройные теории, стало главным стимулом творчества.

ПОСТСКРИПТУМ ВТОРОЙ

Теперь – забавное. Относительно.

На прилавках русских книжных магазинов Зарубежья можно обнаружить две книги Стругацких с одним и тем же названием – «За миллиард лет до конца света».

* Стихи Арсения Тарковского (отца режиссера). – А в т.

Одна из них – тот сборник повестей, о котором я веду речь, другая – репринт повести «За миллиард лет до конца света», выпущенный год назад в Соединенных Штатах.

Репринт сделан с первой – и до недавнего времени единственной – советской публикации этой повести в журнале «Знание – сила»*.

Любителям творчества Стругацких, полагаю, будет интересно узнать, что тексты повести «За миллиард лет до конца света» в этих двух книгах – разные.

По объему разница не очень значительная. Однако, любой, кто раньше читал повесть, взяв в руки новое издание, заметит отличие.

Каждый понимает – цензура.

Впрочем, не каждый читатель знает, что самая серьезная – кровожадная – цензура, как правило, совсем не та, что скрывается за туманными словами «Главлит», «Горлит», «Лит».

Довольно часто официальный цензор возвращает материалы и вовсе без пометок.

Самая страшная цензура – редакторская. Начинается она, впрочем, с самого автора, который – увы, нередко – сам приспособливает свою рукопись, чтобы не испугать редактора. А дальше уже редактор корежит рукопись, добиваясь соответствия текста своим представлениям – о нынешних цензурных веяниях, о правде, о вкусах начальства. При этом, он зачастую представляется вашим же другом – и даже, вероятно, искренне: «Старичок, это мы с тобой должны смягчить. Вот здесь – ну, ты дал, уж настолько откровенно! Они же не дураки. Раз – и привет, зарежут повесть!»

После этого у цензора, возможно, и повода не будет вытащить из стакана свой красный карандаш.

Редактура зависит и от личности редактора, и от статуса редакции. Есть редакторы (и редакции) запуганные и фрондирующие, умные и глупые, тонкие и кондовые, злые и либеральные.

И если какое-нибудь произведение выходит в двух, в трех издательствах, нередко случается, что под разными

* №№ 9-12, 1976; № 1, 1977. – А в т.

обложками и тексты существенно разные. Особенно, когда произведение незаурядное, а репутация у автора – подмочена.

Так случилось с романом Стругацких «Обитаемый остров».

Он был напечатан в журнале «Нева»*, затем издан книжкой в издательстве «Детская литература»**. В «Неве» роман подвергли сравнительно небольшой редакции, но, главное, выбросили из него целую часть. В книге выброшенная часть восстановлена. Зато – изменено имя героя, опущены главы, в которых нарисованы сатирические портреты правителей «обитаемого острова», а сами эти правители, в журнале «Нева» именовавшиеся «Неизвестными Отцами» – в книге зовутся «Огненосными Творцами». Ну, и еще сотни мелких и крупных изменений.

К сожалению, это всё никого уже не удивляет.

Однако случай с книгой «За миллиард лет до конца света» все-таки удивительный.

В журнале «Знание – сила» текст повести был подвергнут цензуро-редактуры. Теперь же, в книге, повесть напечатана по авторской рукописи, дословно. И вот – несколько примеров.

В журнальном издании теория Вечеровского, объясняющая происходящее, хотя и выглядела по существу так же, но понять ее было значительно сложнее – термин Гомеостатическое Мироздание и даже просто слово «гомеостаз» в ней не упоминались. А в нем, между прочим, сердцевина произведения.

Отсутствовала в журнале и телеграмма, которую получает Дима Малянов. То есть, эпизод с получением телеграммы был, но текст ее редактор опустил, затруднив, тем самым, понимание повести.

Вот еще эпизоды, проясняющие – а в первом издании затуманивающие – атмосферу того мира, в котором разворачиваются события.

Один из героев повести – вероятно, ракетчик, – Ар-

* №№ 3-5, 1969 год. – А в т.

** Существует американский репринт этого издания. –А в т.

нольд Павлович Снеговой, сидя на знакомой нам кухне с Димой Маляновым и с Лидочкой, одноклассницей Диминной жены, рассказывает о себе:

«Оказывается, ему было предсказано, что умрет он восьмидесяти трех лет в Гренландии („В Гренландской социалистической республике...“ – немедленно сострил Малянов, но Снеговой спокойно возразил: „Нет, просто в Гренландии...“) В это он фатально верит, и эта уверенность всех вокруг раздражает. Однажды – было это во время войны, хотя и не на фронте, – один из его знакомых, под банкой, конечно, или, как тогда говорили, вполсвиста, до того раздражился, что вытащил „ТТ“, приставил дуло к голове Снегового и, сказавши: „А вот мы проверим!“ – спустил курок...

– И?.. – спросила Лидочка.

– Убил наповал, – сострил Малянов.

– Была осечка, – сказал Снеговой.

– Странные у вас знакомые, – сказала Лидочка с сомнением».

Интересную атмосферу создает этот эпизод, не правда ли? И почему-то понятно, где это было «во время войны, хотя и не на фронте». Странные, действительно, были знакомые у Снегового. И сам он человек странный – он застрелится через несколько часов после вот этой беседы. Не в Гренландии – в Ленинграде. Далеко не дожив до восьмидесяти трех.

Эпизод этот отсутствовал в первом издании повести.

Снеговой мертв. А к Диме Малянову неожиданно является некто Зыков Игорь Петрович, следовательно: Малянова подозревают в убийстве. Следует абсурдная кафкианская сцена:

«– На кого я похож, по-вашему? – спросил вдруг Игорь Петрович.

– На продавца, – ляпнул Малянов, не задумываясь.

– Неправильно, – сказал Игорь Петрович. – Попробуйте еще разок.

– Не знаю... – пробормотал Малянов.

Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой.

– Плохо! Ну, плохо! Никуда не годится. Это же надо – на продавца!..

– Ну, а на кого же? – спросил Малянов трусливо.

Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками.

– На человека-невидимку, – сказал он отдельно».

А вот как выглядит тот же эпизод в книжном издании повести (то есть – без редактуры).

«– На кого я похож, по-вашему? – спросил вдруг Игорь Петрович.

– На тонтон-макута! – ляпнул Малянов, не задумываясь.

– Неправильно, – сказал Игорь Петрович. – Попробуйте еще разок.

– Не знаю... – пробормотал Малянов.

Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой.

– Плохо! Ну – плохо! Никуда не годится. Странное у вас представление о наших органах следствия... Это надо же – тонтон-макут!

– Ну, а на кого же? – спросил Малянов трусливо.

Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками.

– На человека-невидимку! – сказал он отдельно. – Единственное сходство с тонтон-макутом – единственное! – что тоже пишется через чёрточку».

В каком варианте больше смысла?

Любителям такого рода сравнений гарантирую увлекательную работу. А для тех, кто занимается изучением механизмов работы советской цензуры, критериев, по которым что-то определяется печатным, а что-то непечатным, эти два издания «Миллиарда лет» – ценнейший материал.

Но самое замечательное все-таки, что повесть наконец-то опубликована – в том виде, как ее написали авторы.

Август, 1985 г.



Маяковский и товарищи потомки

Сравнительный анализ двух текстов

Как мы все помним, Маяковского болезненно остро мучила мысль о его, поэта, посмертной славе. Об этом он писал так часто, как никто из его современников, и, может быть, никто из предшественников. И вот будущее, до которого сам Маяковский отсчитывал 50 лет в своей комедии «Клоп», это будущее наступило. В середине 80-х годов Маяковского в Советском Союзе читают, помнят, судят о нем заинтересованно, пристрастно, спорят и не соглашаются, отрицают его поэтическое величие или утверждают его, славят и низвергают. Сборник, вышедший в Ленинграде в 1984 г. («Маяковский в современном мире»), уже одним своим названием говорит о присутствии поэта в том будущем, которое его так волновало. Конечно, это сборник официальный, и в нем не может быть другой точки зрения. Но вот перед нами книга, написанная, как говорит ее автор, с намерением «суждению об этом поэте придать полноту и определенность, достаточную если не для общего пользования, то для собственного душевного равновесия», — с намерением, которое показалось бы очень сомнительным участникам названного выше сборника, — эта книга называется очень по Маяковскому и, по-видимому, иронически: «Воскресение Маяковского».

«Маяковский в современном мире». Л., 1984. Сборник статей. Редактор В. В. Тимофеева.

Ю. Карабчиевский. «Воскресение Маяковского». «Страна и мир», 1985.

Прежде чем мы проделаем сопоставительный анализ двух книг – двух текстов, необходима одна, но очень важная, оговорка. Участники сборника «Маяковский в современном мире» – самые заурядные чиновники от литературоведения, мыслят они бюрократически, стандартно, повторяют, слегка их варьируя, штампованные критические формулы и сентенции.

Ю. Карбчиевский – талантливый и интересный писатель. Книга его написана увлекательно и остро, он заставляет думать и передумывать, пересматривать привычные представления и, даже когда с ним не соглашаешься (а согласиться я с ним не могу по очень многим пунктам его рассуждений), все равно, невольно восхищаешься силой чувства, с которым книга написана, страстностью отношения автора к Маяковскому.

Поэтому, если я позволяю себе рассматривать сопоставительно его книгу и сочинение Молчалиных советской критики, то моя цель – показать, к чему приводит антиисторизм и поглощенность литературной злободневностью даже такого оригинально мыслящего исследователя, как Ю. Карбчиевский.

Более близкое знакомство с этой книгой убеждает, что ее автор решительно не согласен с мнениями участников сборника ни в чем, хотя, может быть, и не читал его. Почему же тогда он – так сходится с теми же участниками, говоря об истории своего знакомства со стихами Маяковского?

«Как я могу не любить Маяковского, и не только потому, что слышал его, будучи учеником шестого класса?!» – восклицает Анатолий Софронов, поэт-лауреат, главный редактор журнала «Огонек».

Автор «Воскресения Маяковского» подробно перечисляет все учебные и неучебные заведения, где он «изучал» стихи Маяковского: «Мы изучали их по воспитательнице в детском саду, по учительнице в классе, по вожатой в лагере (...) и по плакату в отделении милиции».

Школа одна, и результаты как будто разные, но велика ли разница?

Другой участник сборника – и тоже поэт-лауреат – Егор Исаев настаивает на живом присутствии Маяков-

ского в русской поэзии сегодня, то есть – в будущем: «Маяковский, прежде всего, влияет мощным духом своей поэзии. Духом государственности. Новой государственности, той, которой до Маяковского не было в мире. Маяковский как бы предожидался в каждом народе».

Автор «Воскресения Маяковского» находит, что поэт был «формулой советского быта, внешних и внутренних установок, текущей тактики и политики». Слова другие, а смысл один.

Впредь обозначим сборник как текст первый, а «Воскресение Маяковского» – как текст второй. Сравнительный анализ этих двух текстов покажет нам, что думают потомки о Маяковском и как он выглядит в новом своем, воскрешенном или неумирающем, виде.

Конечно, в сборнике участвует большая группа авторов, но это не делает их мнения настолько различными, чтобы их нельзя было воспринимать как некий хор, распеваящий одну мелодию на разные голоса.

В тексте первом видна забота – как бы защитить Маяковского от тех упреков или обвинений, которые, как авторы знают, поэту предъявляются или могут быть предъявлены. Одно из таких обвинений – «анациональность», отсутствие в его поэзии русского духа, в общем, чего-то такого, чему трудно дать определение, но о чем авторы хорошо знают. Поэтому самая большая статья в тексте первом так и называется полемически – «Маяковский как национальный поэт». Эталоном национального поэта для авторов текста является (в XX веке) Сергей Есенин или, еще ближе к будущему, то есть к 1980-м годам, – Александр Твардовский. Право на титул национального поэта, согласно тексту первому, Маяковскому дает его интерес к русской частушке, лубку, раешнику. Так обставляется воскресение, то есть усвоение Маяковского, у одной части потомков.

Автор текста второго нехотя соглашается с Мариной Цветаевой, которая написала: «Первый в мире поэт масс», и прибавляет от себя: «Она, конечно, повторила (или предварила) расхожий штамп. Однако из этих уст все звучит иначе, из этих рук хочется все принять. Задумываешься: как знать, может, и здесь есть своя правда. Поэт

масс – не обязательно поэт *для* масс, но поэт, отразивший какие-то стороны массового сознания, вобравший, сгустивший и сконцентрировавший ее, массы, способ отношения к миру».

При разном отношении к поэту, обе характеристики его творчества почти совпадают. Не будет с ними спорить и даже остережемся напоминать известные формулы Маяковского: «плоскость раешников» и «ерунда частушек». Нас в обоих текстах занимает их направленность, то, что авторы хотят в Маяковском увидеть, а не степень документальности их суждений.

Главная забота в тексте втором – как оправдать Маяковского от обвинения в безнравственности. Автор текста второго и не хотел бы предъявлять поэту тяжелое обвинение, но он обещал «придать полноту», а полнота обязывает ничего не скрывать. И вот, с ужасом и омерзением, приводит он строку из стихотворения 1912 года: «Несколько слов о самом себе»:

Я люблю смотреть, как умирают дети...

Действительно, звучит и нехорошо, и аморально... Взятая сама по себе, вне контекста, вне творчества поэта той эпохи и, наконец, вне всего поэтического движения XX века, эта строка может показаться отвратительной и кощунственной. Особенно, если критик, хотя и считает себя страшно независимым, на самом деле – во власти советского морального викторианства, как это видно, например, из той строгости, с какой он осуждает отношения между четой Бриков и Маяковским. Но к этому я еще вернусь. Текст первый также строго судит Маяковского за строку о детях и находит для него оправдание лишь в том, что поэт все-таки исправился: «Абстрактный протест против общественной несправедливости, нередко сопровождавшийся эпатажем (характерный пример: «Я люблю смотреть, как умирают дети»), заменяется убежденной коммунистической идейностью, а анархическая разудалость преобразуется в сознательную защиту нового общества от его внешних и внутренних врагов».

Надо ли удивляться, что оба лагеря «потомков» с одинаковой неприязнью относятся к поэтическим парадоксам молодого Маяковского? А может быть, это совсем не

удивительно? Все они дети одного времени, всем им внушали их литературные детские сады, что футуризм и эпатаж – это очень плохо и аморально, недостойно «лучшего и талантливейшего» и т. д.

Может быть, надо прочесть криминальную строку хотя бы в контексте начала стихотворения:

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?
А я –
в читальне улиц –
так часто перелистывал гроба том.

В таком случае злосчастная первая строка переосмысливается, и понимать ее надо не буквально, как рекламу Моссельпрома, а как выражение тоски и боли, как мысль о смерти, властвующей над жизнью и неотступно присутствующей в сознании поэта.

В свое время М. Гершензон предложил читать стихи медленно и вдумываться в то, что при беглом чтении пропадает. Потомки читают Маяковского так быстро, что из всего стихотворения у них остается в памяти одна строка, с которой можно делать, что захочется.

Хорошо бы потомкам заглянуть в стихи или прозу еще одного из «предков» – Федора Соллогуба, например. Там они, к своему удивлению, увидели бы, что дети умирают и страдают не по каким-либо социальным причинам, а потому, что взрослым персонажам Соллогуба мучения и смерть детей нравятся, они получают от этого какое-то противоестественное наслаждение. Вот стихотворение «Нюренбергский палач»:

Мой сын покорно ляжет
На узкую скамью,
Опять веревка свяжет
Тоску мою.
Стенания и слезы, –
Палач – везде палач.
О, скучный плеск березы!
О, скучный детский плач!

Блок считал, что это стихотворение «может стать классическим, как роман „Мелкий бес“». Правда, перечитывать такие произведения бывает иногда немного страшно (...) Может быть, поколения, следующие за нами, испытают то же, перечитывая „Нюрнбергского палача“».

В другом стихотворении у Сологуба потомки могут найти и такие строки:

С водой смешаю кровь,
Устам, томящимся от жажды.

или

А мне в гробу приятно и удобно...

Есть у Сологуба стихотворение, где лейтмотивом является «злоба» (так удивляющая потомков в стихах Маяковского!):

По улицам люди ходили,
Такие же злые, как я,
И злую тоску наводили,
Такую же злую, как я.

В целом о поэзии Сологуба Блок сказал, что предмет ее «скорее душа, преломляющая в себе мир, а не мир, преломленный в душе. Но личная поэзия уступает место внеличной, особенно, когда ее предметом становится полемика».

Может показаться, что Блок это писал не о Сологубе, а о Маяковском, – так эволюция Сологуба как бы предсказала путь Маяковского к так ненавистным текстам второму его (Маяковского) политическим стихам.

Да только ли у Сологуба? Не говоря уже об очень популярных в России начала нашего века романистах, вроде Гюисманса, тему ребенка, жертвы темных страстей взрослых, и тему детской смерти можно найти у многих авторов, может быть, не самого первого ряда, но все же в свое время очень популярных.

Даже и не очень медленное, а просто внимательное чтение дореволюционного Маяковского, может быть, убедило бы (или удивило?) потомков, что сквозная тема

его поэзии – это идея жертвенности, сораспятия на кресте вселенского горя – «а я, где боль – везде». И современники Маяковского это хорошо понимали. Такой строгий ценитель литературы своего времени (а оно и время Маяковского), как Михаил Зощенко, объяснял своему молодому собеседнику, что Маяковский был (в лучших вещах) «болеющим поэтом... Он болел, страдая собственной душой, испытывая боль за других, болея за любимую женщину, за все человечество». Потомкам это трудно понять и еще труднее поверить. Текст первый об этом молчит, относя все на счет «анархической разудалости», текст второй утверждает, что «если это всего лишь пресловутый эпатаж, что по-русски, как ни крути, означает неправду, то и тогда человек, такое повторяющий... не может быть искренним, говоря:

Но мне –
люди,
И те, что обидели –
вы мне всего дороже и ближе.

Ясно, что это только маневр, рассчитанный на потерю бдительности. Поверят, а он подберется поближе – и плюнет с размаху в лицо, а то и похуже: возьмет да и ткнет в затылок кастетом».

Потомки, как мы видим, в растерянности. Похоже, что Маяковский не только сомнительный поэт, но и безнравственный человек.

Воспитанники литературных детских садов или отделений милиции – в затруднении: как растолковать благонаравным читателям отношения в треугольнике Маяковский – Брики? Текст первый этой темы вообще не касается, ссылаясь на проведенную в свое время журналом «Огонек» кампанию по дискредитации злых гениев Маяковского – Бриков. Поэтому в тексте первом старательно избегают их упоминать (свят! свят!) и эвфемически употребляют удобное по своей неопределенности понятие «литературное окружение»: «Я имею в виду, прежде всего, понимание новаторства его творчества, которое, как правило, соотносится не столько с националь-

ными традициями, сколько с современным литературным окружением».

Автор текста второго от остроты вопроса не уходит, он хочет знать «все подробности» и успокаивается, лишь получив заверение Лили Брик, что физическая близость ее с Осипом Бриком прекратилась в 1916 году, а с Маяковским – в 1925-м. Какое облегчение! Хотя кое-какие подозрения у него все же остаются...

Я бы не хотел, чтобы читатель счел меня убежденным сторонником брака втроем. Да и не во мне дело, а в том, что автор текста второго – человек весьма эрудированный – как будто никогда ничего подобного о литературном быте не слышал. Он удивляется треугольнику Маяковский – Брики, хотя в мемуарах Андрея Белого он мог бы прочесть об очень знаменитом в истории русской литературы «треугольнике»: З. Гиппиус, Мережковский и Д. Философов. Белый пишет об этих отношениях серьезно, хотя и с некоторым удивлением; более того, ведь известно, что сам он (Белый) проектировал построить такой любовный треугольник между собой и Блоками, то есть Любовью Дмитриевной и Александром Александровичем, но Блок этому категорически воспротивился, и заманчивый проект Белого не осуществился. Хорошо бы потомкам, какого бы мнения они о Маяковском ни были, понимать, из какой литературной эпохи вышел Маяковский и как эта эпоха в нем жила и проявлялась, несмотря на его усердное старание превратить себя в стандартного советского поэта, хотя и печатающего стихи лесенкой (что также раздражает потомков).

Авторы текста первого старательно извлекают Маяковского из его литературного окружения, «снимают леса», по выражению Юрия Тынянова. Согласно тексту первому, «дань формальной новизне была у него мизерной», а стихи он писал так же хорошо, как, например, Твардовский: «При всей индивидуальной разнице этих крупнейших поэтических фигур советской эпохи их творческая деятельность как национальных художников разных исторических периодов очень близка в главных направлениях творческих поисков...» В целом же Мая-

ковский – «художник, мыслитель, самобытный, глубокий и оригинальный, философ-марксист».

Оба текста объясняют мотив будущего, столь важный для поэзии Маяковского, воздействием на него русских утопистов. В тексте первом доказывается сходство картин будущего у Маяковского с известными снами Веры Павловны в романе Чернышевского «Что делать?», который Маяковский знал чуть ли не наизусть. Текст второй – сопоставляет идею воскресения у Маяковского с идеями Федорова. При этом, «товарищи потомки», авторы обоих текстов не задаются вопросом: почему же певец «государственности», автор «ста томов партийных книжек», так рвался в будущее из им же воспетого настоящего? Куда же его манило из той жизни, которая так «хороша»?

Может быть, отнести это за счет того, что, испытыв уже на себе «мечту» Маяковского, потомки не хотят заниматься рискованными сопоставлениями? А ведь можно было увидеть в этом стремлении поэта в будущее своеобразный вариант романтического томления по «иным мирам», только оформленный в более свойственную XX столетию мнимо научную фантастику. Как же относятся авторы текста первого к будущему обществу, в которое так стремился Маяковский? По мнению одного из них, люди будущего в «Клопе» – «рационально сконструированные манекены, им чуждо понятие индивидуальности, они и думают и поступают одинаково, ибо для них важнее всего канон, ритуал, форма, где уж тут до мечты поэта о людях „хороших и разных“».

Заметим, что будущее, которое Маяковский датировал приблизительно 1988 годом, по своей структуре ничем не отличается от общества 1928 года. Как верно отмечено в тексте первом, «сама жизнь персонажей второй части комедии, многие ее формы оказываются прежними, подверглись разве что сверхмодной технической модернизации. В частности, сохранились неоднократно высмеянные Маяковским заседания... Заседание разрастается до гиперболических размеров, какие и не снились бюрократам 20-х годов. Сохранились в обществе будущего и люди «с портфелями» – «отцы города». И реплика

Распорядителя, «расчищающего проход к трибуне» (обратим внимание на ироничность ремарки!), не лишена прежнего низкопоклонства и благоговения перед старшими по чину: «Товарищ председатель и его ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!»

Значит ли это, что Маяковского страшило предчувствие (мы скажем – пророческое!), что коммуна, где должно быть «много песен» и «мало чиновников», на самом деле окажется только технически модернизированным Советским Союзом года «великого перелома»?

Товарищи потомки, не вполне отдавая себе отчет в смысле своих суждений о Маяковском, говорят об одном и том же в его поэзии, видят одно и то же, только оценивают по-разному. Авторы текста первого, иногда и вопреки собственным наблюдениям, отмечают серьезное неблагополучие в общественном сознании: «Опыт Маяковского подтверждает, что вопрос о духовном облике человека и в наше время отнюдь не является простым и ясным. И особенно актуален он сегодня, когда пристальное внимание общественности приковано к воспитанию гармонической личности».

Автор текста второго готов объявить Маяковского то ли посланцем Дьявола, то ли продавшим Дьяволу душу. Его стихи – это только «оболочка», это поэтическое мастерство, отчужденное от души художника. Крайности сходятся. Для авторов текста первого Маяковский – это поэт, в стихах которого так слились личное и общественное («душа» и «оболочка»), что они неразличимы.

Так что же все-таки выражает поэзия Маяковского, по мнению потомков? Автор текста второго рубит с плеча: «В его абсолютизации руководящих установок, стиля жизни и отношений, в его стремлении возвести в ранг вечности эту брэнную мешанину понятий и слов – нет ни насилия над собой, ни намеренного сужения кругозора. Это и есть мир Маяковского, никакого другого не существует. Его собственная, личная бездуховность окончательно, хочется сказать – органически – сливается с коллективной бездуховностью и пошлостью».

Итак, потомки видят одно и то же, но судят – по-разному и оценивают поэта соответственно собственной шкале ценностей. Для одних он приемлем, хотя и не нравится, в сущности – совершенно чужд, его еще надо приспособлять и подгонять под официальные стандарты, а еще лучше – заменить собственными стихотворными изделиями: «Мы немного отстранились от Маяковского, мы его слишком перегромчили, мы его недочувствовали. А волна Маяковского еще не в полный гребень встала. Мы приближаемся к этому гребню лучшими своими произведениями, в которых есть ощущение конкретного глобального времени» (Егор Исаев).

Другим (текст второй) – очень нравится («Бесконечно любимые мною стихи» – «Вступление к поэме „Во весь голос“»), но они не могут простить Маяковскому официальности, воспевания революции и власти, насилия и жестокости. Сопоставляя такие разноречивые, но по сути дела однородные суждения, мы приходим к неожиданному заключению: потомки все еще не решили для себя, как им быть с Маяковским. Он все еще неудобен, громоздок, не укладывается ни в стандарты официозности, ни в нормы антиконформизма. С Маяковским по-прежнему трудно. Может быть, это значит, что поэзия его не ушла в прошлое? И все же очевидно, что между потомками и поэтом создалась какая-то зона непонимания. Это ведь явно и у тех, кто с Маяковским борется, и у тех, кто его приглаживает, чтобы сделать вполне приемлемым. Так в чем же дело? Где причина этого трагического непонимания, тогда как не менее сложные поэты (Цветаева) кажутся доступными и даже в тексте первом их снисходительно допускают в обойму: «находят своих ценителей стихи Цветаевой».

Думаю, Маяковский не то чтобы непонятен, а чужд. Время его наиболее острой борьбы за свое утверждение в послереволюционной социальной системе и ее культуре, 1920-е годы, сегодня гораздо дальше от литературного сознания 1980-х, чем, скажем, литература Серебряного века.

Понять и принять Маяковского можно только вместе с искусством этого времени, в одном ряду с Мейерхоль-

дом, Эйзенштейном, Дейнекой, молодым Шостаковичем, Дзигой Вертовым.

В 1942 году Эйзенштейн, в тезисах своего выступления на вечере памяти Маяковского, писал: «Сейчас Маяковского хвалят за благополучие его творчества. Мы его ценили за озорство». И далее он говорит о том, что ему кажется в Маяковском «ценным»: «Мятежность, неумность, беспокойность». То, что называлось в 1920-е годы левым искусством, свою теоретическую работу и художественную практику строило на утверждении небываемости исторической ситуации, в которой после 1917 года оказались русская литература и русское искусство. Само понятие уникальности исторической ситуации, конечно, варьировалось – от наивного представления, что началась новая эпоха Мировой истории, до более трезвых попыток понять конкретные последствия изменений в социальной структуре общества.

Так, Б. М. Эйхенбаум прямо связывал формальный метод с революцией 1917 года и осмыслением этой революции как начала нового периода – исторического, социального, а следовательно, духовного. Новаторскую позицию Некрасова по отношению к канонам пушкинской эпохи Эйхенбаум в 1921 году объяснял социально-историческими переменами в России, а не волей поэта. Он писал: «Некрасов, как и Беранже, понимал, что в этот момент голос толпы, а не «избранных» был голосом истории... Надо было искать новых приемов, новых методов и в области стиха, и в области жанра. Надо было создавать новый поэтический язык и новые поэтические формы, потому что искусство живо восприятием».

Напомню, кстати, что о Маяковском тремя годами ранее Эйхенбаум писал приблизительно в тех же выражениях: «Все в стихе Маяковского – от этого нового пафоса: пафоса не лиры, а трубы. Поистине – поэт нашего времени, наших дней, вышедший на улицу, вмешавшийся в толпу и оглушающий ее своим громовым голосом. Не поэт, а воин? Да, и воин, и поэт. Как же иначе в наши дни? Надо иметь богатырскую грудь и богатырский голос, чтобы сказать сейчас новые слова и чтобы его услышали». Голос поэта – это голос истории, она, а не инди-

видуальные вкусы и биографические обстоятельства, определяет литературную эволюцию. Следовательно, эстетические отношения искусства к действительности у формалистов, как и социологов 1920-х годов, базировались на понятии социальных множеств, «толпы», как выражались формалисты, или «классов», как утверждали социологи.

Литература в представлении этих людей 20-х годов возникла и складывалась как внеличностное, «социальное явление» (термин Б. М. Эйхенбаума), выразившее по-своему ход истории, вне зависимости от того, кто был автором данной вещи, данного произведения.

Эпоха личностей кончилась, началась эпоха множеств, определявших своими, пусть и неосознанными, стремлениями судьбы духовной культуры, или, как любили говорить социологи, «духовного производства».

За человека решала история, к которой он мог относиться так или иначе, но говорить от себя не должен был: «его голосовым экстрактом сама история орет» (Пастернак).

«Автором» литературного произведения у формалистов оказывалась сама литература, неперсонифицированное определение той же истории. У социологов – история, в своем социальном облики в виде классов, действовала независимо от автора и его личных вкусов или заблуждений.

И формалисты, и социологи видели в художнике, в его личности и судьбе, только досадную помеху своим конструкциям. И те, и другие создавали эстетические утопии, строго регламентированные нормативные поэтики со своими жанровыми системами и стилистическими нормами.

Прямая связь между литературой и «экономическим бытием» (у социологов) или «историей» (у формалистов) была способом самозащиты от все усиливающегося давления «монистической», как она себя называла, официальной идеологии.

Теоретикам внеличностного или безличностного искусства, как и вообще теоретикам, вольно создавать свои мыслительные конструкции. Поэтам это грозит

опасными просчетами и тяжелыми поражениями. Так вышло у Маяковского с поэмой «150 000 000», оставшейся памятником победы теории над поэзией.

Полустолетие, отделяющее потомков от эпохи жизни и поэтической работы Маяковского, было временем проверки – жизнью и историческим опытом русской культуры – всего, что было сделано и что заявлялось в 1920-е годы.

Внеличностное искусство, за которое ратовал Маяковский, оказалось трудней всего осуществимым в области «чистого» слова – в поэзии. В кино и живописи у него были другие возможности.

Выступление на арену истории множеств, с очень большой для истории скоростью, к концу тех же 1920-х годов, когда оно так потрясло многих в искусстве, подготовило условия для образования тирании, да еще самого свирепого типа.

Идея внеличностного искусства как выражения сознания множеств была пророчески объявлена художественно невозможной уже в «Высокой болезни» Пастернака (1923-28).

Автор текста второго строга не только к Маяковскому. Прочитывая Пастернака, –

Иль я не знаю, что в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я – урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста, –

он спрашивает себя и читателей: «Искренний ли поэт – Борис Пастернак?» И сам отвечает – нет, а такие стихи – «это скоморошья дразнилка».

Автор этого текста не понимает, что еще не все было ясно в 1930 году, что стало так понятно к 1985-му, и что людям 1920-х годов надо было преодолеть в себе такую общечеловеческую слабость, как надежду на лучшее, как прекраснородушное упование щедринского карася: а вдруг, может быть, щука знает, что такое добродетель...

Маяковский не дожил до времени, когда Сталин нашел, что ему гораздо удобнее и вернее строить пропаганду через культуру, используя то, что некоторые со-

ветские критики 1930-х годов называли «предрассудками масс», то есть веру этих масс (множеств) в царя и в чудо, преклонение перед сильной властью.

Не дожил он и до того времени, когда началась общественная реакция против имперского обезличивания человека в жизни и в искусстве.

Новые поколения литераторов имеют в распоряжении книгу М. М. Бахтина о Достоевском, которую во втором издании (1963 год) автор превратил в памфлет на эпоху сталинского правления. Сатирическое, свифтовское по своей силе изображение «монистического» сознания (противопоставленного диалогическому мышлению Достоевского) показало, что в нем выражена идеологическая сущность тоталитарного режима, которая неизбежно ведет от монизма в области теории к монизму практическому, то есть от одной и единой для всех подданных идеологии к одному-единственному теоретику, учителю, корифею.

Не дожил Маяковский и до того времени, когда эстетические теории и художественные кумиры левого искусства 1920-х годов стали восприниматься как идеологические предтечи тоталитаризма.

Не дожил и до того, когда на сценах польских и французских театров поставили «Клопа», чтобы... «реабилитировать Присыпкина... единственное милое человеческое существо в мрачном, механически безжизненном мире будущего... единственно живого человека в царстве унылой и пресной скуки».

Вот почему потомкам трудно жить с Маяковским. Одни хвалят его, как заметил Эйзенштейн, за «благополучие», другие – не принимают его поэтического озорства и готовы объявить садистом-параноиком. Автор текста второго убежден, что в стихах Маяковского нет того, что он называет «душой», а есть только «оболочка». Авторы текста первого в сущности говорят то же самое, но их терминология избегает понятия «душа», они предпочитают говорить о «точной идейной нацеленности».

Хор участников текста первого безнадежен; они поют, как могут и что им велят. Но хотелось бы, чтобы

Ю. Карабчиевский, высказавший «для собственного душевного равновесия» столь горькие упреки и укоризны в адрес Маяковского, задумался о поэте без гнева и возмущения.

Спор о Маяковском продолжается, и конца ему еще не видно.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая статью И. Сермана, редакция «Граней» приглашает авторов и читателей продолжить обсуждение талантливой и чрезвычайно интересной, однако и чрезвычайно спорной, книги Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского».



Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Сослагательное наклонение истории

Похоже, что наступил очередной взлет исторической прозы. Похоже, что ее старинная, но всегда гибкая поэтика опять привлекает читателей и писателей. Проза всегда нуждается в истории как в фундаменте. И сейчас историю усердно пишут: от Александра Солженицына до Валентина Пикуля.

Но не только. Есть в современной русской литературе еще один вид исторической прозы, которая имеет дело скорее с вымыслом, чем с фактом. Это истории того, что могло быть, или даже не могло – но не того, что было. История гипотетическая, часто фантазмагорическая. Ее не пишут, а придумывают.

К таким произведениям относится и пьеса Венедикта Ерофеева с ее библейским пророческим стилем. И абсурдная, но элегантная историческая поэма Саши Соколова. И псевдомемуарная хроника Андрея Синявского. И даже сугубо сюеминутная книга В. Сорокина, которую исторической делает именно дотошная, фотографическая верность действительности.

В том относительном затишье, в котором пребывала русская жизнь в последние годы, интерес к причинам заменил острый интерес к последствиям. Писатели, решающие эти вопросы, используют весь спектр жанров, куда теперь включается и историческая проза, написанная в сослагательном наклонении.

Венедикт Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. – «Континент», № 45, 1985

В русской словесности Венедикт Ерофеев выполняет роль кометы. Существовая в каком-то вакууме, он появляется из него редко, но блестяще. Будучи лицом не вполне материальным, он окружен не биографией, а легендой. Зато вполне материальны его нечастые книги, которые он приносит в нашу культуру из своего загадочного инобытия.

Каждое произведение Ерофеева подводит итог тому главному, что происходит в России. Каждая его книга – важнейшее событие. По ним можно отсчитывать этапы эволюции российской мысли.

Так, «Москва-Петушки» была эпилогом карнаваль-ной свободы 60-х и, одновременно, открывала новое, метафизическое направление в литературе. Эссе «Глазами эксцентрика», появившееся в середине 70-х, – блестящая попытка парадоксального альянса религиозного экстаза с трагическим цинизмом.

И вот, наконец, «Вальпургиева ночь», написанная в 1985-м. Это – опыт сюрреалистической трагедии, в которой автор исследует проблемы декаданса всей цивилизации. Новая вещь Ерофеева, пожалуй, наиболее сложная, наиболее емкая из всего им написанного. Здесь он имеет дело не с психологическими типами, а с глобальными концепциями культуры, не с людьми, а с идеями. При этом, «Вальпургиева ночь» – произведение остро современное, необычайно актуальное и, в то же время, сугубо историческое.

На протяжении двух десятилетий Венедикт Ерофеев сопровождает советскую действительность в качестве философского комментатора. Но это не значит, что он ее объясняет. Нет, каждый раз он создает свою модель России, в которой реальность абсурдизируется, искажается до трудно узнаваемой сюрреалистической панорамы. И все же модель ерофеевского мира настолько полна, на-

столько глубока, что именно по ней мы можем судить о состоянии русской души.

Литература, которую пишет Ерофеев, эпохальна в том смысле, что она суммирует не внешние признаки явлений, а исключительно внутреннюю, глубинную их суть. Ни он, ни его герои не беспокоят себя мелочами. Их волнуют только вопросы крайние, роковые, то есть философские. Этот экономный подход к творчеству позволяет небольшим вещам Ерофеева становиться энциклопедиями сегодняшнего дня.

Актуальность Ерофеева проявляется не в причудливом перечне сиюминутных подробностей (хотя он – внимательный читатель газет), а в том, что писатель оперирует только самыми острыми, самыми болезненными проблемами современности.

Чтобы найти художественное решение для такой задачи как построение философской модели сегодняшней России, Ерофеев создает свою поэтику, свою логику, свой стиль и язык.

Явление это настолько феноменальное, что не укладывается в русло литературного процесса. Ерофеев владеет уникальным творческим инструментом, вряд ли пригодным для повторного использования. Он один работает в жанре, лучшим названием которого, пожалуй, будет его простая фамилия.

Исследователь творчества Ерофеева сталкивается с трудной задачей. Ерофеевская проза не поддается прямому истолкованию. Это – не аллегория, не пародия. Любой вывод автора немедленно им же подвергается ироническому переосмыслению, отрицая сам себя. Ерофеев всегда полифоничен. Он нигде не ставит окончательную точку.

Говоря о пьесе «Вальпургиева ночь», мы не можем даже четко определить – о чем она. Можно лишь попытаться вычленив идейно-стилистический центр, вокруг которого строятся причудливые концепции автора. Как и другие вещи Ерофеева, «Вальпургиева ночь» исполнена богоискательского пафоса. Ерофеев всегда работает с поэтикой новозаветных текстов, обильно использует христианскую символику. Его книги – современные

вариации религиозных мистерий. При этом автор смело сочетает богооткровенные истины с кощунственно сниженными героями. Брань, алкоголь, безумие не мешают его персонажам всегда говорить о Боге. «Вальпургиеву ночь» можно представить как сегодняшнюю модификацию Апокалипсиса. И хотя такое прочтение пьесы не исключает других, нам оно кажется наиболее плодотворным.

Все, кто читал Ерофеева, не удивятся, узнав, что место действия его нового произведения – сумасшедший дом. Для того напряженного философского буйства, которое здесь произойдет, трудно подобрать лучшие декорации. Дурдом – место экстремальное, чуждое нормы, обыденности.

Время действия пьесы также откровенно символическое – Вальпургиева ночь, заканчивающаяся первомайским рассветом.

С первой ремарки Ерофеев сгущает реальность, выбирая гротескные обстоятельства места и времени. Он честно предупреждает зрителей, что ничего нормального, обычного здесь произойти не может. И это правда.

Фабула «Вальпургиевой ночи», естественно, проста. Естественно – потому, что несмотря на соблюдение классицистских канонов, интрига пьесы – мнимая. Она существует только в качестве каркаса, строительных лесов, нужных скорее зрителю, нежели автору.

Итак, в сумасшедший дом привозят очередного пациента – Гуревича. Среди медицинского персонала, который его встречает, выделяется медсестра Натали, бывшая возлюбленная Гуревича, и санитар Боренька по кличке Мордоворот. Героя помещают в Третью палату, где и происходит завязка конфликта. Первый же врачебный обход заканчивается дракой Гуревича с санитаром. Садист Мордоворот избивает Гуревича, и тот клянется отомстить – он хочет ночью взорвать больницу. Исполнению плана мести мешает одно обстоятельство. Гуревич, похитив ключи у Натали, крадет из кладовой спирт. Вальпургиева ночь отмечается в палате грандиозной попойкой, которая и является кульминацией пьесы. Пир закан-

чивается трагически. Оказалось, что спирт, который в огромном количестве потребили пациенты, ядовитый, метиловый. Все участники оргии умирают один за другим. Первомайский рассвет застаёт страшную картину: гора трупов, на фоне которой санитар Мордоворот добивает умирающего Гуревича.

Ерофеев даже не пытается придать этой патетической истории характер трагического конфликта между двумя антагонистическими группами персонажей. Драматическая форма только оттеняет условность происходящего. Не действия героев, а их речи важны в пьесе, и вся интрига будет услужливо предоставлять героям возможность высказаться.

Чтобы понять, что происходит в пьесе, о чем говорят ее герои и для чего это нужно автору, надо прежде всего разобраться в художественной системе Ерофеева. И это совсем не просто.

Ни один из персонажей пьесы не говорит нормальным языком. Весь текст сплошь состоит из набора чудовищных нелепостей, скроенных из газетных клише.

Вот в Третьей палате происходит так называемый суд над так называемым контр-адмиралом КГБ Михалычем. Староста палаты Прохоров обвиняет подсудимого в том, что он «имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно – нашу синеглазую сестру Белоруссию – расчленил и отдал на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...»

Понятно, что пациенты играют в КГБ. Понятно, что они развлекаются, перебирая абсурдные обвинения, сконструированные из советских заголовков. Понятно, что в этой дикой игре нет ни капли смысла. Вслушиваясь в бредовый текст трагедии, можно заключить, что она представляет собой тотальную пародию на советскую власть. Все здесь говорят только о победах партии и правительства и только о происках врагов социалистической отчизны. Причем и победы и происки фантастически нелепы.

Однако вряд ли Ерофеев написал пьесу, чтобы просто поиздеваться над глупостью официальной пропаганды. Его герои не просто шутники, ёрничающие по поводу

идеологической мути. Чтобы понять их, надо принимать этот дикий бред за чистую монету.

Палата № 3 – это гротескный аналог сегодняшней России. Психам, собранным здесь, позволено сгустить родную реальность до абсурдного предела. В их словах отражается утрированная, очищенная от ненужных деталей философская модель родины. Люди, собранные здесь Ерофеевым, суть идеи, представляющие определенные тенденции, которые действительно существуют за пределами больницы. И как бы безумно ни выглядели эти модели, стоит вспомнить, что ведь и любая модель общества кажется разумной только тем, кто ее разделяет.

Каждый член сообщества Третьей палаты – идеолог. Даже попугай, поднимающий всех в 6.30 утра гортанным криком: «Владимир Сергеевич, на работу!». Пожалуй, эта птица – единственный персонаж, напоминающий о более или менее нормальном образе жизни, в котором люди еще ходят на службу.

Самый заметный человек в палате – ее староста Прохоров, остроумный циник. Он осуществляет связь между своими подопечными и персоналом, стараясь принести как можно больше пользы или хотя бы как можно меньше вреда.

При этом Прохоров все время говорит. Он – как репродуктор, из которого безостановочно сыплются бессвязные призывы. В его словесном поносе отражается абсурдная реальность, где за набором политизированных глупостей не скрывается никакого содержания.

Вот Прохоров обличает несчастного контр-адмирала: «Он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь, и совесть нашей эпохи, – он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен».

Чушь? Но она сплетена из реальных пропагандистских блоков. Слова «метрополитен», «ум, честь и совесть» Прохоров берет прямо из газет. «Я не очень верю, что вначале было Слово, – говорит староста, – но хоть какое-то задрипанное – оно должно быть в конце». Прохоров полагает, что в России больше нет реальности, есть только слова, переставшие быть знаками вещей. Слова,

которые ничего не означают. Они сами по себе. Их можно соединять в любые сочетания. И это последняя свобода, оставшаяся в распоряжении психа из Третьей палаты.

Прохоров – олицетворение идеологического бреда. Но это не антисоветская пародия, это советская речевая стихия, из которой изъяли логические связки. Защищая социализм от происков агента ЦРУ Михалыча, Прохоров осуществляет свой патриотический долг. Только его патриотизм безразличен к проблемам правдоподобия. Это чистая, абстрактная лояльность к правительству. И чтобы поупражняться в ней, Прохоров ежедневно устраивает показательные процессы.

Тихоня Сережа Клейнмихель куда серьезней Прохорова. Вот он-то отказывается признавать существующую реальность как единственно возможную. Сережа – прожектёр, который мечтает так переделать родину, чтобы в ней наконец воцарилось всеобщее счастье. Для этого он по ночам «рисует стихи и планы всего будущего», то есть – коммунизма.

Особое внимание Сережа уделяет космосу. Как видно, это единственный неизгаженный идеал в его душе. Поэтому в проекте запланирована «Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого космуса». А чтобы циники не могли высмеять его светлое будущее, Сережа придумал провести в Россию трубопровод для поставок слезоточивого газа, «чтобы было поменьше смеху».

Сережа – истинный утопист и поэтому наиболее опасен. Он точно знает, что надо его родине – «Детский Мир на спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие всплывают для дачи больших и ложных показаний». Где-то он такое уже видел...

Есть в пьесе и фигура народного защитника. Это – юродивый Алеха, городской придурок, которому все можно. Вот как Алеха пользовался своей свободой: встретив на улице важного чиновника, он сморкался ему на галстук. За это, рассказывает Прохоров, «весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и

новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординаций».

Экстремист Алеха осуществляет свою борьбу в неаппетитной, но действенной манере. Это – тоже вариант взаимоотношений с обществом, учтенный Ерофеевым.

Крестьянскую Россию, так пышно воспетую ныне писателями-деревенщиками, представляет в Третьей палате «меланхолический старичок Вова». Его монологи наиболее бессвязны. Они отражают полностью разрушенное сознание, в котором кое-какие сельскохозяйственные приметы перемешались с осколками советской реальности. Причем реальность эта определенно связана с карательными органами. У Вовы природа тоже им подчиняется: «А ветер все гонит облака, все гонит – на север, на северо-восток... Не знаю, кто из них возвращается... деревья начинают скрипеть и пропадать, рушиться и гибнуть, без следа и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч...»

Россия из Вовинога бреда – самая патриархальная, самая посконная, но и самая безумная. Вова – единственный, кто так и не заметил советской власти. Для него, тихого крестьянина, власть есть власть: «Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левитан, – и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых заокеанских орд. И снова расцвели медуницы...»

В списке действующих лиц Стасик обозначен как «декламатор и цветовод». На самом деле эти два занятия объединены в одно. Он не выращивает цветы, а декламирует монологи о цветах. Вот образцы этой ботанической вакханалии. «Приходи в мой сад – и все твое, – приглашает Стасик крестьянского старичка Вову. – Презумпция жеманная... Мудозвончики смекалистые. ОБХ-ЭС ненаглядный! Гольфштрим чечено-ингушский! Пленум придурковатый... Дважды орденоносная игуменья незамысловатая... Генсек бульбоносный! пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: „Любовь не умеет шутить“, „Гром победы, раздавайся“, „Крейсер Варяг“ и „Сиськи набок“».

В этой феерической словесной флоре Ерофеев демонстрирует высший взлет своей изобретательности.

Ерофеев – автор особого литературного приема, который мы назвали – «полив»*. Это опыт построений сюрреалистической грамматики, сохраняющей все же обрывки значения. Этим полив отличается от футуристической зауми.

В мире Ерофеева разорваны все логические связи. Чтобы описать этот мир, автор пользуется адекватным орудием – поливом. Действительность, лишенную смысла, нельзя истолковать при помощи языка, построенного на четких и разумных основах. Но ее может отразить абсурдная семантическая система.

Цветник, который возделывает Стасик, это сад новейшей российской словесности. В нем цветут «лахудры пригожие вдумчивые» и «мымры краснознаменные». Своим существованием они доказывают возможности языкового освоения квазилогической реальности.

При этом, стоит добавить, что все эти лексические монстры строятся по непонятным, но строгим законам. Словотворчество Ерофеева опирается на народную речевую практику, в которой тоже далеко не всегда есть смысл. Полив Ерофеева близок простонародному речению, прибаутке, поговорке. В какой-нибудь строчке «футы, ну-ты, елки гнуты» рифма полностью заменяет значение. Теория такого полива совершенно не ясна, что не мешает ему существовать и цвести, как цветам из сада Стасика.

* «Полив оперирует теми же культурно-информативными элементами, что и проза, но – с нарушением этикета здравого смысла. Причинно-следственная связь может носить здесь лишь вспомогательный характер, или ее может и не быть вовсе. Первоэлементы полива соединяются по закону коммуникативных ассоциаций (понятных хотя бы двоим, как в бессмысленном для окружающих разговоре близких друзей). Потому полив – всегда эзотеричен, всегда высоко аристократичен, он – для посвященных и умеющих понять. Ассоциации, связывающие первоэлементы, могут быть любыми: по ритму и рифме звуков и понятий, по признаку сходства и противоположности в любом плане – историческом, сугубо литературном, бытовом». – П. В а й л ь, А. Г е н и с. «Современная русская проза». США, 1982, стр. 147. – А в т.

Таким образом, палата № 3, как когда-то палата № 6 Чехова, является сюрреалистическим образом России. Как на платоновском симпозионе, в этом сумасшедшем доме собраны представители разных школ и направлений. Для постижения родины каждый из них пользуется своей моделью России. Но их высказывания не полемизируют друг с другом – в мире разрушенной логики не может быть аргументов. Никто не прав – правд столько, сколько представлений о ней.

Общее у пациентов Третьей палаты только одно – напряженная духовная жизнь. За это их здесь и заперли.

Те, кто их запер – врачи, санитары, медсестры – ничего не вносят в философскую мозаику, которой развлекаются их подопечные. Конечно, они истязают и калечат своих пациентов, но при этом выполняют роль стихийного зла. Они не просто не ведают, что творят, – им нечем ведасть. Это автоматы, не обремененные психической деятельностью.

Хотя внешний конфликт пьесы обозначен противоборством больных и здоровых, хотя трагическая концовка мотивирована этим конфликтом, работники клиники не больше, чем бездуховная протоплазма. «Их – окружают сплетни, а нас легенды. Мы – игровые, они – документальные. Они – дельные, а мы – беспредельные. Они – бывалый народ. Мы – народ небывалый. Они – лающие, мы – пылающие...», – гордо говорит Гуревич. Он ясно отграничивает мир идей от мира грубой материальности, в котором сила только маскирует свое философское небытие.

Медицинский персонал у Ерофеева – это не субъекты действия, а условие его. С ними не говорят, не спорят, как не о чем говорить с наводнением. Это те, кто правит Россией, даже не пытаясь ее понять. «Мы же психи, – походя замечает Гуревич, – а эти фантазмагории в белом являются нам временами... Тошно, конечно, но что же делать?».

Фантазмагории в белом выполняют в трагедии Ерофеева роль рока. Неподвластные человеку, они занимают своим делом – карают, пытаются, убивают, оставаясь при этом идеологически немymi.

Говорят в пьесе другие. Прожектёры, резонеры, юродивые и, конечно, главный герой трагедии – Гуревич. На нем сосредоточено внимание автора. Он – эпицентр всех событий.

Пьеса начинается с того, что входит Гуревич.

«Гуревич»... Уже смешно. Главный герой – еврей, и это определяет его особенную роль в пьесе.

Гуревич, как и положено еврею – другой, чужой, со стороны. Даже в сумасшедшем доме он кажется пришельцем. Он часто раздражается стихами, из-за чего в нем справедливо полагают поэта. Он говорит цитатами. Он отвечает на вопросы невпопад. Даже пространство и время у него свое. Расстояние он мерит Босфорами, а годы – от солнцестояния до полнолуния. Да и профессия у Гуревича невнятная: «Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина».

Гуревич – единственное действительно действующее лицо в пьесе. Это он отваживается ударить грозного санитаря («Бред правдоискательства», – комментирует эпизод староста Прохоров). Это он вынашивает план мести. Это у него – единственного – сохранилось что-то человеческое – любовь. Кстати, о ней он говорит чудесными стихами: «Ты, Натали! Которую с тахты/На музыку перенести бы надо».

Гуревич играет главную роль и в Вальпургиевой ночи. Как сатана, примчавшийся на помеле (у Ерофеева Гуревича привозит «чумовоз» – машина скорой помощи), он устраивает в палате шабаш при помощи ворованного метилового спирта. Он и умирает последним, до конца пытаясь осуществить свою месть.

Но как ни активен Гуревич, деятельность его бесплодна. В конечном счете, он не действует, а говорит. И в его монологах сосредоточено главное идейное содержание пьесы.

Гуревич вторгается в философскую модель России, созданную в Третьей палате, как идеолог заката цивилизации. Он олицетворяет собой сумму человеческой культуры. Чужая мудрость извергается из него, как только он откроет рот. Для Гуревича мир спрессован в единое целое, которое лишено истории и географии. Он с легко-

стью озирает все одним взглядом – от Орехово-Зуево до Гиндукуша, от мартовских ид до поднятия цен на пустую винную посуду. И ничто в этом мире его уже не беспокоит. Гуревич страдает странной болезнью: «Ни-во-что-не-погруженность, ...ничем-не-взволнованность, ...ни-кому-не-расположенность».

В царство душевнобольных Гуревич приходит как Гамлет. Как принц Датский, он болен рефлексией, которая мешает ему действовать. Гуревич точно знает, что мир обречен и ничего в нем изменить нельзя. Цивилизация достигла своего заката, последняя заря разгорается над миром, заря декаданса, и Гуревич – пророк его.

Но в отличие от Гамлета, Гуревич знает, что придет на смену нынешней культуре. Империя.

Как и все персонажи Ерофеева, Гуревич рассуждает о России. Но при этом он – инородец – сохраняет способность смотреть на нее со стороны. «Итак, я люблю Россию, она занимает одну шестую моей души» – признается Гуревич. И это ровно на пять шестых меньше, чем положено. Россия для Гуревича не бесспорная данность. Живя в этой стране, он ощущает себя – «во чреве мачехи». Между Гуревичем и остальными, как сказал Прохоров, «дистанция погромного размера». Как бы ни скрепляло духовное единство пациентов Третьей палаты, они никогда не забудут герою его происхождения.

«Вы терзали нас в газовых камерах, вы гноили нас в эшафотах», – говорит Гуревичу неугомонный староста. И в этом трагикомическом перевертыше неожиданная истина. Евреям не прощают еврейских же страданий. Они – бельмо на глазу человечества.

Принципиальная чуждость Гуревича не позволяет ему найти свое место ни среди сумасшедших идеологов, ни среди их гонителей. Но зато только он может оглядеть Россию сверху, не смущаясь ни пространственными, ни временными рамками. «А какое сегодня число на дворе?» – спрашивает его доктор. «Какая разница? – отвечает пациент. – Да и все это для России мелко – дни, тысячелетия». Для Гуревича действительно все это мелочи – «Мамаев курган, Малахов курган», все пустяки, если речь идет о всемирной империи будущего, поглотившей не

только всю Землю, но и все время. А именно таким рисует завтрашний день Гуревич в кульминационный момент пьесы.

В разгар Вальпургиевой ночи, когда бутылка спирта уже ополовинена, Гуревич начинает пророчествовать. Его монолог это новый апокалипсис, апокалипсис по Ерофееву.

Конец мира – это торжество российской империи. Широкими мазками Гуревич набрасывает картину мира, в котором наконец все стало НАШИМ. «Чужая беда – это и наша беда, – от лица советского народа провозглашает инородец Гуревич. – Нам дело есть до любого вздоха. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха... но и вообще вдоха и выдоха».

Дальше в эсхатологическом бреде разворачивается панорама уничтожения чужих народов. В припадке грозного вдохновенья Третья палата расправляется с фрицами и голландцами («за их летучесть»), с итальяшками и скандинавами («за то, что они мореплаватели»), с британцами и янками («нечего с ними гудбайничать»), с французиками и поляками («за то, что они опередили нас в географической приближенности к Европе»).

«Все равно ведь никто за нас не станет спасать зачумленный мир, – говорит Гуревич и призывает соратников: Веруйте в конечное торжество русское, поскольку с ними – крестная сила, и ничего больше. С нами – все остальное!..»

Но вот уже не осталось стран и народов, не с кем больше воевать непобедимой империи. Досмотрены последние кадры разрушения цивилизации. Что же дальше?

Дальше – все начнется сначала.

«Вначале, – витийствует Гуревич, – русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухой. Но потом... Подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их бывшего исполинства, они рассеются пылью по лицу земли».

А потом цивилизация вернется к своим христианским истокам. «И столицей мира... будет Кана Галилейская», –

пророчествует Гуревич. Место, где Христос являл чудеса, превращая воду в вино. А дальше, как сказано уже в подлинном Апокалипсисе, мир станет одним городом: «ворота его не будут запираются днем, а ночи там не будет. ...И ничего уже не будет проклятого».

Вот какую величественную мифологию создал Ерофеев и его пророк – алкоголик, поэт и еврей Гуревич в первомайский рассвет, в Третьей палате сумасшедшего дома.

Из всех историософских моделей России, которые представлены ерофеевскими психами, только эта достаточно глобальна, чтобы объять концы и начала времен. Только она все же оставляет надежду на конечное торжество Царства Божьего.

А именно в этом убежден кощунствующий скептик и циник Ерофеев. Именно об этом он пишет на каждой странице всех своих произведений. И какими бы странными ни казались эти диковинные откровения, они принадлежат сегодняшней мифологии России.

Во чреве мачехи – в недрах советской империи – рождается новый духовный порыв. И что делать, если в нашем абсурдном мире услышать призыв можно только в сумасшедшем доме.

Впрочем, примерно так же все начиналось две тысячи лет назад.

ЖИЗНЬ АНДРЕЯ СИНЯВСКОГО, РАССКАЗАННАЯ АБРАМОМ ТЕРЦЕМ

Абрам Терц. Спокойной ночи. Париж: Изд. «Синтаксис», 1984

То, что Андрей Синявский живет в симбиозе с Абрамом Терцем, факт, отраженный не только в их литературной судьбе, но и в самых странных особенностях их поэтики. Кто, например, написал книгу «Спокойной ночи»? Оба? Один про другого? По очереди?

Раздвоение одного писателя на живого человека и вымышленного персонажа определяет и композицию, и содержание, и суть этого произведения.

Прежде всего, «Спокойной ночи» – автобиографический роман, роман воспитания. В нем рассказывается история Андрея Синявского, который был школьником, потом студентом, потом тайным писателем, еще потом эком и, наконец, эмигрантом. У героя была бедная интеллигентная семья, друзья – единомышленники и предатели, – жена, коллеги по заключению. Автобиографическому принципу не мешает и нарушенная последовательность событий: книга начинается арестом и только в последующих главах рассказывается о детстве и юности героя.

Каждая часть «Спокойной ночи» раскрывает определенный аспект личности Андрея Синявского – герой и власть, герой и любовь, герой и его происхождение, герой и эпоха, герой и его окружение.

Однако, для того, чтобы из «Спокойной ночи» получился роман, надо вычеркнуть из книги все, что написал Абрам Терц. Потому что последний абсолютно не заинтересован в том, чтобы получился роман.

Абраму Терцу нет дела до судьбы Андрея Синявского. Он – писатель, и пишет он не болью сердца, а словами, буквами, знаками препинания.

Вопиющие противоречия между соавторами немало мешают читателю, которому под видом одной книги подсунули две. Причем, довольно разных и страшно между собой перепутанных.

Но сложности не кончаются и на этом. Биография Андрея Синявского – это история его превращения в Абрама Терца. Метаморфоза реальной личности в вымышленную фигуру. И трансформация эта происходит не в конце книги, не в эпилоге, а на каждой странице, чуть ли не в каждой строке.

Автор описывает свою жизнь и – одновременно – наблюдает, как он это делает. Он подглядывает сам за собой.

«Это будет, на самом деле, книга о том, как она пишется», – обещает Андрей Синявский самому себе, ожидая приговора, который выносит суд Абраму Терцу.

И вот книга написана. Сложная, весьма громоздкая история человека, ставшего писателем. Как же это произошло?

Исследуя самого себя, автор пренебрегает внешними событиями. Его интересует даже не характер, а комплекс ощущений, мыслей, чувств, свое почти бессознательное «Я». Как бы ни разворачивалась фабула во времени, сюжет стоит на месте. Снова и снова автор рассказывает, как он стал автором.

Другие герои появляются в книге только для того, чтобы подействовать автору. Положительные герои – это те, кто сделал из Синявского – Терца: он сам, его отец, жена, зэки. Отрицательные – это те, кто тем более потрудился в этом направлении: Сталин, например.

Автор до предела эгоцентричен. Окружающий мир – только инструмент его самоанализа. В главе «Отец», скажем, Синявский изучает проблему своего происхождения. И здесь его интересуют не фамильные узы, а идеологическая преемственность, генезис своих убеждений.

Отец автора – революционер. Он – беден, он – аристократичен, он – несгибаем. Он убежден, что жить надо высшим смыслом. «Других, низших, они хотели накормить хлебом, а сами жили в духе, жили смыслом, эгоисты. Кто же знал поначалу, куда это всех заведет?»

Андрея Синявского это завело в Лефортовскую тюрьму, которая, впрочем, не миновала и его отца.

Тюрьма никак не отменяла той школы духовности, которую прошел герой: «Я твердо усвоил, что быть богатым нехорошо. Зачем же мы тогда делали революцию?»

И революция не отменяла тех же уроков. Надо только отделить революцию от революционеров. Синявский это сделал с тем же успехом, что и его отец.

Главный капитал героя – традиция оппозиции. Противоречие даже не столько власти, сколько догме, стилю, массе. Диссидентство в чистом, абстрактном качестве. Оппозиция, которой нужны не столько союзники, сколько противники.

Революционер и социалист Донат Синявский боролся против одной власти за другую. Враг народа и контрреволюционер Андрей Синявский писал книги. Родина

признала их жизнь одинаково вредной для себя. Чем уравняла оба вида деятельности.

Все внешние обстоятельства биографии подталкивают автора в нужном, писательском направлении. Здесь и родня, и друг-доносчик, и лагерь. Ну и, конечно, вожди, которые служат вехами в судьбе любого советского человека: «Я родился под созвездием „Сталин-Киров-Жданов-Гитлер-Сталин“».

В гороскопе Синявского созвездие это было необыкновенно счастливым. Он и радуется: «Жуть, стыд и брезгливость смешивались с наслаждением жить „в такую эпоху“, что мало кому выпадала в прошлом, которая отвращая, проникает сердце и мозг, как находка – коллекционера... нет, как хотите, но исторически мне повезло в жизни!»

Еще бы не повезло! Кровавый тиран, неслыханные преступления, невиданный террор. Как это все сгущает атмосферу до необходимой для литературы напряженности.

Однако, надо признаться, что как ни искусно построена внешняя биографическая канва «Спокойной ночи», она часто утомляет слишком длинным набором подробностей. Чем дальше в прошлое возвращается автор, чем пространнее он описывает свою молодость, тем обыденнее она кажется.

Наверное, так и должно быть. Потому что, на наш взгляд, в этой книге куда важнее тот слой, в котором нет места жизни, но есть – и много – места для литературы.

Вторая книга разворачивается параллельно первой, внутри ее. Она сплошь состоит из особой художественной ткани, функцией которой является чистое писательское самовыражение.

Если главная задача автора – доказать свою литературную состоятельность, то выполнение этой задачи – в самом факте письма. Писатель – тот, кто пишет. Все остальное – производное. И произвольное.

Был ли такой Синявский? сидел ли? за что? была ли у него мать? (последний вопрос часто возникает в эмигрантской полемике) – все это второстепенные подробно-

сти, создающие видимость какой-то композиции. И все это – изрядная фикция.

Главное в книге – поток. Поток не сознания, а чистой литературы, под которой автор понимает собрание слов, их таинственную магическую связь. «Когда пишешь – теряешься, плутаешь, но главное – забываешь себя и живешь, ни о чем не думая. Тебя нет наконец, ты – умер... Уходим в текст».

Этому потоку уже не нужна художественная логика – скорее ловкость, ассоциативность, наслаждение самим процессом письма (?). Тут автор полностью отстраняется от своей биографии, от самого себя. Он с боязливым восхищением смотрит со стороны на этого подсудимого Терца – «налетчика, картежника, сукина сына... Подобранный, непререкаемый. Чуть что – зарежет. Украдет. Сдохнет, но не выдаст. Деловой человек. Способный писать пером (по бумаге) – пером, на блатном языке изобличающим нож».

Ну, а уж этот самый Терц сочиняет, что Бог на душу положит. Скажем, мистерию «Зеркало», в которой допрос несчастного арестованного писателя только повод язык почесать.

Для Абрама Терца – все повод, все лишь материал для сверхсвободных ассоциаций. Он стоит за каждой строчкой, следит, чтобы книга не стала романом, чтобы в ней царил хаос, случайность, непредсказуемость, чтобы она разворачивалась в свиток. «В свитке была непрерывность и протяженность развития, исподволь походившая на течение реки».

Течение текста создает обманчивую надежду, что в конце читатель будет знать больше, чем в начале. Неправда. Читатель – только свидетель развертывания писания в свиток, любая часть которого равнозначно удалена от конца и начала. Констатация состояния пишущего человека.

Синявский пишет роман и постоянно разрушает его. Это бесконечный фрагмент. Беспрестанное рассуждение по поводу. Пространное отступление, забывшее, чем оно было вызвано.

Принципиальная сумбурность книги – ее главное достоинство, но и главный недостаток. Синявский, как всегда, отчаянно экспериментирует с жанром. Результаты – часто виртуозны. Но иногда соединение романа с эссеизированным потоком текста распадается. Остаются дробные фрагменты, замечательные сами по себе, но не вживленные в общее. Иногда кажется, что автор подверг книгу насильственному острашению, подчинил ее своей задаче. И тогда вдруг испытываешь ностальгию по прозе, в которой были слова «Я прибывал к месту своего назначения».

ПОЭЗИЯ ТОЛПЫ

В. Сорокин. Очередь. Париж: Изд. «Синтаксис», 1985

В любой европейской и американской столице есть музей современного искусства, в котором выставлена страшная скульптура. Сидит, скажем, женщина-домохозяйка, настолько похожая на живого человека, что к ней приставлен специальный служитель – чтобы не слишком трогали.

Такой гиперреализм явлен в повести «Очередь», пришедшей на Запад неизвестно по каким каналам. Собственно, само слово «повесть» – предельно условно, потому что «Очередь» предельно экспериментальна.

В книге В. Сорокина нет *ни одного* авторского слова. Весь текст – реплики людей, стоящих в очереди где-то в Москве.

Резонный вопрос человека, воспитанного на реалистической прозе, – за чем стоит очередь? На это ответа нет – до конца книжки. Сначала речь вроде идет о подошве, потом – о подкладке, затем – о полировке. И все время муссируется происхождение:

- Говорят, югославские.
- Чешские.
- Вы точно знаете?
- Так я вчера стояла за ними.

Очередь стоит всегда. Пронизывая какой-то район Москвы, она оплодотворяет деятельностью окружающую жизнь. На самом-то деле очередь и есть жизнь. Настоящая, бурная, активная.

Главный герой книги – а он в ней все-таки есть – за трое суток проходит полный жизненный цикл мужчины. Он знакомится с девушкой, имеет успех, затем терпит фиаско, напивается, заводит роман, спит с женщиной. Все это – не считая таких мелочей, как мимолетные дружбы и вражды, еда, сон, обсуждение всех мыслимых тем.

Понятно, что очереди нет дела до остального бытия. Она самодостаточна. Она, в конечном счете, – живой организм, знающий свои правила.

– Выгибайтесь, товарищи, что вы на месте топчетесь.

Эта реплика относится не к конкретным товарищам. Ясно, что это некое единство очереди в состоянии выгнуться, как гимнаст, выпрямиться, даже спрятаться – на вторые сутки очередь переходит во дворы, ничуть не теряя своей стройности.

Темы, затрагиваемые в книге В. Сорокина, – необъятны. Это воспитание детей, студенческие проблемы, супружеская жизнь, секс, литература, футбол, музыка, национальный вопрос, конфликт «отцы – дети», быт. Плюс к этому, в очереди стоят представители всех слоев.

Суммируя такие данные, можно легко прийти к выводу, что В. Сорокин написал глобальную сатиру на советское общество. В какой-то мере это верно.

Но – лишь в той мере, в какой ужасно человеческое сообщество вообще. Любая толпа омерзительна и чудовищна. Любая – российская, американская, зулусская, докторов наук.

Если «Очередь» – сатира, то вообще на человечество. Так ужасает бесстрастная фотография.

Но все же книга В. Сорокина – не механический сколок действительности. Авторство этого произведения состоит в самом отношении к предмету. Удивительным образом писатель сумел уберечься от гиперболы и гро-

теска. Это и в самом деле нелегко: слишком уж благодарный материал предоставляет тема. Но чувство умеренности и соразмерности в книге таково, что даже поражает – хотя, вроде бы, норма поражать не должна.

Автор, растворенный в чужой болтовне, замечателен тем, что эту болтовню доносит адекватно. Разумеется, это не буквальная запись магнитофона: попробуйте сделать такое – на выходе будет бессмысленная чепуха. Реплики в «Очереди» – художественная ткань, выделанная тонким мастером. Вообще понятно, что В. Сорокин написал книгу не ради некоей идеи, а ради неопишуемой радости воспроизведения слов.

Вдруг среди какой-то иной беседы возникает короткий диалог:

- Рядом с Яшиным. Не меньше.
- Ну, это слишком...
- Не меньше!
- Да ну...

И всё – продолжения нет и не будет. Скользнул какой-то неназванный футбольный вратарь – и прошло ласковое касание родного языка, такого необязательного и такого точного.

По сути, «Очередь» – физиологическая проза, призванная демонстрировать возможности русской речи. Считывание персонажей подряд – создает полифонию, панораму, объем.

– Битлы это ясно, но они отгремели. Щас группы интересные есть, «Полис». «Лед Зеппелин». Роллинги выдают иногда нормально так...

– Но машины у них отличные. Машины, дороги, техника...

– Он выжирал, выжирал и довыжирался – ебнулся с пятого этажа...

– Ххе...

– Тошно. Тошно это.

– Тари-ра-раам...

– Тут и сготовить надо успеть, и то, и се...

– А у меня друг тоже говорил, я, говорит, как бабе засажу, она тут же в слезы. Чёрт знает почему...

Конечно, это не запись, а тщательно продуманная оркестровка. Гимн человеческой речи. Утверждение ее абсолютной самодостаточности. Отрицание необходимости трактовки.

Трактовки – дословной – и нет. Есть *застрочный* комментарий, созданный невидимым и неслышимым автором. Автор резко полемичен со всей русской литературой, постулирующей противостояние поэта и толпы. В книге В. Сорокина такой антитезы нет. Более того – здесь толпа и есть поэт.

Обычно для эстетизации внехудожественного текста требуется временное отстранение. К примеру, если сейчас найти памятку римскому водопроводчику, то этой инструкцией будут наслаждаться самые изысканные знатоки. Те самые, которые небрежно отбросят современный справочник по котлонадзору. Сорокин же прямо сегодня возвел базар толпы в ранг поэзии.

Этот принцип концептуализма (когда-то Марсель Дюшан выставил в салоне унитаза) в чистом виде присутствует в книге: например, простая переключка занимает 29 (двадцать девять!) страниц.

- Ярченко!
- Я!
- Сердюкова!
- Я!

И так далее. Тут уместно заметить, что в перечне фамилий тоже сказался вкус автора – а ведь так соблазнительно набрать смешные.

Тот же вкус позволил создать в «Очереди» необычно точную сексуальную сцену в целомудренной русской литературе. Причем здесь В. Сорокин прибег к помощи одних почти междометий. Восемь страниц (в три приема) состоят чуть не исключительно из придыханий:

- Ааах...
- Хааа...

Этот замечательно симметричный диалог перемежается точными и смешными репликами:

- Убери колени...
- Люд... ну что ты... я не достоин...

Изыщество и чувство меры – качества, не вполне принятые в русской литературе. В «Очереди» они – доминируют*. Если, конечно, не считать, что крайность допущена изначально: в виде попытки избавиться от авторского голоса. Попытка удалась: высокая поэзия толпы звучит слаженным хором.

ЦВЕТНИК РОССИЙСКОГО АНАХРОНИЗМА

Саша Соколов. Палисандрия. Анн Арбор (США): Изд. «Ардис», 1985

Саша Соколов написал историю СССР.

Это довольно неожиданно, потому что две первые книги автора не предвещали такого поворота в его творчестве. Правда, вторая – появившаяся за «Школой для дураков» – книга «Между собакой и волком» уже тяготела к драматически напряженным описаниям. Но – лишь в той мере, в какой являются уголовными романами произведения Достоевского. Все свое внимание и мастерство Соколов обращал вовнутрь героев, часто игнорируя социальный контекст вообще.

Иная картина в «Палисандрии». Здесь наряду с романтическими фигурами возникают десятки имен, знакомых по учебникам и газетам. Главный герой, Палисандр Дальберг, запросто беседует с Андроповым и вступает в интимную связь с Викторией Брежневой. Пути заморского черта Оле Брикабракова и полуиностранца де Сидороффа пересекаются с Лаврентием Берией и Берды Кербабаевым. Вскользь поминаются не только госпожа Навзнич, но и Василий Аксенов.

История Советского Союза по Соколову лишена поступательного движения. Уже сам перечень имен гово-

* Достоинства книги «Очередь» не исчерпываются содержанием. Книжка редкостно оформлена художниками А. и М. Гран. Реалистические шаржевые иллюстрации действия чередуются (совершенно в духе В. Сорокина) с концептуалистскими серыми пятнами сна и забытья. Трудно припомнить в эмиграции более гармонично сделанную книгу. – А в т.

рит о том, что в книге одновременно сосуществуют личности разных времен. И эта мешанина – принципиальна. Общество – как озеро, в которое втекает множество ручейков, но не вытекает ни один. И даже последний российский император, оказывается, проживает в Кремле под вымышленной фамилией Булганин (оба – Николаи Александровичи).

Понятно, что не событийная канва интересует Соколова. То есть, интересует, но постольку, поскольку он придумывает ее сам. Так называемая историческая достоверность не волнует автора. Все же Соколов остается верен своей пристальной и болезненной тяге к внутреннему миру персонажей.

В «Палисандрии» много рассуждений о природе писательского труда, и в какой-то момент Соколов постулирует эту болезненность, провозглашая: «Мастер... отражает увиденное со всеми подробностями и неурядицами, коими только и живо искусство. Ибо: „Да здравствует ишиас и холера, свинка и почечуй, инфлюэнца и люэс, чесотка и лунатизм!“ – восклицают исцелители человек. „Да здравствует хлеб наш насущный – грех!“ – рассуждает служитель культа и бульваристка, околоточный и адвокат. „Да сбудется тьма египетская!“ – молится проsvетитель. „Да-да, непременно сбудется, – мыслит художник, – да здравствует все перечисленное плюс все прочие неувязки и глупости вроде несчастной любви, отчужденья, семейных сцен и добрососедского человеконенавистничества“».

Писатель – некий гриф, следящий за агонией жертвы, и чем сильнее ее мучения, тем пристальней его взгляд. И тогда можно понять, почему Соколов обратился к такой теме – истории СССР. Широчайшая панорама неурядиц и бедствий дает разгуляться авторскому воображению и таланту.

Одни люди увлекаются историей для забавы, другие стремятся извлечь пользу из исторических уроков, третьи – делают историю своей профессией. Соколов же относится к категории тех, кто не желает входить в одну и ту же реку дважды, и потому он строит свои системы и модели. Вообще, как подметил лорд Болингброк, нет ничего

естественнее, чем любовь к истории: она «кажется неотделимой от человеческой природы, потому что она неотделима от любви к самому себе».

И поэтому подлинный предмет интереса – не прошлое, разумеется, а настоящее. Попытка разобраться в себе и своей жизни. Если же для пристального исторического взгляда недостает ретроспективы – ее можно и нужно создать самому. То есть – подключить события и персонажей иных эпох, «продлить» историю назад и вперед, не убоясь опасности анахронизмов. А вопрос – было или не было? правда или неправда? достоверно или недостоверно? – праздный. Важна истинность ситуации человеческой, а не исторической. И с этой точки зрения вымысел ничуть не хуже хроники.

Поэтому в книге Соколова существует «Кремлевское Ремесленное Училище Благородных Сирот». Поэтому для убажания вождей имеются те, «кого мы зовем „прихожанками“ и „послушницами“ на предмет обладания ими и отдыха в их непринужденном кругу». Поэтому на охоту «увешанные амуницией, выходили сенаторы Брежнев и Сулов, Пономарев и Косыгин, Шелепин и Мазуров, Подгорный и Георгадзе, гончие и борзые».

Фантаσμαгория на тему российской истории в общем-то не противоречит другой фантаσμαгории – настоящей истории СССР. При этом Соколов всей своей книгой настаивает на том, что критерия подлинности нет, да он и не нужен. Вернее, есть один критерий – эстетический. Попросту говоря, надо, чтобы было красиво. Для этого и переписывает историю Саша Соколов.

Не социальная ценность изучения истории занимает автора, не этическая, а эстетическая. Именно под этим углом высвечиваются знакомые персонажи. Например, известный ратными подвигами и литературным мастерством Брежнев оказывается всего только охотником – но умелым, лихим, достойным.

Гуманисты полагали, что исторические события по сути дела одинаковы, событийная канва лишь придает им оттенок узнаваемости на расстоянии. А всё во все времена определяется психологией и моралью. Соколов вво-

дит эстетическую шкалу, и история вновь оказывается набором стандартных схем, но набором иным, чем было прежде.

Вот, например, как неожиданно выглядит покушение Фанни Каплан на Ленина. В книге фигурирует «записка от Ленина, адресованная Дзержинскому: „Фаню Каплан из-под ареста освободить. Револьвер верните. Ульянов“. Имелись у нее и другие записки от Ленина. В частности, к ней самой, многолетней интимной его соратнице, не пожелавшей делить любимого человека с претенциозной и недалекой Крупской, которую Фаина считала большой мелкобуржуазкой».

Так вот, выясняется, почему стреляла в Ленина Каплан – на почве бурной ревности. Соколов игнорирует эсеро-большевистские расхождения, обращаясь сразу к сфере красоты – любви.

Можно ведь классифицировать общественных деятелей как прогрессивных и консервативных – так обычно и поступает историк. Если избрать критерием нравственность, этот подход придется отбросить из-за прогрессивных деспотов (Ликург, Цинь Шихуанди, Петр), и разделить вождей на жестоких и милосердных. А можно занести их в графы красивых и некрасивых. Блондинов и брюнетов. Толстых и худых. Все равно ведь любая классификация неполна и недостоверна. Вот и развлекается Соколов, испытывая отечественную историю на проверку эстетическим критерием.

Даже активно действующий в книге Берды Кербабев попал сюда за красоту. Иначе не объяснить, чем этот туркменский писатель лучше каких-нибудь Кайсына Кулиева или Давида Кугультинова. А так ясно – за имя с великолепной аллитерацией, напоминающей раскат грома.

Исходя из эстетического принципа истории, легко и естественно – выбрать в качестве метода показ, а не рассказ и не доказательство. И зрительная яркость соколовской истории придает драматизм повествованию.

Напряжение появляется в первой же строке: «Вдруг случилось буквально следующее. Оклеветан клеветрами, мой дядя в порядке отчаяния повесился на часах Спасской башни».

Снова, обратим внимание – изящная аллитерация: «оклеветан клеветами». Таких словесных игрушек в книге множество. Тут, впрочем, для читателя нового нет: эlegantность соколовского языка заметна в современной прозе с первого появления писателя. В «Палисандрии» Соколов показывает все, на что он способен в этой области: тут и неожиданная точность словосочетаний («прискорбная мишура» похорон), и смешно придуманные словечки («бормотограф»), и пародийные газетные объявления («Оскорблю и унижу», «Растлю малолетнюю», «Зацелую допьяна»), и полусерьезные афоризмы из смеси Ларошфуко и Козьмы Пруткова («Человек, взятый под стражу, подобен тексту, взятому в скобки: он отчуждается»), и литературные аллюзии («болконский дуб»), и броские сравнения («Выглядел он угловато, сурово, несимметрично, словно только что от Пикассо»), и каламбуры («Мы закурили, и дым отечества переполнил нам легкие»).

Вязь соколовского повествования, уводимого прихотливыми ассоциациями в любые стороны, напоминает Стерна. Даже не стилем, а явным тяготением к общей идее беспредметных деталей, бессобытийных происшествий, вымышленной правды и подлинной выдумки. В общем-то, ничего, кроме самого повествования, значения не имеет. Хотя, повторяем, в книге все время что-то происходит, начиная с первого абзаца.

Вернувшись к нему, обнаружим, что дядя, повесившийся на часах Спасской башни – не кто иной, как Лаврентий Берия. Главный герой и повествователь, Палисандр Дальберг, его внучатый племянник (а тот ему – выдумывает Соколов новую степень родства – дедоватый дядя). Прошедший на глазах читателя путь от кремлевского сироты до главы государства, Палисандр еще и внук Григория Распутина. Это, вероятно, не случайно и придает герою дополнительную красоту несравненного мужчины. Сексуальные сцены написаны ловко и нестыдно при помощи туманных слов – «межножье», «зизи» («Она взглянула на мое зизи»), и в них Палисандр выказывает себя совершенным молодцом. Он вообще супермен, причем настолько универсальный, что в конце книги

даже оказывается гермафродитом – чтобы, видно, не осталось не охваченным ничто.

Стремление к универсальности сказывается даже в способе повествования: оно ведется в 1-м, 2-м и 3-м лицах, и в конце – даже в среднем роде («Я оглянулось окрест»). И все шире взгляд Палисандра, все глубже назад и дальше вперед видит он историю России, все уплотняя прошлое, настоящее и будущее, мешая в сознании своем и читателя эпохи, народы, лица.

Осень, пора золотая!
Воздух ядреный алкая,
Утром из ящика вынь
Письма Берклея, Барклая,
Письма династии Минь...

История лишена поступательного движения, она не развивается, а длится. И ничто не может измениться и произойти. И, конечно, ничто не в силах изменить ни Палисандр Дальберг, ни автор. Можно только заново перечитать историю, вновь и вновь убеждаясь, что как бы фантастичен и невероятен ни был вымысел, существующие анналы не уступят ему в фантазмагории.

Но перечитывать нужно, и переписывать нужно, потому что нужна в жизни красота, а что же еще? В конце «Палисандрии» Соколов дает определение творческого импульса – точное, во всяком случае, точнее не бывает: «Кажется, будто что-то кому-то должен, будто бы надо куда-то пойти иль уехать, кого-то о чем-то предупредить. А может – не кажется? Может – действительно надо?»

Но куда пойти и куда уехать – не ясно. Потому что везде одно, и «ваше отечество – Хаос».



Две культуры: Беседа с Владимиром Паперным

А. Б. – Владимир, не могли бы вы рассказать об истории возникновения вашей книги «Культура-2»?

В. П. – Книга вышла в издательстве «Ардис» в Мичигане несколько месяцев назад: а начал работать я над ней в семьдесят пятом году в Москве. Тогда я поступил на работу в Институт теории и истории архитектуры в сектор социальных проблем советской архитектуры – такое дикое название... Мне поручили заниматься социологическими аспектами плана реконструкции Москвы тридцать пятого года. У меня и до этого был интерес к советской архитектуре сталинской эпохи, но какой-то неясный. А тут я должен был этим заниматься по работе – кем этот план готовился, что за ним стояло и т. д. Постепенно я увлекся этой темой и стал входить в нее все глубже и глубже.

Сталинская архитектура Москвы интересовала меня по двум причинам. Во-первых – это среда моего детства. Я с детства ездил в этом метро, смотрел на эти высотные здания... и в какой-то момент мне стало интересно, что это вообще такое и почему это на меня оказывает влияние. Дело в том, что Москва – вся Москва – в том виде, в каком она существует сейчас, – создана в сталинское время. Много осталось, конечно, церквей и домов, построенных раньше, но облик современной Москвы – вся перепланировка, весь масштаб, все основные здания – основные градостроительные точки – все это создано при Сталине. Построена гостиница «Москва», пробита новая улица Горького вместо узкой Тверской, снесен весь квартал

между гостиницей «Москва» и Манежем и т. п. Поэтому, из личных соображений, – хотелось понять, что собственно происходило, что люди пытались сказать всеми этими формами, если рассматривать сталинскую архитектуру как определенную коммуникационную систему.

С другой стороны – у меня был чисто исследовательский интерес, который заключался в том, что я, как и масса других людей в Советском Союзе, интересовался двадцатыми годами. Было очень распространено мнение, что существовала замечательная архитектура двадцатых годов с поисками конструктивистов, функционалистов и прочих авангардистов, а потом просто все исчезло. Пришел к власти какой-то мерзавец, все испортил, и дальше ничего больше не было. Просто провал. Но интересно, что от двадцатых годов почти ничего не осталось – потому что ничего не было построено, а то, что осталось, был именно этот «провал». Получается диспропорция: все жадно собирают какие-то бумажки, скажем, найденную рукопись Малевича, на которой безграмотной рукою дрожащим почерком написан какой-то невнятный бред. Но все это бережно хранится и изучается, хотя это настолько случайное и эфемерное явление в советской культуре, что вообще непонятно, существовало ли оно. В то же время существуют миллиарды кубических метров сталинской архитектуры – с какими-то орнаментами, символами, в которые что-то вкладывалось, и исследователи безразлично от этого отворачиваются.

А. Б. – Ваши слова напоминают мне одну статью – Зиновия Зиника, кажется, где он писал, что нормативную советскую литературу нужно изучать по произведениям соцреализма. По этим «шедеврам» и нужно судить о литературном процессе в СССР, а не по отдельным книгам инакомыслящих.

В. П. – Совершенно точно. Отмечу, что я сразу отказался в своем исследовании от идеи чисто искусствоведческой и архитектуроведческой. Мне было в высшей степени неинтересно анализировать все это в терминах истории архитектуры: дорическая ли такая-то колонна или ионическая, заимствован этот элемент у Палладия или у Виньолы. В этом, грубо говоря, состоит советское архи-

тектуrowедение, когда просто перечисляются все элементы. Я имел несчастье выучить эту терминологию, когда сдавал кандидатский минимум по истории архитектуры.

Вместо этого мне хотелось как бы вывернуть архитектуру наизнанку и посмотреть, не стояло ли за ней какого-либо другого содержания. Поэтому, если я смотрел, что происходило в архитектуре в тридцать шестом году, то я сразу открывал литературные журналы, киножурналы тридцать шестого года, центральные газеты и так далее. Я пытался рассмотреть параллельный срез всей культуры. А поскольку всё охватить невозможно, то я сконцентрировался на архитектуре, и в качестве параллельных ей явлений я остановился на кино и на литературе (правда, в меньшей степени); и третье, что для меня было очень важно – это правительственные постановления, которые я рассматривал не в том аспекте, как на них реагировали, а как тоже своего рода творческую деятельность, в которой проявлялись те же закономерности, что и в русской истории. Культура – в моем понимании – это нечто более общее – то, что находится над политикой. Поэтому и члены правительства, и работники НКВД – все они в какой-то степени находятся в этом смысловом поле, и в их деятельности должно было отразиться что-то характерное для всей культуры.

Мне пришлось отказаться от привычной архитектурной терминологии и создавать собственную систему категорий для описания происходившего. Это одна часть моего подхода. Вторая заключается в том, что я постоянно сравнивал то, что происходило в тридцатые-сороковые-пятидесятые годы, с тем, что происходило в двадцатые. Рубеж между этими периодами весьма резкий. И он отмечался всеми. Скажем, в истории архитектуры, написанной в сталинское время, об этом писали так: «эти беспочвенные левацкие, формалистические выкрутасы, затем, в конце двадцатых годов, с этим было покончено, и началась прекрасная, божественная эпоха».

А в шестидесятые годы так называемые прогрессивные искусствоведы писали о замечательной творческой архитектуре двадцатых годов, которая потом пропала. Правда, они прямо не могли писать, что все было заду-

шено и растоптано, но подтекст получался именно такой. Так что рубеж этот выделялся всеми. А у меня получилось, что причина этого резкого изменения не в том, что кто-то приказал: убрать! Изменения происходили настолько синхронно во всех областях, что это было бы просто невозможно ни теоретически, ни практически: взять одну идею и провести ее на всех уровнях такой страны сразу! Смысл происшедших изменений, по-моему, в том, что сменился культурный механизм – язык, система ценностей. Причем это изменилось так резко, внезапно, что было впечатление того, что пришли вдруг какие-то другие люди. Условно говоря – это как Рим, который завоевали варвары; но никто в Советский Союз в тридцатые годы не приходил! Вот такая загадочная картина... Читаешь журналы – те же самые авторы. Говорится одно, и вдруг – какой-то рубеж и начинает говорить совершенно другое – на другом языке, другие термины, смыслы. Просто какое-то чудо... И моя попытка объяснить это чудо состоит в том, что в России существует два культурных механизма, совершенно разных. Они существуют всегда одновременно, но в какой-то момент один начинает явно подавлять другой, доминировать, а потом происходит наоборот. И это происходит так резко, что люди, внешне оставаясь теми же самыми, вдруг меняются, как бы попадают в другое поле, как металлические опилки на листе бумаги. Они располагаются одним образом, а потом внезапно – другим.

А под этим листом бумаги, оказывается, кто-то повернул магнит. Кроме того, я предположил, что эти два механизма возникли не в советское время, а существовали в русской культуре и раньше. Я бы ни в коем случае не хотел сказать, что русская культура исчерпывается этими двумя механизмами, которые я условно назвал «Культура 1» и «Культура 2», – русская культура намного богаче и интереснее. Просто я условно выделил из нее эти две тенденции.

А. Б. – Не могли бы вы коротко охарактеризовать эти тенденции?

В. П. – Образно говоря, Культура 1 – это культура растекания, расползания, брожения и бродажничества,

распространения поверх границ. Она устремлена в будущее. Она мобильна и антииерархична.

Культура 2 – это культура прикрепления, остановки, огораживания, запираения, неподвижности. Она обращена в прошлое и, в значительной степени, иерархична. Взаимодействие этих двух культурных механизмов, пожалуй, лучше всего проявлялось в строительной деятельности, в архитектуре. То, как менялась архитектура и отношение к ней, в какой-то степени может быть объяснено чередованием двух культурных механизмов, описанных в моей книге. Разумеется, нельзя объяснить или изложить всю историю русской архитектуры, используя только эту модель. Это одно из вспомогательных средств, чтобы увидеть какие-то механизмы, закономерности, которые не удастся увидеть другим способом.

А. Б. – Когда я читал вашу книгу, у меня сложилось впечатление, что вы рассматриваете архитектуру как некий эпифеномен, сопутствующее явление, демонстрирующее принцип развития и других явлений культуры: поскольку архитектура, как и кино, которому уделено много места в книге, – это не только искусство, а еще и техника, и промышленность, и явление массовой культуры. И на фильме, и на строительстве здания занято много людей – здесь отражены и общественные и политические проблемы. Не используете ли вы поэтому архитектуру как модель, на которой вы исследуете все советское общество – наподобие того, как Фрейд, когда он занялся описанием механизмов психической деятельности, прибег к метафоре архитектурного сооружения со своим подвалом, бельэтажем, этажами и крышей? Но даже если это так, то все равно – то, что вы только что сказали, свидетельствует о том, что вы лишены характерного для Фрейда (и Маркса с его базисом и надстройками) монистического подхода.

В. П. – Когда я писал книгу, у меня было больше претензий на универсальность. Но сейчас, спустя некоторое время, я вижу, что следует ограничить применимость моей модели. Объяснить всю историю России чередованием этих двух культур нельзя. У меня об этом даже в предисловии написано. Происходила масса событий и в архи-

текстуре, и в других областях, но за всем этим, если условно отбросить или отдать эти области специалистам, можно, тем не менее, проследить некий циклический механизм преобладания одной или другой культуры.

А. Б. – Возможно, ваше первоначальное стремление – дать универсальное объяснение всему – вызвано тем, что рассматриваемый вами период был периодом строительства. Я имею в виду строительство новой культуры, нового человека. И, возможно, в архитектурных замыслах того времени воплотились веяния из смежных областей, то, чего не происходило в другие периоды развития архитектуры, когда она была более автономной сферой.

В. П. – Мне кажется, что в Петровское время архитектура занимала почти такое же место, и я находил очень много аналогий в строительстве Петербурга, например. А в двадцатые годы практически ничего не строилось...

А. Б. – И все-таки, не в этой ли атмосфере «строительства» причина того, что Сергей Эйзенштейн, например, оставил семейную профессию архитектора и перешел (до революции он был студентом Института гражданских инженеров) к театральной, а вскоре к кинорежиссуре? Впрочем, приход ряда архитекторов того времени в кино не был явлением, характерным лишь для России двадцатых годов. Выдающийся немецкий режиссер Фриц Ланг, тяготевший к фантазии и мифу, тоже начинал с архитектуры. Нет ли здесь какой-либо закономерности? Человек стремится к созданию некоей новой конструкции. Постепенно его амбиции растут, и его проект приобретает мифические формы. Но для того, чтобы творить миф, архитектура не совсем подходящая область, поскольку там есть ряд инженерных правил, ограничивающих воображение нашего мифотворца. То ли дело – монтажный кинематограф, из кирпичиков которого можно выстроить все, что угодно. Поэтому, наверное, Эйзенштейн перешел в кино, где он мог манипулировать действительностью без всяких ограничений, в угоду мифу. Так был создан миф о штурме Зимнего дворца. Ведь до сих пор фильм «Десять дней, которые потрясли мир» на Западе воспринимают чуть ли не как докумен-

тальную ленту. Я уже давно думаю о такой разновидности кинорежиссера как архитектора воздушных замков, и ваша книга, где прослеживаются связи между кино и архитектурой в СССР, дает дополнительный материал для размышлений в этом направлении.

В. П. – Но в моей книге описана как раз противоположная тенденция: когда Эйзенштейн снимал «Генеральную линию», нужно было построить декорацию молочной фермы. У архитектора Бурова, работавшего на этой картине вместе с Эйзенштейном, была идея, что декораций строить не надо, а нужно было построить реальную, действующую молочную ферму, которая работала бы и после фильма и была бы образцовой молочной фермой. В конечном счете, это имеет отношение не к театральности, не к мифу, а к документализму – к литературе факта, к производственному искусству.

А. Б. – В связи с этим мне хотелось бы остановиться на таком моменте. В своей книге вы заостряете противоречия между Культурой 1 и Культурой 2. Но коль скоро речь пошла о мифотворчестве, то оно ведь началось еще при доминировании Культуры 1. Все эти сталинские парады и спектакли произошли от массовых театральных действий, в которых романтически изображались те или иные революционные события. В постановке этих действий в девятнадцатом году участвовали такие крупные деятели искусства, как Пуни, Евреинов, Анненков, через несколько лет эмигрировавшие. Все эти монументальные представления, по-моему, перешли в Культуру 2 без принципиальных изменений.

В. П. – Это не совсем так. По-моему, трансформация здесь все-таки была существенная. Идея этих массовых шествий, очень распространенная в двадцатые годы, проявилась и в архитектуре. Когда проектировались театры, то главная идея в двадцатые годы была разорвать замкнутую коробку сцены для того, чтобы на сцену могла врываться толпа с улицы. Там все время подчеркивалось, что не должно быть отдельного представления на сцене актерами. Должно было быть достигнуто слияние искусства с жизнью: не должно быть профессиональных актеров, а толпа с улицы в каком-то порыве должна была стать зри-

телем, участником, актером, режиссером. Все должно быть стихийно, спонтанно. В этом отражались и идеи Пролеткульта. Как известно, Мейерхольд собирался на сцене расстреливать реальных «врагов народа», по-настоящему – для достоверности...

В тридцатые годы в Культуре 2 все это как бы осталось, но на словах; инерция слов продолжается: массовые шествия и так далее. Но внезапно очень четко отгораживается сцена от зрительного зала – появляются всюду очень четкие границы. Там уже нет идеи стихийных масс, которые куда-то выплескиваются. И это тоже очень характерно в архитектурных проектах театров, в заданиях на проектирование театров. Там все время говорится: никаких массовых шествий на сцену предусматривать не нужно... Во Дворце Советов, кажется, были предусмотрены какие-то массовые шествия, но они начинают пониматься совсем по-другому: как очень сложный отрепетированный спектакль. Вот в чем разница! Идея стихийности, спонтанности отменяется. Для этих шествий отбираются люди, участвующих в демонстрации проверяют по спискам. Происходит четкий водораздел: на мавзолее стоят вожди, которые, с одной стороны, являются зрителями этого парада, а с другой стороны – участники идут поглазеть на вождей. Так что вожди – актеры. Но граница все время соблюдается и появляется какая-то недостижимость между «актерами» и «зрителями», чего не было в двадцатые годы, какой-то непроходимый барьер.

А. Б. – Но, проводя этот водораздел между Культурой 1 и Культурой 2, вы не сохраняете нейтралитет: чувствуется, что симпатия автора на стороне Культуры 1; и это – понятно, поскольку автор – архитектор и дизайнер, а в двадцатые годы происходил, по крайней мере на теоретическом уровне, расцвет этих областей.

В. П. – Если это чувствуется, то вопреки моему желанию. У меня была идея отказаться от всех терминов, о которых можно было бы сказать «хорошо» или «плохо». Действительно, некоторые детали двадцатых годов, о которых я пишу, мне симпатичны. Но задача была – отказаться от своих вкусов и пристрастий и взглянуть на это

глазами человека, приехавшего с Марса, который ничего не знает, а просто смотрит и замечает какие-то закономерности. Но конечно, это невозможно, и где-то, может, прорываются какие-то личные пристрастия, чего мне совсем не хотелось. Нет, я не стремился доказать, что Культура 1 – это хорошо, а Культура 2 – плохо.

А. Б. – Я это спрашиваю в связи с тем, что на Западе, а особенно в США, в шестидесятые годы началось увлечение идеями советской культуры двадцатых годов и предпринимались попытки их дальнейшего развития, появилась такая теория, что в двадцатые годы в России была прогрессивная модернистская культура, а потом пришел Сталин и компания, которые при поддержке народных масс установили владычество социалистического реализма. И по сей день в ряде американских университетов профессора проводят границу между русским модернизмом, полной свободой и расцветом творчества в двадцатые годы и последующим загниванием и распадом культуры с приходом соцреализма. Такой взгляд особенно характерен для троцкистски ориентированных исследователей. Между тем, двадцатые годы в России не могли быть годами *полной* свободы хотя бы потому, что эта свобода предполагалась лишь внутри марксистских рамок. То есть, вы могли и не быть марксистом, но должны были выдавать себя за такового или хотя бы говорить на языке марксистских понятий. Но при этом забывают, что существовали люди, представлявшие целый слой в культуре 20-х годов, не желавшие говорить на марксистском языке, которых уничтожали, выдворяли за границу или заставляли замолчать. И процесс этот начался задолго до победы Культуры 2 и начала гонений на модернизм. Поэтому я не разделяю эйфории многих моих коллег относительно свободы творчества в двадцатые годы в России. Вообще, как мне кажется, будет неточным говорить просто о модернизме первого постреволюционного десятилетия, подавленном социалистическим реализмом в начале тридцатых годов, а лучше противопоставлять социалистический модернизм социалистическому реализму. То есть между Культурой 1

и Культурой 2 в 20-е – 30-е годы была связь – идеологическая. Что вы думаете по этому поводу?

В. П. – Мне кажется, что это не совсем так. В двадцатые годы марксистская терминология была чисто номинальной. Надо было просто упомянуть два-три слова, и этого было уже достаточно. Идеология была как внешний привесок...

Скажем, журнал «Леф» и Маяковский. Они считали своим Пастернака. Но Пастернак и «Леф» – это поразительно разные вещи. Поэзия Пастернака лефовского периода сильно отличается от стихов Маяковского и Кручёных. Футуристы и Пастернак – совершенно несовместимые вещи. Но когда Пастернака спрашивали: вы ищете новые формы, он отвечал: да-да, ищу. А, ну молодец! Наш, значит. Или так: вы разрушаете старый язык? Да, разрушаю. И этого было достаточно. Это я говорю, конечно, условно, буквально такого разговора не было. Так что для того, чтобы оказаться своим, надо было, во-первых, сказать, что ты что-то разрушаешь и создаешь что-то новое, и, во-вторых, – какой-то минимум идеологии, абсолютный минимум. Это уже к концу двадцатых годов надо было бить себя в грудь, доказывать рабоче-крестьянское происхождение и так далее, если только не говорить о Пролеткульте, где надо было вообще быть пролетарием чуть ли не в третьем поколении. Я хочу всем этим сказать, что в двадцатые годы идеология не имела такого существенного значения. Грубо говоря, что произошло между двадцатыми и тридцатыми годами? Какая-то неустойчивость культуры позволила принести в Россию западные элементы, и не только западные. В это неустойчивое время в культуру попало множество разнообразных чужеродных элементов с Запада и с Востока, которые дали неожиданные и интересные ростки, но они не имели ни почвы, ни традиции в культуре. Это были какие-то диковинные цветы, выросшие на почве, где уже не было никаких корней. Что произошло в тридцатые годы? Культура вернулась к какой-то самой древней, архаической форме. Возобладали, в конечном счете, самые примитивные и в результате этого самые устойчивые культурные стереотипы.

Культура вернулась к самым первобытным своим элементам. В частности, такой вот анимизм, когда за каждым хорошим или плохим поступком должна была стоять какая-то сила. Если совершается плохой поступок, скажем, ломается станок, то за этим обязательно надо увидеть, что какая-то злая сила этот станок разрушила. Не значит, что кто-то забыл гайку привинтить, а за этим должны стоять злые колдуны. Отсюда возникает идея вредительства. Это представление Культуры 2 о добре и зле возвращается к самым примитивным взглядам...

А. Б. – То есть вынырнуло первобытное мышление, прямо как по Леви-Брюлю?

В. П. – Да, да – почти по Леви-Брюлю.

А. Б. – Вы говорите, что Культура 1 тяготела к факту, а Культура 2 – к мифу. Но, если опять воспользоваться примерами из кино, Эйзенштейн и Вертов, хотя и имели дело с фактами, манипулировали этими фактами, подбирали определенным образом, выстраивали из фактов миф. Так ли уж противоположны в этом аспекте выделенные вами Культура 1 и Культура 2?

В. П. – Совершенно верно, они мифологизировали факты. Я просто хочу сказать, что каждая из этих двух культур создает свой собственный миф. Идея в том, что мифы эти – разные! Культура 1 создает миф правды, документальности, трудового коллектива. Она придумывает новые мифы: например, миф овладения пространством, миф труда, машины, в то время как Культура 2 опирается на какие-то совсем древние и простые мифы, которые она не придумывает. Она возвращается к таким элементам, которые уже невозможно разделить. Например – миф и пафос плодовитости, урожайности. Это и ориентация на семейную иерархию, ритуализированное уничтожение противников и так далее.

А. Б. – Из вашей книги можно сделать вывод, что тоталитаризм, сталинизм – это чуть ли не народное явление. Как писал в романе «Жизнь и судьба» Василий Гроссман, «национал-социализм не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, шуткам его смеялись, он был плебеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы».

В. П. – Насчет Германии я не берусь сказать. Когда я писал свою книгу в Союзе, у меня не было возможности достаточно глубоко этим заниматься: поехать в Германию, посмотреть; у меня также не было доступа к литературе. Поэтому из чисто практических соображений я ограничиваюсь Россией, вполне сознательно. Если бы я писал эту книгу сейчас, то, возможно, включил бы и немецкую культуру.

А. Б. – Когда я читал вашу книгу, я вспоминал свои беседы с коллекционером живописи 20-х годов Георгием Дионисиевичем Костаки. Он утверждал, что авангардистское искусство в России увяло к концу двадцатых годов, потому что народ его отринул: ему было неинтересно, а у самого искусства также иссякли силы. И когда Костаки так говорил, и это попадало в эмигрантскую печать, то на него очень сердились, и некоторые даже считали, что он – советский шпион. Потому, что он не обвинял в разрушении передового искусства большевиков.

В. П. – Я с ним в этом смысле согласен, и тогда я, может быть, тоже – советский шпион.

А. Б. – Я вспомнил это как курьез. Хотя я сам склонен считать, что власти изрядно помогли – сначала развитию авангарда, а затем его «распаду», когда отпала нужда в его услугах. Но у нас в эмиграции принято считать, что там ВСЕ перемены производила какая-то группа заговорщиков, в том числе и в культуре.

В. П. – Эта точка зрения представляется мне совершенно дикой. Кто эти заговорщики? Чем внимательнее читаешь документы тех лет, тем больше видишь, как это все возникало стихийно и изнутри. Этого никто сверху сознательно не проектировал.

А. Б. – В своей книге «Культура 2» вы избегаете ответов на вопрос «почему». Вы скорее отвечаете на вопрос «как», описывая то, что происходило в 30-е годы.

В. П. – Совершенно верно. Я просто не вижу возможности ответить на вопрос «почему». Единственная попытка ответить на вопрос «почему» – это когда я говорю, что все это уже повторялось. Видимо, в русской культуре что-то такое заложено, что оно повторяет себя именно таким образом. Дальше надо строить какие-то модели

культуры, что не моя специальность. Надо либо брать чьи-то модели, либо придумывать свои. Это – другой жанр.

А. Б. – Когда я читаю детерминистические объяснения того, что есть, тем, что уже было, то я всегда думаю: в Европе уж столько было всяких ужасов! И крестоносцы, и инквизиция, и Варфоломеевская ночь. Кровь текла сотни лет. Как же так получается, что Европе удалось вырваться из кошмаров средневековья, а нам нет? Ведь даже возврат к ним нацистской Германии, насколько мне известно, историки объясняют не далеким прошлым немецкого народа, а особенностями современной ситуации. Но когда они хотят объяснить феномен большевизма, то обязательно вытаскивают на белый свет татарское иго, Ивана Грозного и опричнину.

В. П. – Я вообще большой поклонник историка Милюкова. Его «Очерки по истории русской культуры» – это фундаментальный труд, который пока никем не превзойден. Все, что писалось о русской культуре после Милюкова, находилось под его влиянием – Ричард Пайпс или Джеймс Биллингтон, ректор Кеннановского института, автор книги «Икона и топор»... Эта книга мне очень нравится, но когда я ее читаю, я вижу, насколько глубоко влияние Милюкова. Милюков писал, что в России нет культурной традиции. Я думаю, что это из-за того, что эти два культурных механизма, чередующиеся в истории, настолько враждебны друг другу, что как только преобладает одна из этих фаз, скажем, Культура 1, то она с такой активностью начинает уничтожать все, сделанное предыдущей культурой, что действительно успевает уничтожить и создать что-то свое. Но тут как раз кончается ее время и наступает новая фаза, которая начинает с того, что судорожно уничтожает все, сделанное предыдущей. Из-за этого русская история как бы движется такими короткими перебежками: что-то делается, но тут же разрушается. Вот такая последовательная серия разрушений и созиданий... Из-за этого, может быть, она все время вынуждена возвращаться к тому же самому. Действительно, если мы примем эту схему – Культура 1 и Культура 2, – то произошло следующее. Была Культура 1 в

двадцатые годы, которая породила какие-то новаторские направления в архитектуре и живописи. Потом пришла Культура 2, которая все это старательно уничтожала – буквально, физически уничтожала произведения этой архитектуры и боролась с нею идеологически. После этого, к середине пятидесятих годов, она как бы иссякла. Возникла опять Культура 1, и с чего начала? Со страстного утверждения 20-х годов. Все шестидесятые годы в СССР – это годы открытия 20-х годов. Вдруг заговорили о Малевиче, Кандинском. Это стало модно, и в результате, когда первые советские художники-авангардисты шестидесятих годов стали выезжать на Запад, эмигрировать, то в рецензиях в «Тайме», «Ньюсуике», которые я читал, еще находясь в России, писалось: мы разочарованы; опять двадцатые годы, мы всё это уже знаем. Несколько раз звучали такие нотки. Но я думаю, именно из-за того, что все было уничтожено Культурой 2, нужно было, чтобы продолжать какое-то движение, прежде всего восстановить уничтоженное. Историки архитектуры стали собирать какие-то рукописи Малевича, рисунки Лисицкого и так далее, и на это уходили все силы...

А. Б. – Интересно, в одном из прошлогодних номеров «Страны и мира» было опубликовано эссе Бориса Хазанова, где он предлагает образ России-великана, который, когда его разбудят, он начинает бушевать, пока все не разрушит, а потом опять заснет, и так все время.

В. П. – Это удачный образ, я читал статью Хазанова, и она мне очень понравилась...

А. Б. – На этот счет существует мнение, хорошо сформулированное в стихотворении Наума Коржавина «Памяти Герцена»: «Нельзя в России никого будить». То есть, когда начинаются какие-либо преобразования, то это заканчивается тем, что течет кровь и разрушается общество и культура. Но, с другой стороны, если никого не будить, то все покрывается плесенью, как сейчас. Как вы относитесь к этой дилемме? И попутный вопрос: не предвидите ли вы в ближайшем будущем «расцвета» Культуры 2 на манер тридцатых-сороковых годов?

В. П. – Знаете, почему я уехал из Советского Союза? Я очень не хотел уезжать, и у меня были личные причины: нужно было оставить сына, родителей. То есть мысли об отъезде всегда были, но в какой-то момент я понял, что мне этого делать не нужно. Приняв это решение, я стал заниматься историей советской архитектуры. И вдруг, после того, как я прочел много газет и журналов двадцатых и тридцатых годов, я стал обнаруживать в современных газетах повторение того же самого: оборотов, слов, терминологии. На обсуждениях в институте теории архитектуры я вдруг услышал, как стали повторяться все те же самые слова тридцатых годов. Пока это было в довольно безобидной форме: никого не сажали, ничего не сносили. Все это рождалось и изнутри, и сверху – одновременно. Опять заговорили о наследии, о бездуховности функционализма... Рубежом для меня и для всех стал восьмидесятый год: Афганистан, Сахаров... Но это все нагнеталось уже какое-то время.

А. Б. – Но в восьмидесятом году был также пик эмиграции.

В. П. – Эмиграция – это была еще инерция предыдущей культуры – Культуры 1. К перелому можно отнести как раз начало конца эмиграции. Культура 2 всегда начинается с границ. Особую роль приобретают государственные границы. А в архитектуре – любые границы, любая граница между двумя пространствами приобретает особое значение: двери, например, начинают оформляться особым образом. Двери – поскольку это есть некое нарушение границы одного пространства и другого. Входы в метро... Почему входы в метро в шестидесятые годы – это просто дыра в земле и ничего особенного нет, а в сороковые и пятидесятые – это сложнейшие триумфальные арки, целые сооружения, поскольку это пересечение границы подземного и надземного мира...

А. Б. – То есть вы увидели, что в архитектуре конца семидесятых годов происходило то же самое, что и в годы сталинского «ренессанса»?

В. П. – Нет. Пока я это увидел только в атмосфере. Когда меня на работе вдруг вызвал директор и сказал: почему тебе приходят письма из-за границы? Тебе при-

слали книгу из-за границы! Как это так?! Катастрофа... Все это достигло естественного апофеоза во время истории с корейским самолетом, когда заговорили о нарушении священных границ и тому подобное... В шестидесятих годах, я думаю, его не сбили бы.

А. Б. – Вот вы упомянули об эмиграции как о проявлении Культуры 1. Мне кажется, что от Культуры 1 – здесь скорее сам факт разрешения эмиграции и факт принятия решения эмигрировать, пересечь границу. Но по своему составу эмиграция разнородна. Она стихийно захватила и представителей Культуры 2. И если мы говорим об архитектуре и дизайне, то дома многих нынешних эмигрантов в Америке оформлены по всем канонам Культуры 2: бархатные шторы, обои с Потемкинской лестницей, вазы...

В. П. – Нужно посмотреть, какого возраста люди это делают. Может, это как раз те, кто сформировался во время расцвета Культуры 2, и сейчас они, так сказать, реализовывают то, что им было недоступно в те годы.

А. Б. – Поскольку мы уже перешли границу, коснувшись Америки, то как ваша схема может быть применима к другим культурам, помимо русской? К американской, например.

В. П. – Если дать исчерпывающе точный ответ, то он будет: не знаю. Но когда я писал свою книгу в Москве, я сознательно сказал себе, что не буду думать, есть ли это в других странах. Я другие страны знаю недостаточно, а вот когда я попаду в другие страны, тогда и буду на эту тему думать. Но когда я уже закончил эту книгу, я познакомился с ленинградским математиком Сергеем Масловым, который написал работу об архитектуре в мировом масштабе, где содержится сходная идея чередования двух фаз. У него это применялось ко всей мировой архитектуре и хорошо получалось. Но связано у него это было с другим: он занимался искусственным интеллектом и моделированием работы мозга, концентрируясь на разных функциях левого и правого полушарий.

А. Б. – Он работает в Америке?

В. П. – Маслов жил в Ленинграде и недавно погиб при загадочных обстоятельствах. Я познакомился с ним и с

его работой в Ленинграде. Он не был диссидентом, но печатался в самиздатских журналах. Был доктором наук и работал в каком-то математическом институте, так что он был вполне признанный официально человек. Вроде, он попал в автомобильную катастрофу – в общем, смерть очень подозрительная... То, что у меня называется Культура 2 и Культура 1, у Маслова – правое полушарие и левое полушарие. Его описания сознания правого и левого полушарий мозга в каком-то смысле оказались очень похожими на мои описания двух чередующихся Культур. Когда мы сравнивали наши тексты, мы поражались такому сходству, хлопали друг друга по плечу и говорили: как интересно, мы подошли к теме совершенно с разных позиций, а получились очень похожие модели. Маслов считал, что у всего человечества, а не только у индивидуума, в какие-то периоды начинает преобладать активность то правого, то левого полушария. И проявления этого он тоже находил в архитектуре. Причем, даты, когда происходили перемены, у нас немного не совпадали. По его представлениям, начало возрождения Культуры 2, то есть доминирование правого полушария, приходилось где-то на шестьдесят восьмой год. Рубежом у него было снятие Хрущева, Чехословакия... В чем мы оба согласны, это то, что одна фаза, одна культура продолжается двадцать-двадцать пять лет.

А. Б. – Эту хронологию можно распространить и на Америку. Шестидесятые годы – студенческие брожения, хиппи. В проектах новых университетских кампусов преобладает архитектура модернизма. Строятся какие-то несуразные футуристические помещения. В восьмидесятые годы – преобладают консервативные настроения в политике, экономике, культуре. Все другое. Эйфории шестидесятых и след простыл. Как говорят американцы, мы возвращаемся в пятидесятые годы. Конечно, эти сдвиги не проходят здесь так болезненно, как в Советском Союзе, но можно уловить что-то общее.

В. П. – Такой же цикл с периодом в двадцать-двадцать пять лет явно существует и здесь, но я этим специально не занимался и ничего более конкретного сказать не могу. Этим занимался Сережа Маслов, и он нахо-

дил подобную закономерность во всей мировой архитектуре. Но в одном он, по-моему, ошибся: прибавив к шестьдесят восьмому году двадцать лет, он считал, что к восемьдесят восьмому году Культура 2 в России закончится, и начнется, по его терминологии, культура левого полушария. Как мне кажется, Культура 2 всерьез началась в Союзе в конце семидесятых годов, а не шестидесятых, точнее – в 79-м. 80-е и 90-е годы будут торжеством Культуры 2, и если начнется какое-то футуристическое брожение с открытием границ и так далее, то это произойдет уже в начале нового тысячелетия. И сам факт трагической смерти Сережи Маслова в середине восьмидесятых годов показывает, что он, к сожалению, был неправ...

А. Б. – Такой подход к истории и культуре, избегающий идеологических объяснений и тяготеющий больше к культурологическим, структуралистским схемам, напоминает мне работы другого молодого ученого – эмигрировавшего в США и трагически погибшего в автомобильной аварии летом семьдесят седьмого года – Зильбермана...

В. П. – Эдик Зильберман? Я читал его работы.

А. Б. – Но это на теоретическом уровне, а на уровне эстетическом я вижу связь между вашими изысканиями и «соцартом» художников-концептуалистов Комара и Меламида...

В. П. – Какая же тут связь? Конечно, мы ровесники, учились в одном институте и принадлежали к одному кругу. Но кроме этого, что еще?

А. Б. – То, что Комар и Меламид занимаются «экзорцизмом». Создавая полотна с портретами вождей, доярок и гебистов в стиле соцреализма, доведенного до абсурда, они как бы изгоняют духов из Культуры 2. Но в первую очередь из себя самих и всех тех, кто жил при ней. То есть, моделируя процесс творчества у художника-соцреалиста и процесс восприятия у зрителя, возвращенного Культурой 2, они как бы пытаются привить нам – смехом – вакцину от этой культуры. Более того, работая над своими «монументальными» холстами, они постоянно размышляют о том, каким образом и почему появилась такая живопись, и пишут иронические тексты к своим работам.

В. П. – Да, это так. Я поклонник Комара и Меламида и отношусь с интересом к тому, что они делают. Но дело в том, что все-таки главное качество, отличающее то, что они делают, это – не то что юродство, но это постоянная игра, насмешка, пародирование и самопародирование...

А. Б. – Больше, чем анализ?

В. П. – Да. Это всегда остроумно, смешно, в то время как у меня, несмотря на смешные места в тексте, главный пафос был – понять, а не насмешить.

А. Б. – И все-таки в том, что они делают, я вижу, если воспользоваться названием одного фильма Годара – «Веселое обучение». И уж, наверное, некоторые их работы можно было бы включить в число иллюстраций к вашей книге. Ведь книга ваша даже называется не «Культура 1 и Культура 2», а только «Культура 2», и упор в ней делается на анализ Культуры 2. К концу книги даже создается впечатление, что этой культуре выносятся приговор – с позиций общечеловеческой гуманистической этики. То есть ваша книга – правда, на ином уровне, чем творчество Комара и Меламида, – служит разоблачением напыщенной и фальшивой сталинской «культуры»...

В. П. – Я бы не хотел применять слово «разоблачение». Это – анализ. Но, конечно, у нас с Комаром и Меламидом много общего.

А. Б. – Но их работы рассчитаны на широкую публику. А как вам представляется идеальный читатель вашей книги, где довольно много сухих исторических документов и теоретических выкладок?

В. П. – Вы знаете, я думаю, что круг читателей «Культуры 2» достаточно широк, потому что в этой книге содержится несколько разных слоев. Во-первых, хотя это, может быть, и нескромно говорить, книга довольно-таки занимательно написана. Там есть места, которые просто интересно читать. Книга не написана как искусствоведческая работа, насыщенная специальной терминологией. Там есть интересные малоизвестные истории о встречах и дискуссиях между архитекторами, чтение которых может быть занимательно. Кроме того, там изложены разные архитектурные сплетни и мифы, кото-

рые тоже анализируются, какие-то предания того времени. То есть там есть слой, который будет интересен человеку, который никогда на эту тему не думал, но жил когда-то в России, бывал в Москве и видел все это. Ему будет интересно об этом почитать, а в некоторых местах даже смешно и забавно. А какие-то куски он будет пропускать. Второй слой рассчитан на людей, интересующихся историей архитектуры, на профессионалов-архитекторов и историков. Этот читатель найдет там много интересных фактов. Я работал в архивах, у меня есть редкие фотографии и материалы, которые никогда ранее не публиковались. Моя книга вводит их в научный обиход. И третий тип читателя – это человек, который специально не интересуется ни Россией, ни архитектурой. Это человек с живым интересом ко всему, будь он русский или американец – все равно. Например, такие рассуждения – как в архитектуре выражалась идеология.

А. Б. – И все-таки, по-моему, эта книга в первую очередь обращена к русскому и советскому читателю, а не к тому, кто живет здесь и может не замечать описанных вами закономерностей, поскольку здесь они не так ярко выражены.

В. П. – Вопрос: кто читатель – на самом деле очень труден. Когда я писал книгу, я мысленно обращался к десятку людей, которых я знал и как бы вел с ними разговор. Я, кстати, не знаю, к какому жанру относится «Культура 2»: научному или не очень. Так, когда мою рукопись прочел Вячеслав Всеволодович Иванов*, он сказал примерно следующее: «В вашей книге есть интересная особенность. Очень часто вы начинаете рассуждать в строго научном жанре, а потом вдруг взмываете вверх какой-нибудь метафорой. Лично для меня, – сказал он, – эти

* В. В. Иванов – московский ученый, сын писателя Всеволода Иванова. Выдающийся лингвист, филолог, антрополог. Отталкиваясь от принципов этнологии, структурной лингвистики и фольклористики, он разработал теоретические основы так называемого семиотического подхода в описании культурных феноменов. Этот метод дал возможность рассматривать многие культурные образования, например, мифы, обряды, драматические произведения и даже ряд проявлений человеческой психики (когда она оперирует символами) как определенные тексты, в которых закодирован некоторый смысл или значение.

прыжки и были самым интересным, но я могу предположить, что найдутся читатели, которые сочтут это недостаточно научным».

Его вывод был такой: если хотите, чтоб вашу книгу хорошо приняли в академических кругах, уберите «прыжки».

Как видите, я решил ориентироваться скорее на универсального читателя, каким является и сам Вячеслав Всеволодович Иванов, «прыжков» не убрал. Надеюсь, что «универсальный» читатель это оценит.



Крах партии левых эсеров

Комментарий к письму Марии Спиридоновой

«Крах партии...» – название настолько избитое в советской историографии¹, что для нашего комментария оно звучит несколько иронично. В 1917-18 годах в России все политические партии, кроме большевиков, потерпели крах. Когда-то единые в своей борьбе против царского правительства, они с первых дней февральской революции применяли самоубийственную тактику «левого блока» – бить направо, кооперироваться налево. Именно так, одна за другой, дружными усилиями стоящих слева, отсекались правофланговые политические партии, даже если они были революционные и социалистические. Кадеты, так упорно отказывавшиеся осудить красный террор в годы первой русской революции², в год революции второй стали жертвами этого террора. В 1917 году они оказались на правом фланге революционного лагеря. Теперь уже их не включали даже в проэсеровский «Союз Защиты Учредительного Собрания», образованный в ноябре 1917 г.³ 28 ноября партия Народной Свободы вообще была объявлена вне закона⁴. И после разгона Учредительного собрания (в январе 1918 г.) в России установилась многопартийная социалистическая диктатура.

Теперь уже тактику левого блока приходилось применять по отношению к правому крылу *социалистического* лагеря. Сначала, при всеобщем энтузиазме, в ночь с 11 на 12 апреля большевики и левые эсеры избавились от столь полезных в дни октябрьского переворота⁵, но ставших главными нарушителями революционной дисциплины.

лины и спокойствия, необузданных анархистов⁶. Затем, 14 июня, настала очередь меньшевиков с эсерами: их фракции были исключены из ВЦИКа и перестали играть в «советском парламенте» роль легальной оппозиции⁷. Начиная с этого дня, на пути большевиков к однопартийной диктатуре стояли только левые эсеры – партия радикального социализма, отколовшаяся от эсеровской и вступившая в блок с большевиками.

Левые эсеры тоже пытались «кооперироваться налево», т. е. попросту вступить в большевистскую партию и раствориться в ней. Но Ленин к идее объединения отнесся с иронией и предложил подождать⁸. Левые эсеры были для него прежде всего конкурентами, и лишь затем союзниками в борьбе с правой опасностью. Эту партию Ленин был намерен уничтожить, как только представится подходящий случай. Ему не долго пришлось ждать: 6 июля Ленин обвинил левых эсеров в восстании против советской власти и в течение двух дней разгромил левоэсеровский партактив, ликвидировав ПЛСР как политическую силу.

Письмо лидера ПЛСР М. Спиридоновой в ЦК большевистской партии было написано в Кремле, где Спиридонова находилась под арестом, и датировано ноябрем 1918 года. В начале 1919 года письмо было опубликовано партийной левоэсеровской прессой. Можно посчитать злой иронией, что в этот критический период психически неуравновешенная и истеричная Мария Спиридонова оказалась вождем левых социалистов-революционеров. Осужденная в 1906 году за убийство, Спиридонова вступила на каторге в эсеровскую партию, была освобождена Февральской революцией и немедленно включилась в работу ПСР. Вместе с Камковым и другими эсеровскими лидерами она усердно работала над осуществлением раскола формально единой партии эсеров, возглавив ее левое крыло, а затем и отделившуюся от ПСР партию левых эсеров. При этом, почти во всем Спиридонова шла за большевиками, а потому устраивала Ленина, не видевшего в ней серьезного политического противника.

Непосредственной причиной для открытого письма Спиридоновой большевикам был разгром партии левых

эсеров 6-7 июня 1918 года. Письмо Спиридоновой – еще одно доказательство тому, что «восстания левых эсеров» не было, что замышлялось только убийство германского посла Мирбаха, «а другого ведь ничего и не готовилось». 6 июля, вскоре после убийства Мирбаха, Спиридонова прибыла в Большой театр, где заседал Пятый съезд Советов, и вручила секретарю ВЦИК, большевику Аванесову письмо с объяснением смысла убийства германского посла. Поездка Спиридоновой была предварительно одобрена на заседании левоэсеровского ЦК. Левые эсеры посчитали, что Спиридонову большевики тронуть побоятся (хотя Спиридонова пишет в своем письме, что была готова к «расправе»), и конфликт будет исчерпан. Ленин же воспользовался убийством как предлогом для разгрома ПЛСР.

Не только не было «восстания левых эсеров», не было и «акта ЦК ПЛСР», поскольку, например, член ЦК ПЛСР Александрович о планируемом убийстве Мирбаха ничего не знал вплоть до последней минуты – вот вывод, который напрашивается сам собой из письма Спиридоновой. Был заговор одних членов ЦК ПЛСР (добавим: при участии ряда членов ЦК большевиков, безусловно – Дзержинского, а, вероятно, еще и Бухарина с Пятаковым), в тайне от других членов ЦК ПЛСР, с целью убийства германского посла Мирбаха. Но – «вышло всё не так», как планировали заговорщики. Партию левых эсеров разгромили. Расстреляли члена ЦК ПЛСР и заместителя Дзержинского – Александровича. Арестовали Спиридонову. Всё, что оставалось ей теперь – анализировать причины своего поражения. И она попыталась сделать это в своем письме.

Она красочно описывает «подлую и гнусную травлю» большевиками левых эсеров. Но все-таки забывает указать, что до 6 июля 1918 года ПЛСР вместе с большевиками столь же «подло и гнусно» травила все партии, стоявшие правее. Она распинается в преданности революции и Интернационалу, но отмежевывается от меньшевиков и эсеров (последних она упоминает лишь с маленькой буквы и в сокращении, в то время как про свою партию – прописными и полностью: «Левые Социалисты-Револю-

ционеры»). Не упоминает Спиридонова и о разгоне несоветских крестьянских организаций. А если и возмущается чрезвычайками, то отнюдь не за их террор против «контрреволюционеров»; да и тут переваливает на большевиков всю вину, не деля ее с ними. Между тем, в Коллегии ВЧК из 20 человек 7 были левыми эсерами, в том числе два заместителя Дзержинского – Закс и Александрович. Трудно подвергать сомнению заявление Спиридоновой, что Александрович неоднократно просил ЦК ПЛСР отозвать его из ВЧК. В то же время, именно Закс зачитывал во ВЦИК доклад о разгроме анархистов в ночь с 11 на 12 апреля. Нельзя не поддаться эмоциональному настрою письма, например, в той его части, где Спиридонова осуждает убийство «тысяч людей... в истерике... из-за поранения правого предплечья Ленина». По общечеловеческой склонности доверять мы могли бы не отождествлять левых эсеров с этим террором, если бы газета «Известия» не оставила нам противоречащего письму Спиридоновой документа и не опубликовала 1 сентября 1918 года резолюцию ЦК ПЛСР от 31 августа, с призывом к красному террору «против всех империалистов и прихвостней буржуазии». В резолюции, в частности, говорилось:

«Слугами буржуазной контрреволюции ранен Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин. Мы, стоящие на крайне левом крыле революционного социализма, считающие террор одним из способов борьбы трудящихся масс, будем всеми силами бороться против подобных приемов, когда они имеют целью удушить русскую революцию. Покушение на Ленина произведено справа, защитниками буржуазного строя, кого революция лишила былых привилегий и кто желает уничтожения советского строя и социалистических реформ. Ленин ранен не за то, что он капитулировал и пошел на путь соглашательства. Нет, он ранен теми, для кого даже его политика есть политика крайней революционности. ...Мы считаем, что восстание миллионов трудящихся, хотя и искаженное соглашательской политикой вождей, не удастся задуть гибелью этих вождей. Покушение на Ленина один из таких эпизодов контрреволюционного

падения, и на такие попытки контрреволюции трудящиеся массы должны ответить встречным нападением на цитадели отечественного и международного капитала...»

С точки зрения левых эсеров, партия большевиков была недостаточно революционной и радикальной; истинными революционерами, «стоящими на крайне левом крыле революционного социализма», были левые эсеры, а не большевики. В этом был главный смысл и резолюции ЦК ПЛСР от 31 августа, и ноябрьского письма Спиридоновой. В этом же заключалась и суть разногласий между большинством большевистской партии и левыми эсерами вопросе о Брестском мире. Первоначально поддержав точку зрения Ленина, Спиридонова со временем, под влиянием большинства своей партии, заняла более радикальную позицию. Именно с целью изменить советскую политику в отношении «германского империализма» экстремисты из ЦК ПЛСР, в союзе с левыми коммунистами (большевиками), пошли на убийство Мирбаха; а несколько позже, 30 июля, левоэсеровский террорист Борис Донской убил в оккупированном немцами Киеве командующего германскими войсками на Украине генерала Эйхгорна¹⁰.

Менее радикальное, если судить по письму Спиридоновой, отношение левых эсеров к красному террору следует считать во многом тактическим ходом, предпринятым для увеличения популярности партии среди «советских избирателей». Кроме того, выступать против большевистского террора в ноябре 1918 года заставлял левых эсеров и запоздавший инстинкт самосохранения.

Несколько труднее разобраться в разногласиях большевиков и левых эсеров по крестьянскому вопросу. Существо проблемы заключалось в том, что большевики никогда не имели опоры в деревне, а в крестьянских Советах доминировали несоциалистические группировки часто вообще беспартийных крестьян. Большевистско-левоэсеровский блок как раз и был с успехом использован левыми эсерами для широкого проникновения в деревню, где их функционеры в Советах постепенно оттеснили не только беспартийных, но и «правых» эсеров. Пока сильна была оппозиция «справа», большевиков вполне устраи-

вало это меньшее зло – господство ПЛСР в сельских Советах. Соответственно, обе партии проводили общую крестьянскую политику. Большевики проводили в жизнь эсеровский «Декрет о земле», а левые эсеры полностью поддерживали так называемую монополию хлебной торговли¹¹. Они готовы были поддержать и декрет СНК от 13 мая 1918 года «О продовольствии», позволявший городу беспощадно грабить деревню, выступая лишь против диктаторских полномочий, предоставленных декретом наркому продовольствия большевику Цюрупе¹². 20 мая во ВЦИК они поддержали Свердлова, выступившего с предложением «восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии»¹³, т. е. начать в деревне гражданскую войну. 26 мая, на Первом Всероссийском съезде Народного Хозяйства, левые эсеры указали на опасность «сельского кулачества», которое «может ощетиниться»¹⁴. Наконец, 11 июня 1918 года, при обсуждении во ВЦИК декрета СНК об организации в деревне комитетов бедноты, левые эсеры, хотя и выступали против образования комбедов, голосовать против самого декрета не стали, а предпочли в голосовании не участвовать¹⁵.

Между тем, принятый по инициативе большевиков декрет об организации в деревне комитетов бедноты имел своей целью ослабление власти сельских Советов, в которых доминировали эсеры, левые эсеры и меньшевики. Исключив, через три дня, из числа легальных советских партий меньшевиков и эсеров, большевики смогли направить всю энергию на то, чтобы лишить власти находящихся на местах левоэсеровских функционеров, заменяя их собственными функционерами из новообразованных комбедов. Разгромив после 6 июля и весь левоэсеровский актив, большевики установили в России однопартийную коммунистическую диктатуру. Период многопартийной социалистической диктатуры пришел к своему логическому концу.

Письмо Марии Спиридоновой – своеобразный эпиллог к недолгому большевистско-эсеровскому союзу. Сочетание в нем удивительной наивности и глубоких пророчеств характерно, однако, не для партии левых эсеров, а для самой Спиридоновой. «Владимир Ильич с... огром-

ным умом и личной безэгоистичностью и *добротой*» не может вызвать ничего, кроме улыбки. На этом фоне поражающим контрастом выделяется предвидение: «Вы скоро окажетесь в руках вашей чрезвычайки, вы, пожалуй, уже в ее руках. Туда вам и дорога».

Но сначала по этой дороге прошли сами левые эсеры. Те из них, кто не сумел эмигрировать, как бывший нарком юстиции И. Штейнберг, погибли от «чрезвычайки». Не спаслись и переметнувшиеся к большевикам. Бывший член ЦК ПЛСР А. Л. Колегаев поспешил вступить в партию большевиков уже в ноябре 1918 года. В должности заведующего Особым Отделом Южного фронта арестовывал как контрреволюционеров своих же однопартийцев¹⁶. И был расстрелян в 1939 году. Не отошедший от партийной работы Б. Д. Камков (Кац) в первый раз был арестован в 1921 году, затем освобожден, затем снова арестован, наконец, в 1938-м – расстрелян. Еще в мае 1921 года расстреляли бывшего начальника отряда ВЧК и бывшего члена ВЦИКа Д. И. Попова. Переметнувшегося вскоре после июльского разгрома к большевикам бывшего заместителя Дзержинского по ВЧК Г. Д. Закса расстреляли в 1937-м. А одного из исполнителей террористического акта против Мирбаха – Блюмкина (к тому времени давно уже коммуниста) – в 1930-м. Мария Спиридонова после 6 июля 1918 года на свободе была лишь урывками, и осенью 1941-го была, наконец, расстреляна в Орловском центре отступавшими советскими тюремщиками. К этому времени, как предугадала Спиридонова, погибли и те большевики, к которым обращалась она с открытым письмом в ноябре 1918 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Самая подробная советская монография о ПЛСР, написанная К. Г у с е в ы м, так и называется: «Крах партии левых эсеров» (Москва, 1963).

2. См.: А. К и з е в е т т е р (ред.). «Нападки на партию Народной Свободы и возражения на них», Москва, 1906, стр. 53; R. P i r e s,

St r u v e. «Liberal on the Right, 1905 – 1944» (Cambridge, 1980), p. 56; А. А. К и з е в е т т е р. «На рубеже двух столетий (воспоминания 1881 – 1914)», Прага, 1929, стр. 461; «Государственная Дума. Стенографические отчеты», СПб, 1907, том 1, Заседание 9, стр. 477, 529; там же, Заседание 20, стр. 1533; там же, Заседание 24, стр. 1833; там же, том 2, Заседание 38, стр. 608 – 610; В. А. М а к л а к о в. «Вторая Государственная Дума», Париж, б/д, стр. 216.

3. См.: С. П. М е л ь г у н о в. «Как большевики захватили власть», Париж, 1953, стр. 381 – 382.

4. «Декреты советской власти», т. 1, Москва, 1957, стр. 161 – 162.

5. В дни большевистской «прогулки» в Зимний дворец и во время разгона Учредительного Собрания моряки-анархисты были одной из главных военных опор большевизма.

6. Подробнее о разгроме анархистов см.: Ю. Ф е л ь ш т и н с к и й. «На пути к однопартийной диктатуре. Разгром анархистов – один из этапов захвата власти большевиками». – «Русская мысль», 31 января 1985 г.

7. См. «Протоколы заседаний ВЦИК IV созыва. Стенографический отчет», Москва, 1920, стр. 426 – 428.

8. См. Архив Т р о ц к о г о (Harvard University, Houghton Library, Dept. of Manuscripts) фонд bMs Russ. 13, T-3815, папка 1, лист «Левые эсеры».

9. См.: Ю. Ф е л ь ш т и н с к и й. «Большевики и левые эсеры, октябрь 1917 – июль 1918», серия ИНРИ, т. 5, ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1985, гл. 8-9.

10. Об убийстве Эйхгорна подробнее см.: И. К а х о в с к а я. «Террористический акт против ген. Эйхгорна» в кн. «Летопись революции», кн. Первая, изд. З. И. Гржебина, Берлин – Петербург – Москва, 1923, стр. 215 – 225; «Казнь Бориса Донского», там же, стр. 225 – 227; И. К. К а х о в с к а я. «Дело Эйхгорна и Деникина», в кн. «Пути революции», изд. «Скифы», Берлин, 1923, стр. 191 – 220.

11. См.: Ю. Ф е л ь ш т и н с к и й. «Война Советов с крестьянством», газ. «Новое русское слово», 16, 17, 18 февраля 1984 г.

12. См. «Протоколы заседаний ВЦИК IV созыва», стр. 255 – 256; «Декреты советской власти», т. 2, Москва, 1959, стр. 261 – 266.

13. «Протоколы заседаний ВЦИК IV созыва», стр. 295.

14. «Труды I Всероссийского Съезда Советов Народного хозяйства, 26-го мая – 4 июня 1918 г. (Стенографический отчет)», Москва, 1918, стр. 9.

15. См. «Протоколы заседаний ВЦИК IV созыва», стр. 412.

16. См. *The Trotsky Papers, 1917 – 1922*, ed. by J. Meijer, v. 1, 1917 – 1919, The Hague, 1964, pp.466 – 469. Во время беседы с Троцким, предшествовавшей назначению Колегаева на этот пост, последний сказал: «Кедров меня слишком мало знает, если думает, что расправа с левыми эсерами была бы для меня затруднением» (там же, стр. 472).

Открытое письмо М. Спиридоновой Центральному Комитету партии большевиков

Я пришла к вам 6 июля для того, чтобы был у вас кто-нибудь из членов ЦК нашей партии, на ком вы могли бы сорвать злобу и кем могли бы компенсировать Германию (об этом я писала вам в письме от того же числа, переданном Аванесову в Большом театре).

Это были мои личные соображения, о которых я считала себя вправе говорить своему ЦК, предложив взять представительство на себя.

Я полагала, что мне удастся более, чем другим, загодить свою партию и тех «малых сих» – крестьян, рабочих, матросов и солдат, которые шли за ней.

Я была уверена, что, сгоряча расправившись со мною, вы испытали бы потом неприятные минуты, так как, что ни говори, а этот ваш акт был бы чудовищным, и вы, быть может, потом скорее опомнились и приобрели бы необходимое в то время хладнокровие.

Случайность ли, ваша ли воля или еще что, но вышло все не так, как я предлагала вам в письме от 6 июля. Пролитась невинная кровь Емельянова, Александровича и других, совсем уж «малых сих» (Емельянов до такой степени не участвовал ни в чем и ничего не знал, что был арестован Поповцами как член чрезвычайки и отведен в их штаб. Александрович в этот день только по Блюмкину догадался, что затевается акт против Мирбаха, и события завертели его раньше, чем он успел опомниться. Мы от него скрывали весь Мирбаховский акт, а другого ведь ничего и не готовилось. Он выполнял некоторые наши поручения, как партийный солдат, не зная их конспиративной сущности. О других расстрелянных и подавно нечего говорить). После этого смысл моего добровольного прихода к вам в моих глазах свелся почти к нулю. Все же, соблазняло использовать суд, как кафедру. Вы до того бесчестно клеветали на нас, до того вам хотелось обвинить нас в том, чего не было, до того неслыханно вопиющая и небывало подлая и гнусная была ваша травля нашей партии, при полном удушении нашей печати, что

нужно было, хотя бы и очень тяжелой ценой, ценой компромисса – участия в вашей лжи (признанием вашего суда), приобрести эту возможность гласной борьбы с вами.

Никогда еще в самом разложившемся парламенте, в продажной бульварной прессе и прочих махровых учреждениях буржуазного строя не доходила травля противника до такой непринужденности, до какой дошла ваша травля, исходящая от социалистов-интернационалистов, по отношению к вашим близким товарищам и соратникам, которые погрестили против лояльности к германскому империализму, а не к вам, и во всяком случае не погрестили в отношении революции и Интернационала.

После моего заявления Шейнкману и заявления ЦК о нашем стремлении изгнать все (не только германские) тайные штабы мировой контрреволюции из сердца и очага международной социалистической революции Советской России, после этого в Архангельских краях каким-то генералом были расстреляны наши Левые Социалисты-Революционеры, а в Украине из-за Мирбаха и Эйхгорна стали специально отыскивать Левых Социалистов-Революционеров и после пыток – убивать. И в то время, как наши Левые Социалисты-Революционеры умирали на чехословацком и других фронтах в рядах Советских войск, вырезывались ярославской и казанской белой гвардией, в то время, как каждый империалист уделял особое внимание преследованию нас, вы – интернационалисты – тоже беспощадно обрушивались на нас.

Многочисленные массы, идущие за Левыми Социалистами-Революционерами, лишились советских прав; советы и съезды разгонялись в каждой губернии десятками (Витебская, Смоленская, Воронежская, Курская, Могилевская, Нижегородская и проч. и проч.). Вся советская (а другой тогда еще и не было) крестьянская масса была раздавлена, загнана, затравлена и поставлена под начало военно-революционных комитетов, исполкомов (назначенных из большевиков-коммунистов) и чрезвычайек.

В чрезвычайках убивали Левых Социалистов-Революционеров (отчеты в «Известиях ЦИК» и «Еженедель-

нике» чрезвычайек) за отказ подписываться под решением пятого Съезда Советов; убивали просто за то, что они Левые Социалисты-Революционеры и «упорствовали» в этом, не отрекались (циркуляр Петровского об «упорствующих»); убивали, истязали, надругивались. В Котельничах, например, убили только за лево-эсерство двух наших товарищей – Махнева и Мисуно (члена крестьянской секции и ЦИК нескольких созывов, члена президиумов нескольких Всероссийских Крестьянских Советов). Мы гордились ими. Они были настоящими детьми теперешней народной революции, вышли из недр ее, выпрямлялись и работали так, что о Мисуно по всему краю, где он являлся, ходили легенды. Незаметные герои, на хребте которых мы с вами протащили всю Октябрьскую революцию. Мисуно дорого поплатился перед смертной казнью за свой отказ большевистским палачам рыть себе своими руками могилу. Махнев согласился рыть себе могилу на условии, что ему дадут говорить перед смертью. Он говорил. Его последние слова были: «Да здравствует мировая социалистическая революция». Тут ваши палачи прикончили его. И сколько их, погибших сейчас Мисуно и Махневых по Советской России, безвестных, безымянных, великих в своей стойкости и героизме.

Разгром нашей партии – это разгром советской революции. Вся дальнейшая история этих месяцев говорит об этом. А вы так и не поняли этого. Вы отупели до того, что всякие волнения в массах объясняете только агитацией или подстрекательством.

Вы перестали быть социалистами в анализе явлений, совершенно уподобляясь царскому правительству, которое тоже всюду искало агитаторов и их деятельностью объясняло все волнения. И вы так же правы, как оно. Вот что об агитаторах мне пишут крестьяне из всех губерний Советской России: «Ставили нас рядом, дорогая учительница (орфографию всюду исправляю), целую одну треть волости шеренгой и в присутствии других двух третей лупили кулаками справа налево, а лишь кто делал попытку улизнуть, того принимали в плети». (Реквизиционный отряд, руководимый большевиками из Совета.)

Или из другого письма: «По приближении отряда большевиков надевали все рубашки и даже женские кофты на себя, дабы предотвратить боль на теле, но красноармейцы так наловчились, что сразу две рубашки вшивались в тело мужика-труженика. Отмачивали потом в бане или просто в пруду, некоторые по несколько недель не ложились на спину. Взяли у нас все дочиста, у баб всю одежду и холсты, у мужиков – пиджаки, часы и обувь, а про хлеб нечего и говорить...»

Или из третьего письма: «Матушка наша, скажи, к кому же теперь пойти, у нас в селе все бедные и голодные, мы плохо сеяли – не было достаточно семян, у нас было три кулака, мы их давно ограбили, у нас нет «буржуазии», у нас надел $2/4 - 1/2$ на душу, прикупленной земли не было, а на нас наложена контрибуция и штраф, мы побили нашего большевика – комиссара, больно он нас обижал. Очень нас пороли, сказать тебе не можем, как. У кого был партийный билет от коммунистов, тех не секли. Кто теперь за нас заступится. Все сельское общество тебе земно кланяется».

Из четвертого: «Вязали нас и били, одного никак не могли усмирить, убили его, а он был без ума...»

Из этого же письма: «Оставили нам много листовок и брошюр, мы их пожгли, все один обман и лесть».

Из пятого письма: «В комитеты бедноты приказали набирать из большевиков, а у нас все большевики вышли все негодящиеся из солдат, отбившиеся, прямо скажем, хуже дерьма. Мы их выгнали. То-то слез было, как они из уезда Красную армию себе в подмогу звали. Кулаки-то откупились, а «крестьянам» спины все исполосовали и много увезено, в 4-х селах 2-3 человека убито, мужики там взяли большевиков в вилы, их за это постреляли».

Или шестое письмо: «Прошел слух в уезде, что ты нас обманываешь, сталкиваешься [столковываешься]* опять с большевиками, а они тебя за это выпускают. Нет, уж теперь не заманишь к ним. У нас в уезде их как ветром выдуло, убивать будем, сколько они у нас народу заму-

* В квадратных скобках – поправки публикатора, Ю. Фельштинского. – Р е д.

чили. Максим В... приехал, сказывал, что ты все в тюрьме. А ты, родименькая, духом не падай, знамя наше крестьянское держи крепче, замаливай за нас, голубушка, сиди твердо. У нас никого нет за «учредилку», будь покойна, мы все за левыми идем».

Или седьмое, от 15 июня письмо: «1) Григорий Кулаков – отобрано из последних двух пудов, один пуд. Семья 3 человека. 2) Сергей Агашин. Семья 7 человек. Отбрали 5 пудов муки, картофеля 7 пудов. Оставили по пуду того и другого. 3) Солдатка Марфа Степанова. Семья 6 человек. Отбрали всю муку – 3 пуда. 1½ пуда солоду, крупы 1½ пуда. 4) Исаак Харитонов. Семья 5 человек. Всю муку (купленную) увезли, 8 пуд. 5) Учительница Ульяна Степановна Ходякина. Взяли бесплатно гармонию. 6) Деревня Собакино. Трифон Мартянин: отбрали пиджачную пару. 7) Лаврентий Аголов. Семья 7 человек. Взяли 4 пуда и оставили на 2 месяца 3 пуда. 8) Деревня Ильинка. У Алексея Иванова. Отбрали серебряные часы, ружье пистонное. 9) У Ивана Артемова – медную трость. 10) Федот Зайцев. 8 человек семьи, взято из двух пудов овсяной муки – полтора пуда. Оставили ржаной 30 фунтов. 11) Деревня Телятово, стреляли по ребятишкам, бегущим в лес. Всего не перепишешь. Реквизиционный отряд большевиков при кулачной расправе; если лицо шибко раскровянится, то любезно просят выпить, потом бьют опять».

Или 8-е письмо: «Разгромили организацию Левых Социалистов-Революционеров, хотели поднять на штыки ребенка, только смелым вмешательством женщины, назвавшей его своим, удалось спасти. Берут платье, режут скот, бьют посуду, совершают по всему Каротоякскому уезду всякие неслыханные бесчинства. На конференции от семи волостей вынесли месяц назад резолюцию, что мы всё согласны отдать, все излишки хлеба, только бы не присылали отряды, а просто несколько человек за хлебом. Прибывший отряд занялся, вместо честной реквизиции, другим, в чем и подписываемся. (Подписи села Платова, Каротоякского уезда)»...

Из 9-го письма: «В комитеты бедноты идут кулаки и самое хулиганье. Катаются на наших лошадях, приказыв-

вают по очереди в каждой избе готовить обед, отбирают деньги, делят меж собой, и только маленький процент отсылают в Казань, приказали отнимать скот у мужиков. У кого в семье меньше 4-х человек, у тех последнюю корову отобрать. За овцу 15 руб. налог. Крестьяне режут скот. Через год разорение будет окончательное и непоправимое. Деревня без скота – гиблая».

Из 10-го письма: «Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили 9 пудов в год на человека. Прислали декрет оставить 7 пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами. Разорили вконец. Поднялись мы. Плохо в Юхновском уезде, побиты артиллерией. Горят села. Сравняли дома с землей. Мы все отдавали, хотели по-хорошему. Знали голод голодный. Себя не жалели. Левые Социалисты-Революционеры всё ходили и учили – не прячьте, отдавайте».

Или из одиннадцатого письма (от интеллигента): «Реквизиционные отряды, немецкая милиция и пр. начисто загнали трудовых мужиков. Творилось что-то невероятное. Грабили, били, *пороли*, насильничали, отбирали все. Всегда вооруженные, пьяные с пулеметами. При мне грабили баб, наведя на них пулеметы, на станции. Отбирали у них ягоды, сыр, сало. Лапали их... Один товарищ и я вмешались, нас чуть не расстреляли. Комиссара станции чуть не избили, пригрозив бумажкой, которая, как они кричали, дает им право «все, что угодно, делать». Бумажка была подписана Цурюпой и еще кем-то, чуть ли не самим Лениным. Отряд был из Москвы. Я не склонна очень обвинять рабочих (отряд был из рабочих-большевиков), до этого они реквизировали спирт, ну и нализались. Я знаю, что они же могут быть иными. Характерно, что они при всех этих безобразиях нечленораздельно ревели: „что!!! контрреволюцию завели... нет, шалишь... мы всех вас, кулаков... вооо как... к стенке... и готово“. Как видите, объективно, они революционны, только пьяны. Но все же, каково было нам – бабам, пассажирам, мужикам. Ведь они вертели во все стороны пулеметы, направляя на всех.

Мужики озлобились. Конечно, правые стали действовать. „Выступление“ стало психологически неиз-

бежным. Мужики бегали к нам и спрашивали, что им делать. Наши „левые“: „У нас“, говорили они, „есть оружие“, мы дальше не можем. Иначе крестьяне уйдут без нас все равно, и будет хуже им. Скажите, что нам было делать, что сказать. Сказать: „подождите“ или отойти, мы сказали: „защищайтесь“. И через несколько дней я читала в газете о „левоэсеровском выступлении кулаков“. Я знала, что оно будет подавлено, и крестьяне справедливости не найдут. *Все мы знали*, и мужики наши. Но что бы вы сказали: „Идите к Советам“ – но ведь от Советов это шло. Ведь у них документы от „самих“. Обратиться к „самим“. Но ведь Ленин сам в руках у „отрядов“. Что было делать. Теперь нам крах, террор и подавленность».

Или... Идет уездный съезд. Председатель, большевик, предлагает резолюцию. Крестьянин просит слова. – Зачем? – «Не согласен я». – С чем не согласен? – «А вот, говоришь, комитетам бедноты вся власть, не согласен: вся власть советам, и резолюция твоя неправильная. Нельзя ее голосовать». – Как... Да ведь это правительственной партии. – «Что ж, что правительственной». – Председатель вынимает револьвер, убивает наповал крестьянина, и заседание продолжается. Голосование было *единогласное*.

У нас зарегистрирована порка крестьян в нескольких губерниях, а количество расстрелов, убийств на свету, на сходах и в ночной тиши, без суда, в застенках, за «контрреволюционные» выступления, за «кулацкие» восстания, при которых села, до 15 тысяч человек, сплошь встают *стеной*, учесть невозможно. Приблизительные цифры перешли давно суммы жертв усмирений 1905-6 гг.

Кто агитатор, кто подстрекатель?! Отвечайте! Вы контрреволюционеры, худшие из худших белогвардейцев!!!

«Велели нам красноармейцы разойтись. А мы собрались думать, что нам делать, как спастись от разорения. Мы все по закону сполна отвезли на станцию. А они опять приехали. Велели со сходов уйти. Мы их честно стали просить оставить нас. Обед им сготовили, все несем, угощаем, что хотят берут, даем без денег, не жалуемся. А

они пообедали и начали нас всячески задирать. Одного красноармейца поколотили. Они нас пулеметом, огнем. Убитые повалились...

И вот пошли мужики потом. Шли все 6 волостей *стеной*, на протяжении 25 верст со всех сторон, с плачем всех жен, матерей, с причитаниями, с вилами, железными лопатами, топорами. Шли на совет». – Пишет левый с.-р., член Крестьянской Секции, избитый в этом «кулацком мятеже» до полусмерти крестьянами и потерявший сына, честного советского работника. «Он не издал ни одного звука, когда его мужики мучили, мужественно вынес пытку и умер под ней». – Отец не жалуется. Он, этот полуграмотный крестьянин, понимает, что мужики, замученные нуждой (он приводит цифры имущественного положения этого уезда – 41% безлошадных и т. д.), «бедные» и отчаянно голодавшие весь 1917-18 год, возмущенные оскорблением их законнейших запросов, *должны* были «восстать». Он понимает, что контрреволюцией является не это крестьянское восстание-самозащита, а действия, вызвавшие это восстание, и последовавшее жестокое усмирение.

«Не сделали бы такой пропаганды 1000 агитаторов-большевиков, как они сами ухитряются: теперь им к нам не показаться».

Кончаю цитировать, так как из ряда губерний однородные сообщения. Петроградская история с матросами – вопиющий по бессмысленной жестокости факт расправы с лояльным проявлением недовольства трудящихся. Как можно было так ослепнуть и впасть в такую шкурную панику, чтобы так расправляться с чистой революционной стихией, внезапно взмывшей? Как поднялась у вас рука на тех матросов, поддержкой которых больше всего мы завоевали Октябрьскую революцию? Как могли вы, кричавшие о Керенском, с его смертной казнью на фронте, здесь в тылу убивать без суда и следствия лучших сынов революции? Как не стыдно было вам убить Хаскелиса за то только, что он, по поручению законно существующей при Петроградском Совете фракции Левых Социалистов-Революционеров, *прочел* ее декларацию. Лживость инкриминируемого ему вашего

обвинения, будто при нем найдена резолюция собрания матросов, написанная его *собственной* рукой, доказывать нет нужды: у Хаскелиса, убитого вами, *не было обеих рук по плечи*, когда вы его взяли.

Этой крови вам не смыть, не отчиститься от нее даже во имя самых «высоких» лозунгов.

Вы, которые лицемерно кричите на весь мир в обращении к английским и французским рабочим, что даже пособников заговора англо-французского империализма, если случайно они окажутся рабочими, вы не задержите заложниками, не арестуете, показывая нежелание ваше нарушить неприкосновенность трудящихся, вы убиваете русских трудящихся сотнями, тысячами сразу (Смоленская губерния, Ливны, Вятская губерния, Пензенская и т. д.).

Что же, или кровь расстрелянного вами в Петрограде матроса Шашкова не такая же алая и не так же ли у него *только одна жизнь?*

Несмотря на все трудности жизни, масса, понимая окружающие опасности, умеет терпеть свои неслыханные тяготы. Но она революционна, она сознала свои права, она хочет самоуправления, она хочет власти советов. Лозунги «кулацких» восстаний (как вы их называете) *не вандейские*. Они революционны, социалистичны. Как смеете вы кроваво подавлять эти восстания, вместо удовлетворения законных требований трудящихся?! Вы убиваете крестьян и рабочих за их требования перевыборов советов, за их защиту себя от ужасающего, небывалого при царях произвола ваших застенков-чрезвычайек, за защиту себя от произвола большевиков-назначенцев, от обид и насилий реквизиционных отрядов, *за всякое проявление справедливого революционного недовольства*.

И не вина масс, что их требования сходны с нашими лозунгами. Все то, чему мы учили народ десятки лет и чему он кровавым опытом, кажется, научился – *не быть рабом и защищать себя*, вы как будто хотите искоренить из его души истязаниями и расстрелами.

Когда вы увидали, что наша партия жива, что мы не упали на колени и не подали прошения о помиловании, как все эти сутенеры из «Воли Труда» и «Народных Ком-

мунистов», когда вы увидели, что наши массы от нас не ушли, тогда вы начали давить нас всей силой вашего партийного государственного прессы.

Ваши прежние средства – ложь, клевета – перестают быть действительными. «Петроградская конференция Левых Социалистов-Революционеров, вместе с монархистами и правыми эсерами», как говорят «абсолютно проверенные» данные Зиновьевской чрезвычайки, это уже такая сильная доза даже не лжи, а безграмотного вранья, что уже никто не верит вашим известиям о Левых Социалистах-Революционерах. Из них берут только *факт защиты нами власти советов, которую вы уничтожили, власти трудящихся, с которой вы перестали считаться.*

У вас осталось одно средство – физическое истребление нас, и вы его начали применять, устраняя по пути торжествующей контрреволюции последнюю силу, на которую могли бы опереться, к которой могли бы кинуться разбитые, разочарованные массы.

И вот уже начались контрреволюционные лозунги, в волнениях уже поднимается учредилка, уже приходит этот ужас буржуазно-демократической республики, созданный исключительно вашими руками.

Никогда, никогда Россия, так счастливо ставшая в массовой психологии по пути к примитивам максимализма (а только они правы и логичны при глубочайшем революционном взрыве), никогда бы она не попала в объятия социал-предателей и реакции, если бы не ваша партия.

Ваша партия имела великие задания и начала она славно. Октябрьская революция, в которой мы шли с вами вместе, должна была кончиться победой, так как основания и лозунги ее объективно и субъективно необходимы в нашей исторической действительности, и они были дружно поддержаны всеми трудящимися массами.

Это была действительно революция трудящихся масс, и советская власть буквально покоилась в недрах ее. Она была нерушима, и *ничто*, никакие заговоры и восстания не могли ее поколебать. Правые эсеры и меньшевики были разбиты наголову не редкими репрессиями и стыдливым нажимом, а своей предыдущей соглашательской политикой. Массы действительно отвернулись от них.

Губернские и уездные съезды собирались стихийно, там не было ни разгонов, ни арестов, была свободная борьба мнений, спор партий, и результаты выборов обнаруживали всюду полное презрение масс к соглашательским партиям правых с.-р. и меньшевиков.

Они погасали в пустоте. Террор против них был излишен. И так было бы до сих пор, если бы был верен курс вашей политики, если бы вы не изменили принципам социализма и интернационализма.

Но ваша политика объективно оказалась каким-то сплошным надувательством трудящихся.

Вместо социализированной промышленности – государственный капитализм и капиталистическая государственность; принудительно эксплуатационный строй остается, с небольшой разницей насчет распределения прибыли – с небольшой, так как ваше многочисленное чиновничество в этом строю сожрет больше кучки буржуазии.

Вместо утвержденной при всеобщем ликовании 3-м съездом советов рабочих и крестьян социализации земли, вы устроили саботаж ее, и сейчас, развязав себе руки разрывом с нами, Левыми Социалистами-Революционерами, тайно и явно, обманом и насилием подсовываете крестьянству национализацию земли – то же государственное собственничество, что и в промышленности. Будто нарочно вы не позволяете крестьянам десятки тысяч десятин помещичьих имений брать в социализацию и сберегаете их «советскими имениями», целехонькими, чтобы в случае прихода реакции помещики вошли туда, как в Украине, на готовенькое.

Передвижение земли, трансформация ее, передел всего хозяйства и владение на местах, благодаря вашему саботажу закона о социализации земли и хитростям с социализацией, чрезвычайно затруднены, и это чревато горькими последствиями для крестьянства.

В вопросе о войне и мире вы приняли «решение» в подписании брестского мира, который, может быть, уже сделал-таки свое – задушил нашу революцию. И вы имеете еще поразительную смелость уверять народ, что ваше соглашательство с германским империализмом – «пере-

дышка» – дала нам богатые результаты. Что, что она нам дала?! Извратила нашу революцию и задержала на полгода германскую, ухудшила отношение к нам английских и французских рабочих, когда на западные фронты обрушились все освобожденные нами военные силы Германии, что унесло у них сотни тысяч жизней и создало почву и возможность для англо-французского правительства вмешаться в наши дела, с негласной нравственной санкцией рабочего народа в большинстве, при вялом протесте меньшинства. Брест отрезал нас от источников экономического питания, от нефти, угля, хлеба, а ведь от этого-то прежде всего и гибнет наша революция.

Брест – это предательство всей окраинной Украинской революции немецкому усмирению. Мы «передыхали» в голоде и холоде, внутренне разлагаясь, пока вырезывались финские рабочие, запарывались белорусские и украинские крестьяне и удушались Литва и Латвия. Принцип «передышки» довел разложение ваше до того, что вы, вместе с немецким военным командованием, усмиряли, как Скоропадский, восстающих белорусов (Сенненский уезд и вся пограничная полоса). И, главное, через Брест мы получили англо-французский фронт, получили весеннюю войну, грозную, неумолимо идущую на нас, со всеми ужасами новой военной техники – ураганного огня и танков, давящих людей тысячами, как козявок. Наша левоэсеровская попытка расторгнуть Брест была отчаянной попыткой апелляции нашего общего октября к революционному моменту истории, но вы безнадежно увязли в своей позорной зависимости от запугавшего вас германского империализма. Вы способны только апеллировать к материально-техническим моментам. Вы убивали быстро организованные огромные силы армии и революционный энтузиазм на защиту Севера. А Уральский фронт в период вашего мира – союза с Германией, был неприкрыто империалистическим и, воюя с англичанами, вы объективно воевали за германский империализм. Как не вилайте, но ведь это так.

Вовлеченные в орбиту германской империалистической политики, вы боролись все время с нами, тянувшими вас на юг, так как *по-нашему* только там, и вы те-

перь увидели сами, там было наше спасение октября, там узел решающего боя за социалистическую революцию. Но вы не могли этого уже понять. Выдача вами нашего золотого запаса Германии, из произведенной нами контрразведкой над Мирбахом обнаруженная ваша тайная дипломатия, ваши унижения, замазывания, укрывательства всей грязи и контрреволюционного германского посольства, в чем теперь немного сознаетесь (Петроград, ящик с маузерами), все это – этапы вашего соглашательства. Теперь вы рекомендуете кильским матросам и Либкнехту левозсеровскую тактику отказа от Бреста. Зачем же вы сами ползали на брюхе перед германским империализмом, клеймя теперь выдачу Шейдеманом германского флота, расписываясь этим в предательстве своего черноморского. Левые Социалисты-Революционеры для торжества Интернациональной революции шли на риск огромных национальных жертв, и они имеют право звать на этот же подвиг и Германию. Но причем тут вы, поступившие так же, как соглашатель Шейдеман, и теперь, во имя своих национальных интересов, требующие от Германии ее национальных жертв.

Ваша армия, конструкция ее, система управления Троцкого, не только введшим [введшего], как Керенский, смертную казнь на фронте, но и осуществляющим [осуществляющего] ее в ужасных размерах (чего Керенский не успел и попробовать), старая механическая дисциплина в армии, дисциплинарные взыскания, вплоть до порки солдат социалистической армии, естественно растущая ненависть к верхам и Троцкому, что это все, как не возврат к Николаевским временам, как не подготовка своими руками старой армии, что, в свою очередь, обещет легкий путь к диктатуре над ней учредиловцев и всяких доморощенных Бонапартов? Вы делаете из армии механическую силу, которая должна заменить массы в борьбе с контрреволюцией, но армия-то набирается ведь из масс, *оттолкнутых вами от революции.*

Своим циничным отношением к власти советов, своими белогвардейскими разгонами съездов и советов и безнаказанным произволом назначенцев-большевиков вы поставили себя в лагерь мятежников против советской

власти, единственных по силе в России. Власть советов – это при всей своей хаотичности *большая и лучшая выборность*, чем вся Учредилка, Думы и Земства. Власть советов – аппарат самоуправления трудящихся масс, чутко отражающий их волю, настроения и нужды. И когда каждая фабрика, каждый завод и село имели право через перевыборы своего советского делегата влиять на работу государственного аппарата и защищать себя в общем и частном смысле, то это действительно было самоуправлением. Всякий произвол и насилие, всякие грехи, естественные при первых попытках массы управлять и управляться, легко излечимы, так как принцип неограниченной никаким временем выборности и *власти населения над своим избранником* даст возможность исправить своего делегата радикально, заменив его честнейшим и лучшим, известным по всему селу и заводу. И когда трудовой народ колотит советского своего делегата за обман и воровство, так этому делегату и надо, хотя бы он был и большевик, и то, что в защиту таких негодяев вы посылаете на деревню артиллерию, руководясь буржуазным понятием об авторитете власти, доказывает, что вы или не понимаете принципа власти трудящихся, или не признаете его. И когда мужик разгоняет или убивает насильников-назначенцев – это-то и есть красный террор, народная самозащита от нарушения их прав, от гнета и насилия. И если масса данного села или фабрики посылает правого социалиста, пусть посылает – это ее право, а наша беда, что мы не сумели заслужить ее доверия. Для того, чтобы советская власть была барометрична, чутка и спаяна с народом, нужна беспредельная свобода выборов, игра стихий народных, и тогда-то и родится творчество, новая жизнь, новое устройство и борьба. И только тогда массы будут чувствовать, что все происходящее – их дело, а не чужое. Что она сама [масса] творец своей судьбы, а не кто-то ее опекает и благодотворит, и адвокатит за нее, как в Учредилке и других парламентарных учреждениях, и только тогда она будет способна к безграничному подвигу. Поэтому мы боролись с вами, когда вы выгоняли правых социалистов из советов и ЦИК. Советы не только боевая политико-экономическая организация

трудящихся, она и определенная платформа. Платформа уничтожения всех основ буржуазно-крепостнического строя, и если бы правые делегаты пытались его сохранить или защищать в советах, сама природа данной организации сломала бы их, или народ выбросил бы их сам, а не ваши чрезвычайки, как предателей его интересов.

Программа октябрьской революции, как она схематически наметилась в сознании трудящихся, жива в их душах до сих пор, и масса не изменяет себе, а *ей изменяют*. Неуважение к избранию трудящимися своих делегатов и советских работников, обнаруживаемое грубейшим пулеметным произволом, который был и до июльской реакции, когда вы уже часто репетировали разгоны съездов советов, видя наше усиление, – даст богатые плоды правым партиям. Вы настолько приучили народ к несправии, создали такие навыки безропотного подчинения всяким налетам, что авксентьевская американская красновская диктатура могут пройти, как по маслу. Вместо свободного, переливающегося, как свет, как воздух, творчества народного, через смену, борьбу в советах и на съездах, у вас – назначенцы, пристава́ и жандармы из коммунистической партии.

О, какие вы злостные, злостные предатели коммунистической революции!

Ну, как, как теперь приходиться к трудящимся с проповедью классовой власти?! Они спросят: «какого класса?» Ваши проделки с крестьянством, с комитетами бедноты... Теперь вы приняли в этой области на словах все наше, на чем мы и [всю] жизнь настаивали, но ведь пять месяцев вы мучили мужиков, пока не отказались от этих своих затей создать из преданных вам, закупленных пятидесятью процентами отнятого хлеба, кучек вашего класса, на всю крестьянскую Россию, что-то вроде корпуса жандармов. Рабоче-крестьянское правительство гарантирует себе подчинение, беря от них подписку-присягу. Какое злое извращение классовой власти!

Ваши политические локауты рабочих становятся системой. За что вы распускали курские ж.-д. мастерские, упорно выбирающие меня своим советским делегатом?

А ваше потакательство корыстности и продажности и карьеризму, § 16-й*, эти карточки на обувь, калоши, теплые квартиры и проч. и проч., выдаваемые в первую очередь большевикам, беззастенчивое печатание об этом в «Правде» и «Известиях ЦИК»... («Очищается дом такой-то, в первую очередь помещаются рабочие-коммунисты».)

Это выселение рабочего-меньшевика и вселение рабочего-большевика на жилое место, это ли означает классовую власть?

Увольнение многосемейного рабочего, левого с.-р. и прием на его место холостого коммуниста... Эти расстрелы рабочих, и порки, и убийства крестьян и солдат, это ли означает классовую власть? «Если мы пошлем в совет честного мужика, сочувствующего Левым Социалистам-Революционерам, то у нас ни ссуды на инвентарь, ни обсеменения; мы всегда посылаем в совет большевика, хотя мы им все «моргуем» (презираем, буквально: «брезгуем»), – пишет крестьянин, – через большевика что-нибудь все-таки достанем от исполкома».

Такая подмена интересов трудящихся интересами тех, кто согласен голосовать за вашу партию, создание какого-то римского плебса, ведет, конечно, к разложению живых творческих сил революции. Массы-то все видят, все понимают, лучше нас видят, и никогда еще все общественные силы не были так истощены, никогда не господствовал в такой степени мещанский эгоизм, самоспасение, дух корыстной наживы, спекуляции, обходы законов, ограждающих личность и задерживающих эксплуатацию одного человека другим, как сейчас, при вашем партийном сектантстве. Понятие классовой борьбы, этой философско-исторической доктрины, вы подменили не только марксистским понятием, только борьбы двух экономических категорий, а подменили понятием борьбы просто волчьей.

Рабочие идут на крестьян, чтобы не умереть с голоду, отнимая у них последние куски хлеба; так как территория нашего теперешнего социалистического оазиса никогда

* По § 16-му записываются «сочувствующие коммунисты». – Ю. Ф.

не была хлебной житницей, и решение продовольственного вопроса, при наличии всех пагубных следствий войны, внутри острова невозможно, о чем Левые Социалисты-Революционеры говорили достаточно громко. Посеяна огромная рознь между родными братьями – земледельцами и заводскими, и не скоро она уйдет.

Классовая борьба в национальном масштабе – утопия, господа брестские националисты, она мыслима только в интернациональном масштабе; а при спасении себя, при своеобразном социалистическом шовинизме, классовая борьба вырождается, как выродилась у вас.

Посеяна междунациональная рознь проведением продовольственной диктатуры через немецкую милицию. Отряды немецких военнопленных (интернационалистов, прибавляете вы) действовали наряду с другими реквизиционными отрядами. Я знаю о Пензенской губернии.

В Пензенской губернии пороли крестьян, расстреливали, и все, что полагается, они приняли в положенной форме и установленном порядке. Сначала их реквизировали, пороли и расстреливали, потом они стали стеной (кулацкое восстание – говорили вы), потом их усмиряли, опять пороли и расстреливали. Наши Левые Социалисты-Революционеры разговаривали с десятками этих, поровших крестьян, «интернационалистов». С каким презрением говорили они о глупости русского мужика и о том, что ему нужна палка; и какой дикий шовинизм вызвали эти отряды «интернационалистов» в деревнях – передать трудно. История с «комбедами» еще долго не изживется.

И нам ли учить вас, что не только фактор политический, да еще сведшийся уже только к голому принуждению, насилию, создает расслоение класса. Процесс расслоения имеет свою хозяйственную, свою культурную, свою политически-правовую основу.

Только так понимая принцип расслоения, действовала всю зиму и весну Крестьянская секция, через своих агитаторов и членов, и результаты были сплошь положительные.

Борьба с кулаками и экономическое обезвреживание их давали средства культурно-хозяйственного устройства

целых уездов. Ведь ваша партия, давая на один день октябрьских торжеств 25 миллионов, мне же на организации политико-социального просвещения крестьянства за все 8 месяцев вместо нужных сотен миллионов дала только 3 миллиона, и оно вынуждено было устраиваться само в своих селах и деревнях, без помощи государства.

Вся ваша зверская, грубая политика по отношению к крестьянству, особенно развернувшаяся, когда мы стали тюремной, чрезвычайной клиентурой – *это политика подлинной контрреволюции*. А ваша полиция!.. Это сколок старых городских с околоточными и избиением даже детей-воришек.

А ваша чрезвычайка!.. Именем пролетариата, именем крестьянства вы свели к нулю все моральные завоевания нашей революции. Когда в вашей собственной среде раздавалось робкое пиканье, осмеливающееся возразить против ее разгула и пробующее добиться неприкосновенности личности хотя бы для членов комитетов коммунистической партии и членов ЦИК, то вы стали доказывать, что в чрезвычайках нет сомнительных элементов – все сплошь коммунисты, тем хуже для вас и для чрезвычайцак. Мы знаем про них, про ВЧК, про губернские и уездные чрезвычайки вопиющие, неслыханно вопиющие факты. Факты надругательства над душой и телом человека, истязаний, обманов, всепожирающей взятки, голого грабежа и убийств, убийств без счета, без расследований, по одному слову, доносу, оговору, ничему не доказанному, никем не подтвержденному. Именем рабочего класса творятся неслыханные дерзости над теми же рабочими и крестьянами, матросами и запуганным обывателем, так как *настоящие*-то враги рабочего класса чрезвычайке попадают очень *редко*. Ваши контрреволюционные заговоры, кому бы они могли быть страшны, *если бы вы сами так жутко не породнились с контрреволюцией*. Когда советская власть из большевиков, Левых Социалистов-Революционеров и других партий покоилась в недрах народных, Дзержинский за все время расстрелял только несколько невероятных грабителей и убийц, и с каким мертвенным лицом, с какой мукой колебанья. А когда советская власть стала не советской, а только боль-

шевистской, когда всё уже и уже становилась ее социальная база, ее политической влияние, то понадобилась усиленная бдительная охрана латышей Ленину, как раньше из казаков царю, или султану из янчар. Понадобился так называемый красный террор. Те самые люди, которые за безмерное страдание всего народа и нас, социалистов, из политических соображений не поднимали руку на Николай Романов и прочих царей и подцарей, и распустили их по всем украинам, кырмам и заграницам, и подняли руку на Николая только по настоянию революционеров, те самые люди, сразу утерев всякое соображение из-за поранения левого предплечья Ленина, убили тысячи людей. Убили в истерике (сами признают), без суда и следствия, без справок, без подобия какого-либо юридического, не говоря уже нравственного, смысла. Да, Ленин спасен, в другой раз ничья одинокая, фанатичная рука не поднимется на него. Но именно тогда отлетал последний живой дух от революции, возглавляемой большевиками. Она еще не умерла, но она уже *не ваша, не вами творима*. Вы теперь только ее гасители. И лучше было бы Ленину тревожней жить, но сберечь этот дух живой. И неужели, неужели Вы, Владимир Ильич, с Вашим огромным умом и личной безэгоистичностью и добротой, не могли догадаться и не убивать Каплан. Как это было бы не только красиво и благородно и не по царскому шаблону, как это было бы *нужно* нашей революции в это время нашей всеобщей оголтелости, остервенения, когда раздается только щелканье зубами, вой боли, злобы или страха и... ни одного звука, ни одного аккорда любви.

Когда были первые единичные случаи расстрелов в чрезвычайках, Дзержинский ломал голову над решением задачи, как оградить Питер, потом Москву от диких грабежей и не быть палачом, убегал мертвенно бледный Александрович, умоляя взять его из чрезвычайки сегодня, сейчас.

Пил запоем матрос Емельянов, говоря: «убейте меня, начал пить, не могу, там убийства, увольте меня из чрезвычайки, я не могу»... Вот обстановка первых попыток террористических действий. Так как Левые Социалисты-Революционеры в чрезвычайной «тройке» голосо-

вали против расстрелов, то им было предложено уйти оттуда; так и было сделано.

Но, как и во французском терроре трудно было только начало, так и в России то, во что развернулась большевистская чрезвычайка, превзошло все бывшие у нас опасения.

Эти ночные убийства связанных, безоружных, обезвреженных людей, втихомолку, в затылок из нагана на Ходынке, с зарыванием, тут же ограбленного (часто донага) трупа, не всегда добитого, стонущего на этой же Ходынке, в одной яме [для] многих, не могут называться террором. Какой это террор!..

С этим словом связано на протяжении русской революционной истории не только понятие возмездия или устрашения – это в нем последнее дело – и не только желание или необходимость физического устранения какого-нибудь народного палача. Первым и *определяющим* его элементом является элемент протеста против гнета и насилия и элемент (путем психиатрического давления на впечатлительность) пробуждения чести и достоинства в душе затоптанных трудящихся и совести в душе тех, кто молчит, глядя на эту затоптанность. Это средство агитации и пропаганды действием, наглядное обучение масс. *Так именно, не боясь никаких последствий, бестрепетно и гордо бить по своему врагу.*

Акт над германским послом Мирбахом в Советской России и германским генералом Эйхгорном на Украине имели прежде всего это предназначение.

И почти неразрывно с террором связана жертва жизнью, свободой и пр. для нападающей страны. И, кажется, только в этом и есть оправдание террористического акта.

Где все эти элементы в чрезвычайках?! Переписка в газетах идеологов чрезвычайка свидетельствует о невероятном умственном и нравственном их убожестве; страстность же защиты полной своей самостоятельности чревата самыми интересными осложнениями для самой вашей коммунистической партии. Вы скоро окажетесь в руках вашей чрезвычайки, вы, пожалуй, уже в ее руках. Туда вам и дорога. Но, бешено защищая себя через этот

орган, *себя*, а не рабочий класс, не смейте говорить при этом от имени пролетариата и крестьянства, от имени которого вы скоро будете иметь столько же права говорить, как Авксентьев или Скоропадский. Революция, хотя вы и выдаете мандаты на участие в ней подобно мандатам на получение калош, не может быть вашей монополией, она пошла [слово неразборчиво] и помимо вас. И если еще сможет осилить вашу и психологическую в себе из-за *вас* реакцию, она найдет свои способы самозащиты и очистит запачканные вами и правыми социалистами социалистические знамена. Сама сущность восстания масс предрешает в себе самой совершенно иные законы борьбы, чем те, что вы ей подсунули. Пользование робеспьеровскими фразами из времен французской революции, бывшей полтора-два года тому назад, в совершенно иной обстановке – не аргумент и не оправдание, но Робеспьер так же подкосил и жестоко повредил своим террором французской революции, как вы – русской. А как за эту своеобразно понимаемую диктатуру будет расплачиваться своей жизнью и честью не вы, а пролетариат и крестьянство, воображение отказывается представить. Если временно победит Учредилка и начнется террор социал-предателей и буржуазии, что, что, кроме мольбы о пощаде, может противопоставить давящей силе реакции разбитый и связанный пролетариат? К чему, к каким абсолютам, к каким идеям морали и человечности может он апеллировать; ему скажут те же мстительные, шкурнохамские, торжествующие слова, которые говорите вы – вы, а не пролетариат, в ваших газетах и на митингах, когда берет ваша физическая сила. И при временном (потому что революция все же победит) торжестве своем враги трудящихся вернут пролетариату всё сторицею, беря санкцию на это не только из своей жестокости, но и из ваших примеров, все вернут в сгущенном и усиленном размере, и то, что вы расстреливали 150 человек за *одного* члена чрезвычайки, и прочие ваши подвиги «морального дерзания».

Рабочий класс до сих пор творил свою революцию под чистым красным знаменем от его *собственной* крови, и в этом был великий моральный авторитет его револю-

ции, неугасаемая светоносность его борьбы и страданий за свои лучшие идеи человечества. Сама революция, взятая вне ее временных текущих изменений, в существе своем есть великое светлое преобразование жизни, очищение, подъем, освящение ее.

Рабочий класс должен запретить вам спекулировать его именем, прикрывая великим, святым понятием диктатуры пролетариата эти мастерства красного цеха. Рабочий класс и крестьянство должны сказать свое слово: «Долой Чрезвычайки» – и они не только скажут, они разгромят их. Социализм должен осуществиться, так как этого требуют интересы огромного большинства трудящихся, так как капиталистическое развитие подготовило почву и укрепило класс, непосредственно заинтересованный в социализме, – он *должен быть*, как неизбежный результат всей теперешней исторической катастрофы. Это научное основание социалистической веры не может быть поколебимо никакими неудачами, но она имеет и идеалистические, иррациональные корни. Вера в социализм есть вместе с тем вера в лучшее будущее человечества, в добро, правду и красоту, в прекращение всех форм гнета и насилия, в осуществление братства и равенства на земле.

И вот, *по этой* вере, как никогда еще не бывало, ярко разгоревшейся огненным светочем в душе народа, вы ударили в корень, будто плюнули в детскую душу.

Что, что сделали вы с нашей великой революцией, освященной такими невероятными страданиями трудящихся?!!

Я спрашиваю вас, я спрашиваю...

Что сделали вы с той безграничной верой трудящихся в вас, которой вы, в союзе с нами, счастливо обладали в такой мере, как, кажется, ни одно правительство на свете. Вспомните 3-й съезд советов, после казавшегося нам рискованным разгона учредительного собрания. Трудящиеся отбросили жалкие опыты парламентаризма с величайшим спокойствием верующего. Они отделились нам, как дитя – матери.

Среди вас есть крупные дарования и рядовые работники светлой убежденности и идейности, и все же, вы

устроили что-то вроде единственной в мире провокации над психологией масс, сделали ядовитую прививку в громадном масштабе, во имя идеи социализма – прививку отвращения, недоверия и ужаса перед этим социализмом-коммунизмом. За тот кусочек правды, что вы показали народу и помогли осуществить, вы превысили свое значение, потребовали себе, как великий инквизитор, полного господства над душой и телом трудящихся. А когда они стали сбрасывать вас, вы сдавили их застенками для борьбы с «контрреволюцией».

Но ведь до сих пор еще в ваших руках множество средств усмирения недовольства трудящихся. Единая трудовая школа, социализация домов, национализация торговли, каждая из этих реформ – грандиозный фактор в социальной жизни, продолжение октября. Трудовые массы почти никогда не бывают контрреволюционны. Они только бывают голодны или обижены. И сейчас они сумели бы героически голодать и холодать, и терпеть еще большие ужасы империалистической и белогвардейской блокады, дотягивая до более светлых дней, если бы и иррациональные корни их движения брались в учет.

Особенно это чувствовалось после октября. Сокрушительные выступления рискованных народных стихий ломали все преграды государственности, в освободительном движении трудящихся действительно слышались «голоса» почти из наличного «древнего хаоса», вскрывались, как и во всем мире скрываются, подземные родники, в огне восстания обнажались глубокие истоки народной психологии, искания удовлетворения не только брюха, на чем вы все строите, своеобразные метафизические абсолютисты. И, как всегда в эпохи катастрофических переворотов и напряженности мирового страдания, начинают действовать самые глубокие и основные тенденции исторических процессов, а они (быть может, и вы теперь это увидели) не покрываются формулой вашего экономического материализма.

Поистине, у нас началось новое рождение человечества, в силе и свободе. *И трудящиеся будут и хотя терпеть все муки брюха, отстаивая правду, доживая [до] ее засияния.* Перед нами открылись беспредельные возмож-

ности, свет которых не могли обтускнить ни вспышки красного террора, исходящие от самих трудящихся, ни темные стороны их погромных проявлений. И, конечно, в этот пафос освобождения, в этот энтузиазм нашей революционной эпохи, нельзя было вносить ваш догматизм, диктаторский централизм, недоверие к творчеству масс, фанатичную узкую партийность, *самовлюбленное отмежевание от всего мозга страны*, нельзя было вносить вместо любви и уважения к массам только демагогию, и главное, нельзя было вносить в это великое и граничащее с чудом движение психологию эмигрантов, а не творцов нового мира.

Наша партия была с вами в блоке-союзе и шла вместе с октября до тех пор, пока вы были в союзе с заветами октябрьской революции и трудящимися. А когда начался у вас новый курс политики внешней и внутренней, партия наша все дальше отходила от вас. Вы не должны говорить об обмане и вероломстве. Наш партийный центр был вне всякой связи с вами уже с марта месяца, после Бреста. Единственным связующим звеном была я, но и я, уходя от вас позже других, сказала некоторым вашим совершенно определенно, что я теперь не с вами, я за крестьянство поднимаю бой.

Но шестое июля не было против вас, вы это так же хорошо знаете, как и мы, оно было последовательным проведением занятой партией позиции, вытекающей из всей тактики партии и учения ее о праве революционного меньшинства. Вашей, позорящей вас, ошибкой является смешение небольшого опыта восстания против германского империализма с якобы нашим намерением свергнуть вас... Излишнее отождествление себя с германским посольством.

Уйдя от вас, партия еще больше и глубже спаялась с революцией и трудящимися, а когда началась дикая правительственная реакция в июле, то партия почти растворилась в массах.

В промежутке между каторгой и вашей тюрьмой я собирала (особенно с октября прошлого года) данные партийного состава крестьянства. В Крестьянскую Сек-

цию ежедневно ко мне приходило 30, 40, 50 человек крестьян, я собирала сведения, кроме них, также по всем своим фракциям Всероссийских Съездов Советов, по всем фракциям и большевиков и Левых Социалистов-Революционеров Всероссийских Крестьянских Съездов. И я отметила, что крестьяне – левые эсеры экономически несравненно обездоленнее вашего крестьянства. Все кулаки и подкулаки назывались большевиками. Это и понятно, сила тянет к силе или пристраивается возле нее. А за левыми эсерами, кроме совсем бедных и средних, сплошь идут все сектанты, целыми селами. Так, из Воронежской губернии, из Тверской, из Ставропольской, Кубанской области, Кавказа и т. д. Это глубоко симптоматичный факт.

Все реальное содержание истории и социальных переворотов человечества составляет борьбу за свободу Человеческой Личности; и недаром те из народа, кто крестным путем отстаивал свободу своей совести и личности, являются активными участниками теперешней революции и идут именно *за нашей партией*.

Эту партию вы думаете убить всеми вашими способами и рассчитываете успеть в этом. Только за то, что мы иначе мыслим, что отвергаем принудительный набор масс в коммунистическую партию и отстаиваем *их право на инакомыслие*, только за это вы не даете нам работать для революции, арестовываете говорящих с трудящимися наших ораторов (даже в октябрьские торжества), избиваете и пытаете в Смоленской и пограничных чрезвычайках, где большевики работают в сотрудничестве *с немецкими и скоропадскими шпионами*. (А вы покрываете это, отказываясь взять от нас об этом сведения и доказательства, когда мы, несмотря ни на что, все же приходим к вам с ними.)

Пусть идет контрреволюция, пусть блокада сомкнет свое кольцо, пусть приходит Краснов и Авксентьев, что вам до этого. Вы будете сводить партийные счета, будете суживать и суживать «своих», будете искать все более благонадежных «в вашем смысле» и уничтожать все независимое от вашего морального отупения, но кровно сли-

тое и спаянное с интересами социалистической революции и трудящихся. На радость контрреволюционной сволочи, вы последнюю энергию отдаете на нас, а не на нее. Вот сейчас вы разоружаете, на глазах организовавшейся и выступившей белой гвардии в Луге, партизанский отряд Лево-Эсеровских крестьян в Великих Луках и предаете их, таким образом, в руки помещичье-буржуазной своры.

Вот сейчас вы, быть может, совсем накануне тяжелых или, наоборот, умопомрачительно радостных событий на Востоке, Западе, Севере, Юге, Англии, Франции и т. д., в порядке дня поставили вопрос о суде над ЦК партии Левых Социалистов-Революционеров и надо мною.

Теперь я не хочу его даже и для кафедры.

За это время вы развернулись в полной силе и отчетливости. Суда вашей партии над своею и над собою я не признаю. Если нужно нам судиться, то должен судить нас Третий Интернационал и история, и теперь уже не сомневаться, кто тогда будет обвиняем, кто осужден, кто оправдан.

Ваш суд составлен из партийных людей. Он должен во имя партийной дисциплины подтвердить то, что было уже решено вашей партией еще в июле. В течение этих месяцев с нашей партией во исполнение этого решения расправлялись, применяя все, вплоть до смертной казни, за «мятеж», за «заговор», за «позицию ЦК», за отказ отречься от нее, *хотя судом не было еще установлено, был ли этот мятеж и заговор и в чем именно состоит эта позиция, за которую нашим Мисуно приказывают рыть себе могилу перед смертью.* Если революционный трибунал установит в этой «позиции ЦК» отсутствие мятежа и заговора о свержении вас, то он же этим выносит осуждение своему ЦК. Скорее реки потекут вспять, чем это может случиться.

Мы-то знаем хорошо, что вы можете сделать во имя партийной дисциплины. Мы знаем, что у вас все дозволено во имя ее. Партийная дисциплина позволила нас осудить и держать на положении вне закона. Позволены тайные убийства нас, так, одного нашего Левого Социали-

ста-Революционера, видного работника, подстерегает один ваш агент ВЧК; ему дано разрешение не арестовывать, а просто «убрать». Мне только намекали, через Устинова, что если меня выпустят, то меня же может расстрелять чрезвычайка, и зондировали, не соглашусь ли я отказаться от политической деятельности.

Чудовищно, но факт.

Позволена провокация. Александрович, незадолго до своей казни вами, провалил всеми мобилизованными голосами Левых Эсеров поставленный вопрос о провокации у правых эсеров и меньшевиков. Без нас, конечно, у вас этот позор, несмываемый позор советской России, введен в употребление. Стоит ли говорить еще, *на что* вы способны, подчиняясь мертвой дисциплине.

Нечего, конечно, сомневаться в дисциплинированности большевиков, революционного трибунала, вопреки всякой логике, истине и доказательствам.

Должно прийти время и, быть может, оно не за горами, когда в вашей партии поднимется протест против удушающей живой дух революции и вашей партии политики. Должны прийти идейные массовики, в духе которых свежи заветы нашей социалистической революции, должна быть борьба внутри партии, как было у нас с эсерами правыми и центра, должен быть взрыв и свержение заправил, разложившихся, зарвавшихся в своей бесконтрольной власти, властвовании; должно быть очищение, и пересмотр, и подъем. Должно быть возрождение партии большевиков, отказ от губительных теперешних форм и смысла царистско-буржуазной политики, должен быть возврат к власти советов, к Октябрю.

И я знаю, с такой партией большевиков мы опять безоговорочно и беззаветно пойдём рядом рука об руку. А сейчас лучше убивайте нас и держите в тюрьмах, чем иметь наш штемпель и подпись под директивами расстрела крестьян и рабочих и разгрома всех деревень до основания. Судите и карайте, как судите и караете десятки тысяч трудящихся.

Ваш суд над нашей партией символичен. Он логически доводит близко к концу то разложение, до которого

дошла партия большевиков. Ведь только фракционной извращенностью и дисциплинированностью членов партии можно объяснить, что вы сами это дело не снимаете, а все-таки довели его до фикции суда, наложения штемпеля на все проделанное с нами за эти 5 месяцев.

А так как у вас не было и не будет оснований отречься от сделанного и так как *я-то знаю*, что (независимо от того, хорошо это или дурно) мы не свергали в июле большевиков и что наше намерение было только – террористический акт международного значения, акт протеста на весь мир против удушения нашей революции, так как *я-то знаю*, что был не мятеж, а самозащита, наполовину стихийная, от расправы ослепших от гнева за Мирбаха большевиков, что было только вооруженное сопротивление революционеров при правительственном аресте, и так как ваш партийно-дисциплинированный суд *должен всему этому не поверить*, то для чего же мне участвовать в затеваемой вами судебной комедии? Для чего своим участием в ней санкционировать право вашей партии судить и наказывать нас, санкционировать шарлатанскую имитацию вашего Шемякина суда под суд народной совести и чести, чем должен был бы быть революционный трибунал.

Кодексом Советских Законов случаев террора против агента империализма не предусматривается. По смыслу вашей революции и должен был бы разрешить [быть разрешен] такой террор. По смыслу нашей революции выходит, что если на тебя нападает *кто бы то ни было* и берет тебя за горло, то, если ты не овца и не слякоть, – защищайся – защищай свою жизнь и свободу, жизнь и свободу своих товарищей.

И в этом отношении революционный суд теперешней эпохи, переоценивающей все буржуазно-государственно-правовые ценности, должен был бы разрешить наше революционное, вооруженное сопротивление вашему ЦК в лице Ладжинского, заявившего нам: «за голову Мирбаха, расстреливались [расстреливался] ЦК [партии левых эсеров]».

Духом революции, над которым вы уже не хозяева, мы вряд ли были бы посажены на скамью подсудимых.

Обвинение ЦК Левых Социалистов-Революционеров в попытке вовлечения [вовлечения] в войну [с Германией] путем акта – не основательно. Акт является первым случаем в целой серии такого рода выступлений, началом острой кампании, долженствующей привести к поставленной партией [левых эсеров задачи], при расторжении Брестского договора.

Какую бы возможность вы ни нашли поставить меня под ваш суд, все равно – заставить меня участвовать в нем вы не сможете, даже ваша Чрезвычайка окажется здесь бессильной. Слишком долго я была на самом дне жизни, слишком сильно всеми помыслами и сердцем люблю революцию, чтобы бояться каких-либо испытаний и смерти: «на прицел», под который пять, шесть раз брала меня здесь в Кремле ваша стража, для ради забавы. И только убийством вы можете меня изъять из революции, меня и агитацию. *Она наша, и мы ее.* Как у евреев нет другого дома, кроме того, где они родились, где они живут и работают, так и у нас вне социалистической революции нет места. И как евреев заплевывали, преследовали, так делаете вы с нами. И как может [могут] иногда запутываться чувства их бытия и достоинства и их прав от утомления и гонений, так было в июле со многими из нашей партии. Но как, в то же время, в душах евреев подготовилась «будущность человечества», так и в нашей партии зреет сила революционно-социалистического возрождения.

Наша партия Левых Социалистов-Революционеров интернационалистов единственно последовательная и стойкая интернационалистическая партия. Партия крестьян и рабочих, партия власти советов, свободно выбранных трудящимися. Партия непримиримой борьбы с богачами и угнетателями всех стран, партия, не запятнавшая себя соглашательством ни с какой буржуазией, ни с каким империализмом, не загрязнившая своих рук использованием старого аппарата сыска и насилия буржуазной государственности, партия светлой, могучей веры в социализм и Интернационал, имеет огромное будущее.

Истребить ее невозможно ни вам, ни временной реакции, так как и она, и ее идеи живут в массах, коренятся в глубинах их психологии, и революционное мировое возрождение всего человечества неминуемо произойдет под знаком ее Идеи, Идеи освобождения Человеческой Личности.

М. Спиридонова

Кремль.
1918. Ноября.



Низкие истины демократии

Опыт вынужденного понимания

1. Об этических основах демократии

Термин «буржуазная демократия» существует не только в словаре большевиков: есть определенный поворот сознания, некая духовная установка, которые готовы снижать оценку демократии, жестко связывая ее с пресловутой «буржуазностью»: буржуазность и понимается здесь как понижающая характеристика. Но под буржуазностью имеют в виду не т. н. «капиталистический способ производства» – вряд ли сейчас даже в коммунистическом лагере есть старожилы, которые бы отрицали всем очевидные и опытом подтвержденные преимущества капиталистической, частнособственнической экономики, – под буржуазностью здесь понимают особый духовный тип, особое моральное настроение, характеризующееся такими чертами, как расчетливость, душевная сухость, ослабленность неформальных человеческих связей. Демократия воспринимается при этом как естественная для такого сорта людей система общественной организации – то ли ими порожденная, то ли, наоборот, их порождающая. В демократии, при таком рассмотрении, выделяют не особенности ее политического строения, не такие ее бесспорно положительные черты, как свобода индивидуальной и общественной жизни, господство закона или правовое равенство ее граждан, а подчеркивают такие ее видимые недостатки, как отсутствие артикулированных духовных и политических идеалов, ориентация на массу – следовательно, на посредственность, – общее

понижение культурно-интеллектуального уровня. Повторяю: *такого рода* критика идет не из коммунистического лагеря (которому ровным счетом наплевать на культурные высоты и духовные вершины), – она исходит от людей скорее консервативного и романтического склада. В России наиболее запомнившиеся слова сказал об этом Константин Леонтьев, расценивший «вексельную честность» западного человека-буржуа как недостаток, если не порок. Систематическая критика демократии, данная Бердяевым в его «Философии неравенства», в значительной степени исходит от этих мыслей Леонтьева. Да и на самом Западе не было недостатка в подобной критике: достаточно назвать имена Ницше, Карлейля, Ибсена, Оскара Уайльда, Томаса Манна периода «Размышлений аполитичного». Интересно, что и Токвиль, давший впервые в западной мысли не только теоретическое предвидение демократии, но и описание ее конкретной формы – демократии в Америке, – приняв и санкционировав демократию в целом, говорил о тех же, или почти тех же, ее недостатках: это именно Токвиль сказал о господстве массы над личностью как главной опасности демократии.

Можно до известной степени корректно резюмировать критику демократии следующим образом: этот строй общественной организации справедлив, удобен, рационален, но он не отвечает высшим запросам человеческой души и духа, – демократия глуха к идеальным порываниям человека, в ней вообще нет места идеализму, а если таковой когда-то и одушевлял борьбу за ту же демократию, то давно уже выветрился, уступив место упомянутой «буржуазности», утилитарному расчету и формальному легализму.

У нас нет надобности отрицать все то, что говорят критики о буржуазном утилитаризме, формализме и эгоизме, питающих демократию и питаемых ею. Но мы способны показать то, что все эти, столь несимпатичные для этического идеализма, качества как раз и создают подлинно этический фундамент демократии – фундамент куда более прочный, чем тот, который могут дать самые возвышенные моральные устремления.

Вспомним, что говорит об этом Бертран Рассел в своей «Истории западной философии» – книге, отчасти известной и в Советском Союзе (говорю «отчасти», потому что она вышла в СССР с грифом «для научных библиотек» и без главы о Марксе). В поисках этического обоснования демократии Рассел вспоминает принципиальное различие двух систем морали – эвдемонистической и утилитаристской, говорящей о счастье или о пользе как верховном критерии этики, – и нормативной идеалистической морали, исходящей из представлений о неких возвышенных, сверхэмпирических целях моральной жизни. Две эти системы могут быть персонифицированы в лице англичанина Локка (и последователя его, тоже англичанина Иеремии Бентама) и немца Канта. Вспомним основную мысль этической философии Канта: он говорит, что нельзя считать нравственным мотив действия, который исходит из пользы или даже любви к объекту действия, – этот мотив не будет чист от эмпирических соображений, а значит не будет моральным. Морально только то, что исходит из уважения к нравственному закону, то, что свободно от каких-либо сторонних соображений.

На первый взгляд, кажется, что мораль Канта много выше локковского или бентамовского утилитаризма, этой нравственности расчетливых торгашей. И, по-видимому, с чисто теоретической точки зрения это именно так. Но ведь существует еще один критерий истины, не чуждый даже марксизму, – практика. И вот практика, исторический опыт показывают, что общества, бравшие для руководства к действию утилитаристскую или эвдемонистическую мораль, сумели создать образ жизни, куда более достойный человека, чем те общества, этическая культура которых строилась на идеалистических посылах, вдохновлялась возвышенными идеями.

Послушаем рассказ Рассела – это слова, с которыми трудно не согласиться, даже если вы отрицаете его философию в целом:

«Разновидность этики, которую называют „благородной“, меньше связана с попытками улучшить мир, чем более земное воззрение, что мы должны попытаться сде-

вать человека счастливее. Это не удивительно... Люди, которые много сделали для того, чтобы способствовать человеческому счастью, принадлежали, как это и можно было ожидать, к тем, которые считали счастье важным, а не к тем, которые презирали его, отвергая его во имя чего-то более „возвышенного“. ...Просвещенный эгоизм, конечно, не является самым возвышенным побуждением, но те, которые его порицают, часто заменяют его, случайно или намеренно, гораздо худшими чувствами, как, например, ненавистью, завистью и властолюбием».

То есть, передадим другими словами мысль Рассела, *этический минимализм*, отнюдь не ставящий перед человеком каких-то превосходящих средние человеческие возможности целей, более способствует созданию приемлемого для всех общества и стиля жизни. Но это и есть принцип демократии, исходящий из ориентации на рядового человека, в буквальном смысле – на посредственность, и делающий именно такого человека как целью своей политики, так и ее орудием. Трудно спорить, что слово „посредственность“ звучит не совсем приятно (и даже в ослабленном варианте – «средний американец»); но зато очень хорошо звучит слово «терпимость», как раз отсюда, из того же политического и этического минимализма пошедшее.

За обратным примером ходить недалеко. Как бы мы ни относились к марксизму, невозможно отрицать, что он одушевлен мощным этическим пафосом (несмотря на его псевдонаучную форму). Марксизм не довольствуется презренным «реформаторством», он стремится изгнать из мира зло и заменить его добром. Результат этой деятельности хорошо известен: борьба за абсолютное добро приводит к еще большему злу, к сгущению и концентрации зла.

Таковы мысли, вызываемые Расселом, – строго говоря, собственные его мысли. Они, повторяю, при желании доступны советскому читателю. Но вот трактовка демократии, данная в книге американского философа Джорджа Сантаяны; эта книга называется «Характер и умственный склад в Соединенных Штатах». Эта книга – настоящее откровение о демократии и об Амери-

ке. В нашем контексте она важна как доказательство того тезиса, что всем известный пресловутый американизм – эта смесь буржуазного делячества, ползучего эмпиризма и прозаического прагматизма – отнюдь не исключает, а предполагает высокое этическое и бытийное достоинство. Сантаяна находит в американском характере поэзию там, где все другие видели прозу, и только прозу. Американец, говорит Сантаяна, – это человек, способный в Лие увидеть Рахиль. Американец способен найти воодушевление и надежду в настоящем и прошлом, то есть в реальном опыте, отнюдь не в будущем, что характерно для революционеров. Американец и революционер – противоположные, взаимоисключающие типы. Революционер – это человек, готовый разложить бытие на его составные части, чтобы сделать из них нечто новое по собственному проекту; другими словами, это человек, не любящий жизни в ее непосредственной данности – в той ее эмпирической реальности, которую так остро ощущает американец. Именно поэтому американец ближе, чем революционер, к типу поэта, говорит Сантаяна, – он умеет идеализировать самую материю бытия. Сантаяна пишет:

«Человек, который идеализирует не опыт свой, но *априори*, не способен к подлинному пророчеству; его мечты – это бред, и чем более он критичен, тем менее помогает людям. Американский идеализм, наоборот, существует лишь постольку, поскольку он способен на помощь, поскольку он пригоден для практического преобразования действительности».

А это и значит, что прагматизм, практическая складка американцев основаны ни на чем ином как на любви к жизни в ее реально существующих формах, на способности увидеть в жизни то, что способно сделать ее лучше. Это и есть практический идеализм.

Одна из глав книги Сантаяны называется «Английская свобода в Америке». Таковая, – говорит он, – это не цель, а средство. Англичанам – и, соответственно, американцам – не свойственны представления о так называемой абсолютной свободе и порывания к ней. Здесь мы узнаем тему Рассела: английская свобода отнюдь не идеалами

воодушевляется, а чем-то куда более на первый взгляд прозаичным – интересом или близлежащей и вполне доступной целью. Как говорит об этом Сантаяна, английская свобода не знает, чего хочет, она идет туда, куда ведет ее жизнь. Прославленное свободолюбие англосаксов оказывается на деле конформизмом, духом компромисса, готовностью ладить со всеми. Но в этом не слабость ее, а сила, говорит Сантаяна: *общественное сотрудничество* – вот подлинное имя этой силы, этой свободы. И это, как показывает история Англии и Америки, куда лучше, большие и лучшие результаты дает, чем идеалистические порывания, чем тот дух перфекционизма, стремление к совершенству, который воодушевляет этический идеализм на построение вполне чуждых рядовому человеку порядков. Сантаяна пишет:

«Свобода как методическая тренировка абсолютной воли кажется более достойной, чем английская свобода, потому что первая знает, чего она хочет, разумно преследует свою цель и не полагается на успех мер, рассчитывающих на добрую волю человечества. Зато английская свобода так доверчива! Она движется методом проб и ошибок, взаимных уступок и частичного удовлетворения; она полагается на рыцарство, спортивный дух, братскую любовь и на редчайшую и малоприбыльную добродетель – справедливость. Это глупая, слепая авантюра, ищущая в потемках расплывчатую и даже неизвестную цель».

И тем не менее именно англичане и американцы сумели построить общество, в котором свобода сделалась устойчивым элементом социального порядка, – демократическое общество. Те свойства индивидуальной души и социальной культуры, которые едва ли не всему миру казались и кажутся малодостойными, свидетельствующими об ограниченности «буржуазной» личности, – эти свойства и качества суть на деле вернейшие гаранты лучшего из человеческих состояний – свободы.

Другими словами, большего добивается тот, кто на меньшее претендует. И если мы при этом вспомним одно правило старой этики, согласно которому людей следует судить не по намерениям их действий, а по их результа-

там, – то у нас и получится, что именно демократия выдерживает какой угодно строгий этический суд.

И еще одно обстоятельство стоит отметить. У Сантьяны хорошо видно, что принципы демократической организации общества органичны для Англии и Америки потому, что они отвечают свойствам англосаксонского национального характера. Вот это и был, между прочим, чуть ли не самый главный аргумент противников демократии, когда она делала попытки расшириться на другие страны. Следует ли считаться с этим аргументом? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что человека нельзя свести к его органическим корням, к его почве, к национальной традиции, человек выше органических определений бытия. Мы видим, что демократия вполне прижилась в таких странах, как Германия и Япония, и они не стали от этого хуже. Да можно даже и Францию вспомнить: ее демократия достаточно стара, но ведь при желании можно сказать, что она не отвечает национальному духу и культурным традициям Франции. Не эмпиризм, а сухой рационализм, не склонность к компромиссу, а милитарность всегда отличали Францию; ей больше под стать империя или революция, чем демократия. Тем не менее демократия во Франции существует и не подает признаков упадка.

Но ведь то же самое можно сказать и о России: вряд ли демократия и свобода принесут русской высокой душе такой же урон, который нанес ей высокоидейный коммунизм.

2. Демократия и гений

Противопоставление демократии гению – наиболее, пожалуй, распространенное из общих мест антидемократической критики. Само гениальное сознание, самосознание гениев определяется резко антидемократически; достаточно вспомнить Флобера, не говоря уже о Ницше. Бесспорной кажется мысль о враждебности демократии красоте, об оскудении красоты в демократическом мире. В «башню из слоновой кости» художники удалились в

эпоху первых торжеств демократии, до этого они считали вполне естественным находиться в обществе – при дворах монархов. Не случайно отождествление гения с художественным даром, с художественной деятельностью, – считается, что таковая, в отличие от всякой прочей профессиональной работы, способна выразить целостного человека, а не частичного, конкретного, а не абстрактного. Художник противопоставляется «спецу» как носитель полноты человеческих потенций. Это романтическая интерпретация художественной деятельности, и романтики много острее, чем другие, отталкивались от реализма новой демократической эры. Интересно, что в романтических культурах «целостного» человека находили также на другом, противоположном, «низшем» полюсе общественного бытия – в лице крестьянина и крестьянского труда. С этим забавно корреспондируют старинные слова Монтеня, сказавшего, что хорошие люди – это крестьяне и философы, а все, что в промежутке, – не очень хорошо. Низкую оценку, таким образом, получала «посредственность», *среда*, другими словами – само тело общественного бытия, то, что, собственно, и называют «демократией» не в смысле народоправства, а в смысле самого народа, населения, массы. Дело тут не в том, что крестьянство в эпоху Монтеня или Глеба Успенского составляло арифметическое большинство во Франции и в России; «крестьянство» в этих случаях берется не как нечто статистическое, а как один из *полюсов* общественного целого. «Народник» совсем не обязательно означает «демократ», народничество предстает идеологией не менее эксклюзивной, чем эстетизм какого-нибудь Теофиля Готье. И им обоим противостоит идеология демократии как идеологии среды... рядовой жизни.

Первостепенного значения фактом является отсутствие романтической концепции гения в странах традиционно демократической культуры. Исключения были очень немногочисленными. Тип гения в «континентальном» смысле – это, конечно, Байрон, выпадение которого из строя английской жизни кажется чем-то в высшей степени естественным. Байрон не похож на англичанина прежде всего потому, что он представляет только

самого себя. В «континентальном» смысле только таким и может быть гений (Т. Манн: гений – это способность приобрести собственную судьбу), что не мешает, однако, считать его репрезентацией человека как такового, «целостного» человека. В Байроне бросается в глаза резкий разрыв с английским типом аристократа. Своеобразие английского аристократизма состояло в готовности и способности его к общественной репрезентации, аристократизм не был в Англии ни сословным, ни «ценностным» началом. *И это породило английскую демократию.* Отщепенство, бунт, «аутсайдерство» не в чести у англосаксов с их духом кооперации, «спортивным» духом. Поэтому гений не мог прижиться на английской почве, на почве демократии. Если обратиться к американским примерам, то первым делом приходит на ум Эзра Паунд, убежавший от своих демократических соотечественников к Муссолини. У него хватило вкуса не стать коммунистом, но вряд ли и дуче можно считать носителем романтических добродетелей – или даже романтических пороков.

Нельзя сказать, что английский язык не знает самого этого понятия, самого слова «гений». Но как оно толкуется? Гений по-английски, прежде всего и единственным образом, – высшая степень профессионального умения, специфической одаренности. Гений и спец не противопоставляются здесь друг другу, никакой целостной репрезентации человека от гения не ждут. Из этого проистекает одно немаловажное – для гениев – последствие: их не убивают. У Владислава Ходасевича есть статья о судьбе русских поэтов, об их, часто насильственной, смерти. Такую судьбу Ходасевич считает первым доказательством высочайшей оценки поэта, гения в России (ср. известные слова Мандельштама). Народ, нация смотрят на поэта как на искупительную жертву, предадут его закланию, чтобы спастись самим. Если это не Христос, то по крайней мере Исаак. Соответственно, гений в России в последнюю очередь рассматривает себя как профессионального деятеля, профессия у него подменяется миссией. И здесь нужно понять одну довольно простую вещь: жертвоприношения не нужны, когда нет жаждущих крови богов. Гений, в «русском» смысле слова, – всегда

показатель общественного, *общего* неблагополучия. Социология гения – общественное несчастье, конфликт, раздор, разор. Сартр говорит: гений это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах. К этому нужно добавить, что обстоятельства здесь следует брать не только личные, экзистенциальные, но и общие, социальные. Конфликт со средой как непреходящий признак гения возможен только тогда, когда сама среда не в порядке. Отсюда – так называемое общественное служение русского писателя, русского гения. Писатель и всегда был в России вторым правительством, говорит Солженицын. Но это худо, худо и для писателя, и, что важнее, для самой России. На гения проецируются эмоции репрессированного общества, и этот процесс, собственно говоря, и конституирует самого гения. Гениальная личность у нас – компенсация неполноценности общества.

Можно заметить, как отмирал в России тип гения по мере улучшения русской жизни – и как он возрождался, когда эта жизнь ухудшалась. Первый крупный русский писатель «не гений» – это, конечно, Чехов, человек, живший в спокойной (по крайней мере, «замиренной») России Александра III, литератор, у которого цензура не запретила ни одного текста. Интересно, что как раз в эти годы начинает бунтарствовать Лев Толстой: он привык к конфронтации (в его случае – с мало смыслящими в искусстве нигилистами) и, повсеместно признанный, не желает расстаться с ролью богатыря-одиночки, первым вступает в конфликты с окружающей средой, подчас и со здравым смыслом. Его «не сажают», поэтому он сам «хочет сесть» (и это буквально).

Чехов уже не знает этих обстоятельств, ему, лично зарабатывающему литератору, и в голову не приходит, что он – гений, как не приходит это в голову и нам. Он достигает максимально возможных в своем деле профессиональных высот, но никто не навязывает ему «миссию»; верный знак того, что русская жизнь пошла в лучшую сторону.

Потом происходят известные события, и в гении вылезает даже Евтушенко. Опять же характерно: для

этой роли совсем не обязательен первостепенный талант, высшая профессиональная квалификация.

Солженицын, по слухам, жалуется на то, что во всей массе написанного о нем почти отсутствует профессиональная критика, расценивающая его как писателя, работника слова. Это значит, что ему уже надоело ходить в гениях, – что границы гениальности и профессионализма отнюдь не совпадают.

Поэтому нельзя думать, что демократия подавляет гениев, – она их просто не производит. Или скажем по-другому: «гении» есть и здесь, но они незаметны, не выделяются, у них нет соответствующего фона. Нет в демократии резких общественных разрывов, конфронтаций и стояний «по разные стороны баррикад». Вместо «низин» и «вершин» – непрерывное градуирование качеств, «лествица существ», а не скачки в духе Гегеля и не катастрофы в духе Кювье. Противоположность Микки Спилэйна и Фолкнера, их полярность не замечаются, не ощущаются столь остро, потому что между ними существует среда, или та «посредственность», которую снобы отождествляют с демократией. То, что гений здесь не замечается – и не конструируется как некая иллюзия общественного сознания, – означает, что стало лучше всем, что все стали лучше. Это вопрос не абсолютной значимости, а относительных сопоставлений.

3. Философия как школа лжи

В русской философской литературе есть текст, хорошо иллюстрирующий, к каким нелепостям может привести возвышенно-религиозная установка сознания. Это статья Н. А. Бердяева «Правда и ложь коммунизма». В общем, в ней нет ничего из того, что не было бы сказано в большой книге Бердяева о коммунизме; но согласимся, что «правда и ложь» звучит более выразительно и обещает более острую постановку вопроса, чем достаточно нейтральное «истоки и смысл». Эта статья, опубликованная в 1931 году по-французски в журнале «Эспри», имела большой успех у французских интеллектуалов.

Надо полагать, что в Англии она такого успеха не имела бы.

Бердяев видит причину побед коммунизма в том, что христианский мир утратил интерес и вкус к социальной правде. Коммунизм, говорит Бердяев, – это вызов социальной активности христианства. Правда коммунизма – в обращенности к социальному вопросу, к вопросу о «хлебе». Если добро оказалось бессильно накормить голодных, то нельзя винить злые силы, делающие это. И в жертву осуществления этой социальной задачи будет принесена высшая сторона человеческого существования: духовность человека, его индивидуальный лик, его божественность. Такова ложь коммунизма.

Конечно, статья Бердяева привязана ко времени больше, чем это следовало бы для философского сочинения. Ее отличает совершенно не критическое следование за событиями, то, что большевики старого стиля называли бы «хвостизмом». С одной стороны – мировой экономический кризис, с другой – оглушающий критическое сознание грохот пятилетки; на Западе – разочарованная молодежь, впервые в массовом порядке приобщающаяся к наркотикам, в СССР – энтузиазм неких комсомольцев, которые пришлось Бердяеву по душе не меньше, чем другому тогдашнему путанику, Андре Жиду. Стоило пройти каким-то пятидесяти годам, и все стало на свои места: никто на капиталистическом Западе не умирает с голоду, и никого не накормил коммунизм, хотя он и распространился аж до Эфиопии. Кроме того, стало ясно, что власть в СССР отнюдь не принадлежит рабочим и крестьянам, вопреки тому, что писал – черным по белому – Бердяев в указанной статье. Почему же такие чудовищные ошибки сделал один из лучших русских умов? почему философ мирового масштаба не смог заглянуть хотя бы на четверть века вперед?

Ответ – в самом вопросе об «уме»: Бердяев, как его предшественник Фалес, свалился в яму под хохот фракийянки, – причем именно тогда, когда от созерцания звезд перешел к рассмотрению текущих событий. Дело было, однако, не в предмете, а в методе: нельзя нацеливать на мелочи социального бытия философский телескоп.

Ведь в чем, в конечном счете, усматривал Бердяев «правду» коммунизма? Вопрос о «хлебе» в тридцатых годах был далеко еще не решен (как он не решен и сейчас); Бердяева влекло к коммунизму другое: его (коммунизма) *тоталитарный дух*. Сразу же оговоримся: тогда, в начале тридцатых, и в специфическом словаре Бердяева, «тоталитарный» значило совсем не то, что сейчас. У Бердяева – в полном соответствии со всеми лексиконами – «тотальный» означало «целостный». Философу требуется целостное мировоззрение (пережиток старой философской эпохи «систем», в сущности своеобразного философского эстетства): жизнь, политика, мораль, религия должны исходить из одного корня, освещаться светом единой истины. В свое время такую цельную, целостную истину давало христианство, и в этом смысле оно было тотальным, тоталитарным. Собственно, только христианство и вправе быть тотальным, говорит Бердяев, – нет иного принципа, который смел бы претендовать на руководство полнотой человеческого бытия. Интеллектуально он это понимает; но эмоционально его влечет любая попытка, любая имитация целостного мировоззрения. Поэтому он и попал под чары коммунизма.

Приключения слов «тотальный» и «тоталитарный» крайне любопытны, они указывают на опасность философии как духовной установки. В «системотворчестве» (а что бы ни говорил Бердяев о конце эпохи философских систем, само его влечение к целостному мировоззрению есть реликт этой эпохи) – в системотворчестве дана упреждающая модель социальных порядков будущего тоталитаризма, уже в нынешнем смысле этого слова: как общества абсолютного подавления.

Человек, который хочет философствовать целостно, неизбежно запугивается в противоречиях. Это объяснил еще Кант. Сама установка философии на истину требует ее (истины) реализации, ибо истина «конкретна», она есть полнота бытия, а не только теоретический концепт, она есть «система». Когда философия сознаёт свой мифотворческий характер, она становится искусством (Ницше). Что же касается христианства, то его целостность конструируется по отношению к потусторонним

планам бытия, а значит, принципиально не может и не хочет реализоваться в этом, посюстороннем мире. Но это и значит, что попытка навязать христианству социальную задачу – попытка Бердяева – была с самого начала ложной.

Отсюда не следует, однако, что социальная задача не может и не должна решаться. Она и решается – на том же Западе, которому Бердяев отказывал в витальной силе. Но она решается *не целостно, а частично*. Метод социальной работы на Западе – «частичная социальная инженерия» (Карл Поппер). Этому подходу англосаксы постепенно учат и романский Запад, все никак не отрешившийся (в силу католического прошлого?) от симпатий к «интегральному» социализму. Как в этике моральному идеализму они противопоставляют утилитаризм и эвдемонизм, так в общефилософском мировоззрении строго исповедуют «ползучий» эмпиризм, отвергают всякое рациональное априорное конструирование.

Еще раз послушаем Рассела – о последователях Локка:

«Так как их системы мышления предполагали постепенность как результат отдельных исследований многих различных вопросов, то и их политические взгляды, естественно, имели тот же характер. Они выступали против больших целостных программ, предпочитая рассматривать каждый вопрос в отдельности*. В политике, как и в философии, они основывались на опыте и эксперименте. С другой стороны, их противники, которые думали, что они могут „понять эту жалкую схему вещей полностью“, охотнее „разбили бы ее на куски, а затем переплавили бы их по своему желанию“**. Они могли бы сделать это либо как революционеры, либо как люди, желающие поднять авторитет уже имеющих властей; в любом случае они не поколебались бы применить наси-

* Ср. у Бердяева (указанная статья): «Сила коммунизма в том, что он имеет целостный замысел переустройства жизни мира, в котором теория и практика, мышление и воля слиты». – А в т.

** Это похоже на цитату из Сантаяны; недаром здесь у Рассела поставлены кавычки. Но советское издание Рассела, которым я пользовался, никаких отсылок не дает. – А в т.

лие, преследуя великие цели, и они осуждали любовь к миру как низменное чувство».

Это то, что мы имели возможность прочитать, но до конца не поняли в Советском Союзе, – потому что примерно в то же время мы начали читать запрещенного Бердяева.

4. *Европеец Солженицын*

Смелчаки, дерзающие заглянуть в темную область психологии творчества, приходят к выводу о системе персонажей и характеров в художественной прозе как различных эманациях авторского «я». «Не-я» нет в литературе. Лев Толстой умел становиться Наташей Ростовской и Анной Карениной: желтые и зеленые пеленки или адюльтер были для него манифестацией одной из сторон его природы, отнюдь не «объективным» творчеством. Искусство состоит в том, чтобы автора не узнали под личиной героя. В этом смысле Солженицын в «Красном колесе» менее искусен, чем Толстой: его сразу же узнаешь в любом персонаже, даже и в женском – профессоре Андозерской («профессорше», как предпочитает писать Солженицын). Было бы, однако, величайшей ошибкой на этом и подобных основаниях навязывать Солженицыну взгляды того или иного из героев «Красного колеса». Солженицын наделил героев своей манерой говорить – от тамбовских крестьян до офицеров генштаба («Егор» и «Андреич», которыми обмениваются последние, мало чем отличаются от тамбовских Шастриков и Кырок); но это не значит, что он отдал им свои мысли.

Возникает вопрос: а подлинно ли свои мысли высказывает Солженицын в «Красном колесе»? владеет ли он той единой и последней истиной, которую он не устает искать и других к тому же поиску призывает? В который раз повторилась старая истина: категоричность индивидуальной писательской идеологии исчезает, как только писатель берется за художественный текст. Если бы я сказал, что в «Красном колесе» Солженицын сознательно и целенаправленно полифоничен, это не было бы

большим комплиментом, – такая преднамеренность автора свидетельствовала бы об искусственности его построений. Но Солженицын полифоничен ненамеренно, не в силу пристрастия к плюрализму мнений, а инстинктивно, в силу художественной, писательской своей природы. Крупной ошибкой Бахтина (хотя и объяснимой из исторических обстоятельств) было утверждение полифоничности, многоголосия, диалогизма как специфической черты творчества Достоевского: это качество присуще художественному слову как таковому, это конструктивная основа любого развернутого художественного текста. Полифоничен Горький в «Климе Самгине» – чтобы назвать самую одиозную для Солженицына и тем самым как бы противоположную ему литературную фигуру (горьковская полифония здесь тем более интересна, что весь громадный роман построен как поток мыслей и наблюдений одного-единственного героя, то есть, казалось бы, сугубо монологичен). И не такие простенькие приемы я имею в виду, как, допустим, рассказ одного события разными голосами, когда дядя Антон глядит героем у заидеологизированных сестер-нигилисток, а в авторском описании Свеабургского восстания оказывается одним из «цивильных бесов», пробравшихся в крепость; и не такое, так сказать, обнажение приема, как в главе 26-й «Октября Шестнадцатого», где в самой авторской речи перебивают друг друга взаимоопровергающие голоса. Нет, Солженицын в «Красном колесе» глубинно-ироничен, он не дает своим героям ступить на стезю истины, с какой бы долей симпатии он к ним ни относился. Материал книги не дает оснований для четкого *монологического* вывода: Россия ведь проблем своих не разрешила. Все, что мы можем знать о русской революции более или менее определенного, – это ведь знание задним числом. Гадательность истины предстала в русской истории как нельзя более зримо: в нерешенности судьбы. Что тут можно знать и что проповедовать?

Вот почему, когда солженицынский Воротынцев отправляется в Петроград с намерением сбросить бездельного царя и прекратить ненужную войну, но вместо этого оказывается в постели помянутой «профессорши»,

автор его не так уж и осуждает. Ему, автору, неясно, что же лучше: политический заговор или любовное приключение, что хуже: измена монарху или измена жене?

Мнение о Солженицыне как о человеке, который «знает, как надо», – пора решительно и безоговорочно оставить.

Как можно претендовать на роль носителя истины и всеразрешающего знания, когда любимый и единственно близкий, до последней подробности изученный предмет – является тебе как *тайна*? Русской революции рационального объяснения не найти: по всем рациональным выкладкам, ее не должно было быть, у нее *не было объективных оснований*. Была острая борьба мнений, т. е. чего-то по природе своей субъективного, индивидуально предпочтенного. Была иллюзия гибели и конца, когда ими и не пахло. И было святое убеждение в необходимости действовать, чтобы конец этот предотвратить. Но оказалось, что действие во спасение – стало подлинной причиной конца.

Так понимает русскую революцию Солженицын – и убеждает читателя в правильности своего понимания.

Раскапывая эти могильники иллюзий, поостережешься выступить со словом истины. Остолбеневши от зрелища гибели всего, чем стоит жить, – помедлишь с призывом к действию.

На материале недавней русской истории Солженицын столкнулся с антиномиями, расколовшими прежде всего его собственную, казалось бы монолитную, фигуру: неделание или активность? молчание или речь? органицизм или морализм? В «Октябре Шестнадцатого» сгустилась атмосфера некоей, так сказать, христианской провокации. Конечно, христианство – это не буддизм. Государя Николая II можно назвать носителем христианской святости, однако в его случае это святость какая-то декадентская. Но и действие, воля, активизм лишаются у Солженицына безусловной моральной санкции. Гучков дан с симпатией: эх, и чёрт тебя понес, не подмазавши колес!

Любимый русский герой Солженицына – Столыпин, и это герой действия. Но бытие не исчерпывается и не восполняется до конца человеческой активностью, и как

раз столыпинская судьба это больше всего подтверждает. Деянием – самым правым – не угодишь Богу. В мире не существует гарантированного морального порядка.

Жаловаться на это можно только Богу; но это будет принесенная Богу жалоба на Него же. По-другому это называется «проблемой теодицеи».

Столкнувшись с бытием как с загадкой и тайной, с неисповедимым Божественным Промыслом, опознав (но не познав!) непознаваемое, – Солженицын утратил свой пророческий пафос. Еще в «Теленке» он напрягался и взваливал на себя миссию, как роستانовский Шантеклер. В «Красном колесе» на смену пафосу пришла ирония: возможный спаситель России обучается тонкостям науки страсти нежной. Солженицын в «Колесе» не более чем писатель, и не в русском смысле, а уж скорее в английском – рассказчик, story-teller.

Заметно и другое: несмотря на ощутимо полемическую позицию в отношении Толстого, Солженицын воспроизводит сейчас основной конфликт «Войны и мира»: «мир» против «войны», «Кутузов» против «Наполеона». Воротынцев, аналог князя Андрея Болконского, ищет свой Тулон – и застревает в постели сексуально просвещенной и монархически мыслящей «профессорши». Так князь Андрей в Богучарском говорил Пьеру о преимуществах деторождения и чадолюбия над политической деятельностью.

Но деятель не может стать буддистом. Энергия Солженицына отнюдь не испарилась, она трансформировалась, точнее сказать – интроецировалась. Его морализм пошел в индивидуальную глубину – установка, собственно говоря, никогда не бывшая ему чуждой, но ныне заметно превалирующая над всеми другими.

Эту установку следует назвать христианской. Но какого рода это христианство? Следует ли считать Солженицына православным по преимуществу?

Заметны интерконфессиональные и даже экуменические симпатии Солженицына (гл. 5-я и 6-я «Октября Шестнадцатого»). У Солженицына появляются – кто бы мог подумать? – признаки религиозного плюрализма. Еще лучше будет это назвать религиозным агностициз-

мом – не в смысле скепсиса, ведущего к неверию, а в смысле стояния перед неразрешимостью Божественной тайны, Божьего Промысла. Ему неведома тайна Божественных предначертаний, неясен вопрос о спасении. Поэтому исчезает тон суждения и оценки, тон вердикта. Ведь как ни крути, а в феврале 17-го Милюков оказался не глупее Гучкова. Симпатии и антипатии – негодны для постановления истины.

В европейской истории имеется пример развития подобного религиозного типа. Это тип буржуа-пуританина, «капиталиста». В классическом труде Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» этот сюжет проанализирован исчерпывающе. «Капитализм» возник не из алчности торгашей – торговля и алчность существовали с начала человечества, – а из религиозной аскезы угрюмых пессимистов, утративших гарантию спасения. Пуритане и кальвинисты столкнулись с «солженицынской» ситуацией: невозможностью рационально определить угодное и негодное Богу, с абсолютным Божественным произволом. Психологическим, а вслед за тем и социально-культурным исходом из этой религиозной ситуации стала трудовая аскеза, этика напряженной трудовой активности. Она и родила капитализм. Создалась экзистенциальная необходимость некоей иллюзии и видимой реализованности спасения во внешнем жизненном плане; на статус спасенных претендовали люди, строже, достойнее, методичнее других осуществлявшие задачу устройства своего земного пребывания, своих земных дел. «Богаче» в этом психологическом контексте означало «лучше». Посюстороннее бытие не давало других аргументов.

Естественно, что этот тип религиозно ориентированного буржуа со временем выродился, – ибо вырождается всё. Но он выродился на Западе, а у нас же толком и не родился, – вернее, был абортирован при самом своем появлении, загнан в подполье национальной жизни, причем дважды – сначала никоновской реформой, а потом большевистской революцией. Это тип религиозного старовеера. Интересно, что именно в этой среде возникал русский капитализм, явивший в данном случае тот же религиоз-

ный генезис. На последнее обстоятельство обратил внимание С. Н. Булгаков в своем эссе о книге Вебера («Народное хозяйство и религиозная личность»). По-своему трактует тот же вопрос очень интересная книга М. Буррышкина «Москва купеческая».

Тип религиозно-озабоченного буржуа-капиталиста был у нас тем же самым, что и на Западе. То есть, при всей его исконности и кондовости, это был *европейский* тип. И ныне он мощно возрождается в Солженицыне.

Солженицын – наш европеец. Не видят этого только те из нас, для кого Запад и Европа начались в 1789 году, с Декларации прав человека и гражданина, кому не видны религиозные истоки европейской цивилизации.

И если искать религиозные, а не секулярные корни *демократии*, с ее плюрализмом, «утратой воли к истине» (Бердяев), наконец, скепсисом, – то их нужно видеть вот в этом опыте европейской истории, в утрате однозначно-догматического переживания религиозных реальностей. Скепсис сопределен вере, а не неверию. Это прекрасно понимал еще Монтень, не говоря уже о Шестове. Реальность Бога и Его путей в мире не покрывается абстракциями человеческого ведения.

5. Основной аргумент в защиту демократии

Демократии существуют чуть ли не с начала человечества, они рождались и умирали, и не было оснований считать их чем-то появляющимся в порядке необходимости, пока в 19-м веке не утвердилась идея автоматического прогресса в природе и обществе. В этом случае демократия рассматривалась как высшая и совершеннейшая форма общественной организации, возникающая как необходимый результат закономерного общественного развития. Этот аргумент разделяет все достоинства и недостатки самой теории прогресса, а опыт показал, что недостатков у нее куда больше, чем достоинств. Трудно говорить о прогрессе в эпоху мировых войн и тоталитаризма. Так что обоснования демократии надо искать где-то в другом месте, а не в теории прогресса. Собственно, так и

говорили критики демократии с самого начала, когда демократию ее адепты пытались представить неким пиком исторического развития, венчающим человеческую историю: это не «кауза финалис» истории, а одна из нескольких вечных форм организации общественного бытия, известных уже с начала человечества, по крайней мере – с древней Греции, где Афины дали практический опыт демократии, а Аристотель разработал ее теорию в общих рамках своей «Политики». Нельзя не признать, говорили далее критики, что демократическая организация кажется естественно присущей некоторым государствам и социальным общностям, что она иногда выступает как органический продукт определенного типа развития; но тогда возникают две возможности суждений о демократии: или она есть частная особенность, а не всеобщий закон социального развития, или она предпочитается в порядке свободного выбора политической идеологии, – а значит, ни в том, ни в другом случае не может считаться универсальным законом необходимого разворачивания истории.

Трудно оспорить это мнение в наши дни, когда опыт истории доказал, что никаких исторических законов не существует, что история в высшей мере пластична и готова подчиниться любому насилию, – причем сильнее всех доказали это люди, руководствующиеся на словах теорией самого жесткого исторического детерминизма, – марксисты. Из этого не следует, однако, что нельзя говорить о необходимости демократии, или, скажем немного извилистей, *о необходимости свободного выбора демократии*. Необходимость можно ведь понимать в нескольких смыслах: как насильственную, безоговорочно доминирующую над человеком неизбежность, рок, закон – вроде законов природы, – так и в смысле морального должествования: например, необходимость быть честным. Можно также говорить и о некоей чисто прагматической необходимости – как об утилитарной предпочтительности, большей выгоды. Необходимость демократии в наше время существует во втором и третьем смыслах: ибо оно, наше время, не дает демократии никаких альтернатив, кроме *тоталитаризма*.

Для этого утверждения существуют серьезные социологические основания. Главное из них – сам характер современного общества, которое стало обществом *массовым*. «Восстание масс» – так назвал нашу эпоху испанский философ Ортега-и-Гассет; и отнюдь не революционные, бунтарские потенции этих масс имеет в виду Ортега, а как раз нечто прямо противоположное: их безволие, конформизм, готовность к новому рабству. «Восстанием» у Ортеги по существу называется «возрастание»: колоссальный количественный рост масс людей, на единый лад участвующих в нынешней социальной жизни, унификация социального бытия, или, как сказали бы русские народники, *массовидность* современной жизни – количественный рост при качественном упадке. Вспомним, что на философском языке качеством зовется *определенность*: «лица необщее выражение», индивидуальный чекан на лице человека или даже социальной группы. Каковы же были причины этого омассовления современного мира?

Можно сказать, что к этому результату вели все тенденции исторического развития человечества, все то, что называют обесмыслившимся словом «прогресс». Все дороги вели к этому, так сказать, Третьему Риму – причем такие дороги, которые казались, да и были действительно перспективными, к лучшему ведущими дорогами. Создание общенациональных, а потом и мирового рынков, вообще того, что Маркс называл обществом товаропроизводителей, ведь действительно привело к колоссальному росту и обогащению жизни; но тот же рынок – нивелирующее средство, подчиняющее все и вся абстрактным идолам меновой стоимости; на рынке, так сказать, нет ни эллина, ни иудея, то есть отпадают человеческие качества, определенность. Возьмем технику, технологический прогресс: ведь еще каких-нибудь восемьдесят лет назад серьезно верили в то, что техника и наука осчастливят человечество и окончательно разрешат все его проблемы, и верили не какие-нибудь митрофанушки, а, что называется, лучшие умы человечества. И техника действительно во многом облегчила жизнь, внесла в нее если не окончательный смысл, то «комфорт». Но та же

техника, техническая цивилизация уже создала по существу модель тоталитарной организации общества: то, что тоталитаризм – законное дитя индустриального общества, мало кто сегодня будет оспаривать. Феномен отчуждения, открытие которого доброхоты приписывают тому же Марксу (на самом деле, описанный еще Руссо), не ликвидируется, а чудовищно гипертрофируется обобществлением средств производства. Важнейший агент отчуждения – механизм разделения труда в современном производстве; именно отсюда идет тот печальный результат, что созданное активностью человека не только не принадлежит ему, но и закабальет его. Другими словами, увеличение человеческой мощи при помощи техники имеет место только под одним условием: увеличивается мощь человечества, но при этом к ничтожной величине сводятся возможности отдельного человека. Человечество владеет техникой только сообща, выступая большими массами. Вот вам и модель тоталитаризма: общество, «тоталитет» – всё, индивидуум – ничто, индивидуум, сведенный к роли придатка к машине, не владеющий умением и лишенный возможности свою трудовую деятельность сделать автономной. При этом он «выиграл»: владеет фордовским автомобилем, сошедшим с конвейера, на котором его свинтили люди, не имеющие профессии. Само массовое производство сыграло ни с чем не сравнимую роль в процессе преобразования общества: есть, конечно, автомобили дорогие и дешевые, но на шоссе на дороге ничтожно различие между владельцем «мерседеса» и владельцем «форда», куда меньше, чем между конным и пешим, между шевалье и крестьянином эпохи феодализма. Суммируя все сказанное выше, мы приходим к заключению, что важнейшей причиной образования массового общества, равно как и результатом этого процесса, является разложение органических социальных структур, размывание качественных границ и граней общества. Можно даже сказать, что в современном мире вообще не существует фиксированных общественных групп – ибо таковые чисто функциональны, а не субстанциальны, не связаны с определенным социальным стату-

сом. Другими словами, современное общество состоит из взаимозаменяемых единиц, оно *атомизировано*.

Хорошо это или плохо? Конечно, в таком социальном состоянии имеются свои плюсы: крестьянин может стать полковником, если ему очень того захочется или если ничего другого ему не остается. Это вот и есть то самое свойство современной жизни, которое Александр Зиновьев пытается трактовать как «преимущество социалистической системы» – и даже прямо ставит в заслугу Сталину, так сказать, избавившему русских крестьян от идиотизма деревенской жизни. Зиновьеву не пришлось бы прибегать к таким устрашающим публику парадоксам, если б он ввел в свои рассуждения понятие массового общества – как универсальной тенденции социального развития. Более того, существует мнение, что сами эти тоталитарные диктатуры возникают как продукт распада традиционных социальных структур, как результат образования массовых обществ.

На такой точке зрения стоит Ханна Арендт, автор «Происхождения тоталитаризма» (первое издание – 1951 года). Она прямо связывает оба эти феномена – тоталитаризм и массовое общество. Массы – это не народ, не совокупность общественных классов, а бескачественное скопище людей, утративших всякую связь с бытийной почвой, лишенных корней, укорененности в строе бытия. «Неукорененность» – важнейшая характеристика масс. Порубежным событием в этом процессе, его роковой вехой стала первая мировая война, особенно сильно ударившая по Германии и России, – странам, в которых и возник тоталитаризм. Гибель и распад сильных монархических государств – Германии, Австро-Венгрии, России – не только нарушил политическое равновесие в Европе, но и привел к катализации указанного процесса омассовления соответствующих обществ. Разрушилась общественная стратификация, качественность, т. е. определенность, стабильность общественной жизни. Одновременно это означало разрушение традиционных политических партий, организующих интересы тех или иных общественных групп. Если на место классов пришли массы, то на место прежних партий – т. н. «движения». Русские ком-

мунисты и немецкие национал-социалисты – это не партии, а именно «движения»: опыт организации социально дезориентированных масс. Произошло, пишет Ханна Арендт, «падение предохраняющих классовых стен, трансформировавшее дремлющее большинство, стоявшее за всеми партиями, в одну громадную, бесструктурную массу разгневанных индивидов».

Сама реальность утратила свою онтологическую стабильность, стала невыносимой, безнадежной, обескураживающей. И массы совершили скачок из реальности в фиктивный, фантастический мир. Вот это и есть тоталитаризм. Тот же процесс Эрих Фромм назвал «бегством от свободы». Тоталитарные «движения» предложили массам некий субститут реальности – идеологически сконструированный мир, кажущийся стабильным и логичным на фоне всеобщей неурядицы.

Еще одно высказывание Ханны Арендт:

«Бунт масс против „реализма“, здравого смысла... был результатом их атомизации, утраты ими социального статуса, их социальной бездомности, утраты целого горизонта социальных взаимоотношений, в рамках которого только и возможен здравый смысл. В этой ситуации духовной и социальной бездомности уравновешенное понимание взаимодействий произвольного и спланированного, случайного и необходимого более невозможно. Тоталитарная пропаганда может так грубо оскорблять здравый смысл только там, где он утратил какую-либо реальную ценность».

Вполне понятно, однако, что атомизированную массу гораздо легче искусственно и насильственно организовать, чем такую социальную общность, которая имеет способности и возможности к собственной, автономной, органической самоорганизации. Поэтому утопические идеологии – например, социализм, – существующие почти что с начала истории культурного человечества, ни разу не могли победить и воплотиться, пока человечество не вступило в эпоху массового общества. Именно тогда (сейчас!) начались тоталитаристские триумфы. И понятно также, что тоталитарные вожди – как истые революционеры – не ждут милостей исторического процесса, а

всячески подталкивают его в нужном для них направлении. «Массовое общество» в России, к примеру, не столько существовало к началу большевистской революции, сколько было сознательно и целенаправленно создано большевиками – если, конечно, можно назвать созданием процесс разрушения веками сложившихся органических структур. Это признает и Ханна Арендт. Этот процесс мог бы быть и благотельным (собственно, его-то и начинал у нас Столыпин), если бы энергия людей, освобожденная распадом старых и зачастую окаменевших социальных связей, могла свободно реализоваться, а не оказалась скованной рамками утопического проекта. В этих рамках позитивный результат был мизерным: брат Зиновьева стал полковником, а сам Зиновьев – профессором.

Романтические реставраторы в начале века выдвинули против (потенциально демократического) массового общества идею общества *корпоративного*. У нас, сколько помнится, первым заговорил об этом Лев Тихомиров в своей «Монархической государственности». Отдал дань этим идеям и реактивный Бердяев, особенно в связи с экспериментами Муссолини, которые поначалу вызывали сочувственное внимание у людей вполне пристойных. Бердяев писал об этом в «Новом Средневековье»; но возвращался к теме и позднее, уже в связи с марксистским социализмом в России. Одно время так называемые «Советы» считались чем-то вроде здорового противовеса абстрактной «количественной» демократии; писали, что в Советах существует здоровое ядро некоей «производственной демократии», в отличие от формальной «территориальной»; что-то вроде искомым корпораций пытались усмотреть в Советах. Бердяев писал в «Правде и лжи коммунизма»:

«Правда, что распадение общества на классы, ведущие между собой борьбу, должно быть преодолено и что классы должны быть заменены профессиями. Правда, что политический строй должен представлять реальные хозяйственные нужды и интересы людей, т. е. быть профессионально-трудовым. С этим связана критика формальной демократии».

Во что вылились Советы в качестве противовеса формальной демократии, хорошо известно. Но и сама идея корпоративного общества, кажется, сошла на нет. О каких корпорациях, о каких объединениях по профессиям можно вести речь, когда в современном мире почти что не осталось самих *профессий*? Реальны – профсоюзы, организации людей, не обладающих трудовой самостоятельностью, и организации эти вызывают смешанные чувства. Только один аргумент приведем против профсоюзов: они подрывают экономику собственных стран. У нас на глазах происходит сейчас гибель американской швейной промышленности, не выдерживающей конкуренции с соответствующими отраслями хозяйства таких могучих держав, как Тайвань, Гонконг и Сингапур. Причина – профсоюзы, взвинтившие заработную плату американских рабочих на такой высокий уровень, когда становится уже невозможным сделать товар рентабельным и конкурентоспособным. И ведь удар тем самым наносится не только по хозяевам, но и по рабочим, – швейная промышленность свертывается и плодит безработных. Результат: кое-где в Америке началось движение самих рабочих за *понижение зарплат*. Механизмы рыночной экономики обнажили конечную бессмысленность самой идеи профсоюзов.

Противовесом тоталитарной организации массовых обществ остается все та же «формальная», «абстрактная», «количественная» и «механическая» демократия, какие бы недостатки и даже пороки мы в ней ни замечали. Давно известно, что демократия – не лучшая из общественных организаций, а только наименее худшая. И не только идеальной – то есть проективной, в сознании существующей – альтернативой тоталитаризму предстает демократия, но и в реальной истории она свои анти-тоталитаристские возможности доказала вполне убедительно. Ведь процесс омащовления общества – тот процесс, который, как мы видели, был причиной образования тоталитаристских государств, – был не менее сильным в Англии и Франции, не говоря уже о США, чем в Германии или Италии, – а к тоталитаризму не привел! Это случилось (вернее, не случилось) только потому, что в

этих странах существовала уже давняя демократическая традиция. Массы в этих странах привыкли уже к жизни вне органических структур, они не бегут от свободы, у них нет ностальгии по утраченному прошлому, которую тоталитарные вожди так ловко подменяют утопиями золотого века в будущем. Более того, как показал опыт, устойчивая демократическая традиция, как ничто другое, способствует хозяйственно-экономическому росту (если подумать – рынок это древнейший и прочнейший демократический институт), и поэтому в демократиях не создалась ситуация, о которой в страхе пророчествовали критики, причем самые умные из них: что, мол, голодная и непросвещенная масса, пользуясь своими политическими правами, подтолкнет общество к социализму, проголосует за социализм в надежде «грабануть награбленное». Этого не произошло, потому что в старых демократиях нет уже голодных и непросвещенных, они стали странами средних классов.

И главное: эта пресловутая власть толпы над личностью, посредственности над талантом, количества над качеством, короче говоря – демократический хаос не дает массовому обществу организовать в стройный тоталитарный космос. Массовым обществом при демократии невозможно манипулировать, невозможно овладеть массой, которая состоит хотя бы из бескачественных атомов, – но наделенных полнотой человеческих прав, и главным из них: правом сказать «нет». Каприз тинэйджера или тупоумие провинциала оказываются гарантами свободы более верными, чем высокая мысль философа.

6. Эпилог-эпиграф

Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.

Марина Цветаева



СССР и США – противоборство в Космосе

38-летний профессор-историк Калифорнийского университета в Беркли *Уолтер МАКДУГАЛ* несколько лет посвятил изучению документальной истории освоения космоса. Он много работал в американских государственных архивах, в том числе в архиве НАСА в Вашингтоне, изучил большое количество документов, ранее недоступных для исследователей. Плодом его усилий стала вышедшая в конце прошлого года монументальная монография «Земля и небо: политическая история космической эры». В начале нынешнего года она была издана отдельной книгой нью-йоркским издательством «Бейсик букс» (The Heavens and the Earth. A political history of the Space Age. By Walter A. McDougall. 555 pp. New York, Basic Books). Труд Уолтера Макдугала был положительно оценен в американской печати, ему посвятила большой обзор «Нью-Йорк таймс» в своем еженедельном воскресном приложении «Бук ревью». Журналист *Александр ГАЛЬПЕРИН* взял у Уолтера Макдугала интервью, которое мы предлагаем вниманию наших читателей.

«Грани»: В своей книге вы немало места отводите истории «космической гонки», ее генезису. Не могли бы вы указать на «отправные точки», а заодно коснуться и первопричин этой гонки?

Проф. У. Макдугал: Если говорить об отправных точках, то никак нельзя умалить значение запуска первого Спутника в октябре 57-го года. Это была кульминация, которой предшествовали семьдесят лет разработки русскими учеными теории космических полетов, восходящей к работам Циолковского в последние десятилетия существования царской России, и экспериментальные испытания ракет. Велики и личные заслуги главного руководителя советской космической программы Сергея Королева, которому в конце концов удалось добиться осуществления мечты всей своей жизни и вывести ракеты

в космос, хотя прежде, чем его мечта сбылась, Королеву пришлось выдержать немало мытарств и несколько лет провести в ГУЛаге. При этом, конечно, важно помнить, благодаря чему Королев получил возможность работать над программой строительства ракет. После того как Соединенные Штаты в 45-м создали атомную бомбу, Сталин приказал форсированными темпами создать советскую атомную бомбу. Но Сталину была нужна не только атомная бомба, но и средства ее доставки на другой край света, чтобы грозить Соединенным Штатам Америки. Авиабаз в западном полушарии у Советского Союза не было, и Сталин остановил выбор на межконтинентальных, сверхдальних ракетах – работа над ними, по его приказу, также велась ускоренными темпами. Это происходило в 47-м – 48-м годах. Вот таким образом, благодаря советской военной программе, Королев сумел заняться проектированием мощных ракет, способных вывести в космос искусственные спутники, а затем и людей. Но, повторяю, теоретическая база и сама идея полетов в космос возникли в России задолго до советской власти.

«Грани»: Могли ли Соединенные Штаты первыми вывести в космос искусственный спутник?

Проф. У. Макдугал: Как известно, первый американский спутник – «Эксплорер I» – был запущен на орбиту в январе 58-го года, хотя Соединенные Штаты располагали всеми возможностями осуществить такой запуск гораздо раньше – и уровень американского ракетостроения был достаточно высок, и, кроме того, после 45-го года в Соединенные Штаты перебравась большая группа немецких ракетчиков во главе с Вернером фон Брауном. Однако этого не произошло, поскольку в конце 40-х годов Соединенные Штаты свернули большинство программ создания ракет дальнего радиуса действия, отчасти по бюджетным соображениям, а отчасти по той причине, что американская дальняя стратегическая авиация была достаточно надежной и межконтинентальные ракеты Америке не были нужны в той степени, в какой они были нужны Сталину. В результате американские ракетчики не имели щедрой поддержки военного ведомства, в отличие от Советского Союза.

Когда был запущен первый советский спутник, американские газеты устроили форменную панику и создали такое впечатление, как будто бы Соединенные Штаты отстают от Советского Союза и в науке, и в технике. Фактически же Америка опережала Советский Союз почти по всем техническим показателям – и в области электроники, и в миниатюризации, и в создании систем наведения, и в металлургии, и по части различных видов топлива – иными словами, во всех видах ракетно-космической техники, за исключением больших ракет. Но как только Соединенные Штаты взялись за строительство ракет, то и в этом они очень быстро наверстали упущенное. А созданная в 60-е годы фон Брауном ракета «Сатурн» до сих пор превосходит по мощности все советские космические ракеты.

«Грани»: Примерно к середине 50-х годов идея запуска искусственных спутников уже, можно сказать, «носилась в воздухе». Была ли у Соединенных Штатов к этому времени какая-либо определенная космическая программа?

Проф. У. Макдугал: Дуайт Эйзенхауер, который в тот период являлся президентом Соединенных Штатов, сильно противился принятию такой программы. Он опасался того, что американо-советское соперничество распространится и на космос и что дорогостоящая безудержная гонка вынудит американское правительство перевести экономику на «командные рельсы». Эйзенхауер полагал, что сила Америки заключается в ее свободной политической и экономической системе, военная же угроза со стороны Советского Союза и без того вынуждала американское правительство поставить под свой контроль многие отрасли научных исследований и технических и оборонную промышленность. Короче говоря, «холодная война» заставила американцев решать: как противостоять Советскому Союзу и защитить свои интересы и интересы американских союзников, не нарушая при этом основные свободы личности и не раздувая правительство-государственный аппарат. Ввиду того, что все советские военные программы были окружены плотной завесой секретности, появилась идея об использовании

искусственных спутников в разведывательных целях. Но на заре космической эры никто не знал, будут ли полеты таких спутников законными с точки зрения международного права. Президент Эйзенхауер опасался резкой реакции Советского Союза на вывод в космос американского спутника. И поэтому, когда на 57 – 58 год была объявлена программа Международного геофизического года, предусматривавшая вывод на околоземную орбиту искусственных спутников, американское правительство, принимая во внимание соображения президента Эйзенхауера, высказалось за небольшую научно-исследовательскую программу космических запусков с помощью малых экспериментальных ракет. Таким образом, начальный этап космической гонки выиграл Советский Союз, сделавший ставку на крупногабаритные военные ракеты. Это привело к двояким последствиям. С одной стороны, Советский Союз был вынужден признать законным полеты спутников над территорией других государств. С другой – «синдром Спутника», достигший панических масштабов, все-таки толкнул Соединенные Штаты в сторону создания централизованной экономики и положил начало американско-советскому космическому соперничеству, как того и опасался президент Эйзенхауер.

«Грани»: В исторической ретроспективе явления и события становятся намного яснее и понятнее, «фокусируются». Сейчас, четверть века спустя, очевидно, что Хрущев постарался выжать максимальный политический и пропагандистский эффект из первых советских космических успехов. Воспринимались ли на Западе хрущевские угрозы и заклинания всерьез?

Проф. У. Макдугал: Начальные советские космические триумфы – первый спутник, первый человек в космосе, первый групповой космический полет, первая женщина в космосе, первый Лунник – действительно нагнали на Запад страху: прежде всего потому, что они были окружены покровом тайны. Хотя официальная советская пропаганда уверяла: советские космические полеты преследуют мирные цели, Советский Союз отказывался сообщать информацию о своих спутниках, ракетах-носителях, конструкторах ракет. Даже местонахождение совет-

ского космодрома держалось в секрете. Больше того, каждый новый запуск сопровождался похвальбами и угрозами: советские ракеты – лучшие в мире, они могут доставить водородную бомбу в любую точку земного шара и т. д. и т. п. На самом деле хрущевские угрозы были блефом – Соединенные Штаты, благодаря своим разведывательным спутникам, уже к 61-му году знали об этом. Сконструированные под руководством Сергея Королева советские космические ракеты первого поколения годились для вывода в космос первых советских спутников и космических кораблей, но в качестве оружия они были малоэффективны – громоздкие, работавшие на жидком топливе. Чтобы подготовить их к запуску, требовалось значительное время, а кроме того их нельзя было упрятать в бункер или какое-либо другое укрытие, так что, при всей секретности, они были как бы «на виду». Американские разведывательные спутники «САМОС» обнаружили всего полторы дюжины советских ракет. Зная это, американцы не поддались на хрущевский шантаж ни во время берлинского, ни во время кубинского кризисов. Кубинский же кризис окончательно разоблачил хрущевский ракетный блеф.

Но американское правительство, располагая информацией, не спешило заявить об этом блефе во всеуслышание.

«Грани»: Американские разведывательные спутники, очевидно, доставляли Советскому Союзу немало хлопот, потому что до 63-го года тема «американские шпионы в небе» беспрестанно муссировалась советской пропагандой.

Проф. У. Макдугал: Президент Эйзенхауер предложил свою программу «Открытого неба», чтобы спутники каждой из сторон, как советские, так и американские, совершали свободно разведывательные полеты над территорией противной стороны. При этом Эйзенхауер руководствовался двумя соображениями, отнюдь не агрессивного характера: а) иметь информацию о том, какими военными возможностями располагает Советский Союз, чтобы не форсировать без нужды американские военные программы, и б) осуществлять инспекцию за соблюде-

нием соглашений о разоружении из космоса, поскольку против инспекции на местах Советский Союз всегда возражал. Ну, этот план Эйзенхауера Кремль встретил в штыхы – это, мол, узаконивание американского космического шпионажа, милитаризация космоса... И так продолжалось до 63-го года, когда Советский Союз и сам достаточно освоил необходимую космическую технологию и запустил свои собственные разведывательные спутники. Тогда сразу же все пропагандистские фейерверки угасли и Советский Союз молчаливо согласился с эйзенхауеровским планом «Открытого неба» де факто. А без этого плана – забегаю вперед – последующие американо-советские договоры ОСВ были бы невозможны...

«Грани»: Военным аспектом, хотя он и занимал, и продолжает занимать исключительно важное значение, американо-советские «космические отношения» не исчерпывались, не так ли? Существенную роль играл и фактор престижа...

Проф. У. Макдугал: Совершенно верно. При работе над книгой мне удалось ознакомиться со многими документами, в которых отразились перипетии разработки американских космических планов. Вашим читателям, наверно, будет небезынтересно познакомиться с несколькими характерными цитатами. Еще в пятьдесят четвертом году Вернер фон Браун подготовил доклад о возможности запуска искусственных спутников (доклад этот, кстати, в то время «остался без последствий»). В докладе он писал, что если Соединенные Штаты уступят СССР пальму первенства в этой области, это нанесет тяжелый удар по американскому престижу. Президент Джон Кеннеди на совещании в Белом Доме, после полета Юрия Гагарина, восклицал, обращаясь к своим советникам: «Если бы кто-нибудь подсказал, как мы можем их догнать». Преемник Кеннеди, президент Линдон Джонсон, уже в «разгар» космической гонки, говорил: «Тот, кто сегодня второй в космосе, по современным понятиям, второй и во всех остальных областях». Это, конечно, было преувеличением, но для тогдашних настроений высказывание весьма знаменательное. А адмирал Хайман Риквер в пятьдесят девятом году писал: «Если бы газеты

напечатали сообщение, что Советский Союз планирует отправить первого человека в ад, на следующий же день наши федеральные ведомства забили бы тревогу: „Мы не можем допустить, чтобы нас обошли!“» Но шутки шутками, а Соединенные Штаты действительно очень болезненно переживали отставание – как выяснилось, через несколько лет, отставание мнимое – от Советского Союза. На Дуайта Эйзенхауера, в президентство которого это произошло, посыпались, что называется, все шишки. Давление на него оказывали не только Демократы, которые рассчитывали свалить Республиканскую администрацию на выборах в 60-м году, но и самые различные «заинтересованные лица» и «заинтересованные группы» – пресса, академический мир, правительственные ведомства – «интерес» их заключался в том, чтобы правительство взяло на себя расходы по осуществлению обширных программ и проектов – научных, образовательных, программ социального обеспечения. Так что космическая гонка для заинтересованных лиц и групп стала поводом для нападков на саму политическую философию Эйзенхауера, который выступал за ограничение роли правительства, свободное предпринимательство и частную инициативу. Под этим нажимом «Айк» в пятьдесят восьмом году создал Национальное управление по авионавтике и космическому пространству (НАСА) для руководства всеми гражданскими космическими исследованиями. (Военные космические проекты было решено оставить в ведении вооруженных сил, что дало повод советским пропагандистам развивать тезис о «лицемерии» Соединенных Штатов – как же, у них есть отдельная военная космическая программа. Но это – «с больной головы на здоровую»: советская космическая программа почти целиком связана с военными целями, только Советский Союз открыто об этом не говорит.) Хотя и тогда Эйзенхауер пытался удерживать и НАСА, и военные ведомства от дорогостоящих космических экспериментов, однако он явно «плыл против течения».

«Грани»: Эти настроения во многом, видимо, и предопределили исход президентских выборов 60-го года, приведших в Белый Дом молодого кандидата демократов

Джона Кеннеди, который нацелил страну на новые – лунные – рубежи.

Проф. У. Макдугал: Да, действительно, советский космический «вызов» породил у американцев не только страх, но и вызвал бурный взрыв активности – страна не то что бы вышла из состояния летаргии – применительно к такому динамичному обществу, как американское, подобное определение ошибочно – она отрешилась от благодушия. Кеннеди, собственно, и победил под лозунгом «вдохнем в Америку новую энергию» и пообещал, что Соединенные Штаты «возьмут на себя любое бремя и заплатят любую цену», чтобы противостоять коммунистической экспансии во всем мире. И именно Кеннеди был «крестным отцом» космической программы «Аполлон», поставившей цель: высадить первых людей на Луне. Это была самая дорогостоящая федеральная программа мирного времени за всю американскую историю – доставка на Луну первых американских астронавтов обошлась в двадцать пять миллиардов долларов. Все американские космические программы объявлялись заранее, сами же американцы действовали «вслепую», в том плане, что о советских космических планах и программах ничего не было известно – Советский Союз ничего заранее не сообщал и не сообщает. И американцы исходили из предположения, что и советские космонавты готовятся высадиться на Луне, вопрос только, кто будет первым. Несмотря на многие препятствия, трудности и задержки (упомяну о гибели трех американских астронавтов при пожаре в одном из «Аполлонов» на стартовой площадке), эту «лунную гонку» Соединенные Штаты выиграли. Американский астронавт (Нейл Армстронг, июль 1969 года) ступил на поверхность Луны первым и советских космонавтов там не встретил. После этого Советский Союз пошел на пропагандистский трюк – он заявил, что никогда и не планировал полет на Луну. Но это не так. Сейчас мы знаем, что такая программа у Советского Союза была, но он не смог создать достаточно мощную ракету для доставки к Луне космического корабля с людьми. Тут, пожалуй, следует сказать о судьбе программы «Аполлон». Первый и последующие успешные амери-

канские лунные запуски, доказавшие лидирующее положение США в исследовании космоса, утолили жажду «реванша», и еще до завершения этой программы Конгресс начал срезать средства на космические исследования. И, кроме того, «Аполлон» был рассчитан только на полеты к Луне, и после шести лунных высадок эта программа себя исчерпала. Президент Никсон отказался утвердить проект полета американских астронавтов на Марс и даже план создания американской орбитальной станции в космосе – лишь в самый последний момент перед выборами в 72-м году он дал согласие выделить ассигнования для постройки «космического челнока». Если воспользоваться образами персонажей из известной сказки, то можно сказать, что американский «заяц» в семидесятые годы «прикорнул под кустом», в то время как советская «черепаха» ползла себе и ползла – космос бороздили все новые «Союзы» и «Салюты».

Грани: Ну, в первые-то «космические годы» советские темпы были совсем не «черепашьими»...

Проф. У. Макдугал: Согласен, но и тогда советская космическая программа разворачивалась – это теперь известно из опубликованных на Западе материалов – далеко не так и не теми темпами, как того хотелось ее создателям и творцам. Хрущевские «волевые методы» наложили на нее существенный отпечаток – Никита устроил форменную «космическую свистопляску». Сергей Королев, судя по всему, хотел развивать последовательную и планомерную программу освоения космоса с учетом имеющихся технических возможностей и, конечно, ему было бы интересно встретиться и обменяться опытом с американскими коллегами. Но Хрущеву космическая программа нужна была для совсем иных целей – прежде всего для демонстрации советского военного превосходства и для пропаганды коммунизма. Фактически это привело к тому, что в течение первых восьми «космических лет», с пятьдесят седьмого по шестьдесят четвертый, Королев вынужден был «выжимать» максимум и сверхмаксимум из одной и той же ракеты, из одной и той же капсулы космического корабля «Восток», тогда как он мог бы и готовить новую ракету и новый корабль для запуска на

Луну или даже трудиться над совместным проектом с американцами.

«Грани»: Леонид Владимиров в своей книге «Советский космический блеф» рассказывает, что Хрущев, получая информацию об очередном готовящемся американском космическом проекте, поручал Королеву придумать какой-нибудь новый «космический трюк» – только ради того, чтобы еще раз «застолбить советский приоритет» и «утереть нос» американцам.

Проф. У. Макдугал: Да, книгу Владимирова я знаю, она была переведена на английский язык. Хрущев так часто повторял свои пропагандистские тирады о советских космических триумфах, покоящихся на «гранитном фундаменте социализма», и превосходстве советской науки и техники, что, похоже, и на самом деле уверовал в то, что Спутник прямехоньким путем доставит Советский Союз в коммунизм. Техника же его в конце концов и подвела, как и сопротивление коммунистической системы техническим новшествам. Андрей Вознесенский в известном стихотворении писал о параболе, которая «гневно» пробила потолок. Хрущев верил и надеялся, что советская «космическая парабола» все время будет подниматься круто вверх. Но она, перефразируя Вознесенского, «гневно пробив потолок», потом так же «гневно» устремилась к земле.

«Грани»: Каковы, с вашей точки зрения, уроки первых двадцати пяти лет Космической эры? Какие дилеммы она поставила перед западными демократиями?

Проф. У. Макдугал: Дилемма, которую Космическая эра поставила перед Западом и, более конкретно, перед Соединенными Штатами в 60-е годы, заключается в следующем: непрерывное военное и экономическое соперничество, которое им приходится вести, угрожает привести к эрозии тех самых ценностей, ради которых только и стоит защищать демократическое общество. Эта же дилемма стоит перед Соединенными Штатами и сегодня. Удачнее всего суть проблемы сформулировал после запуска первого советского Спутника Джон Фостер Даллес. Он сказал так: «Деспотические общества, которые могут по своему желанию распорядиться всеми на-

циональными ресурсами, людскими и материальными, способны на выдающиеся свершения... Вопрос состоит в том, сумеем ли мы превзойти СССР и при этом сохранить основные ингредиенты свободы». Соединенные Штаты были (и остаются теперь) неизмеримо богаче, чем Советский Союз в те годы, когда был запущен Спутник, и их производительные силы были (и остаются теперь) куда более мощными, ибо лучший стимул прогресса – свобода. При советской тоталитарной системе экономика находится в хронически разлаженном состоянии, но, тем не менее, эта система дает возможность сосредоточить необходимые ресурсы в какой-нибудь отдельной отрасли, – например, в области производства военной техники. А это значит, что демократические страны вынуждены в целях сохранения равновесия прибегать к тем же методам централизованной экономики, какими пользуются их коммунистические противники. И эти тенденции к «централизации» из военной сферы перекочевывают в сферу гражданской экономики, поскольку в свободном обществе различные «заинтересованные группы» подвержены искушению использовать государственную власть в своих целях. Происходит эрозия свободы. И эта драматическая борьба была навязана западным демократиям, это результат советского вызова. Как любят утверждать коммунистические теоретики и пропагандисты, западное общество страдает от противоречий (пример: для защиты капитализма ему приходится прибегать к описанным выше совершенно не капиталистическим способам), но парадокс в том, что эти противоречия объясняются действиями Советского Союза!

«Грани»: Какими видятся вам перспективы космической конкуренции и освоения космоса?

Проф. У. Макдугал: Мне представляется, что предстоящее десятилетие будет еще одной вехой в космической гонке. С одной стороны, президент Рейган высказался за создание к 90-м годам крупной американской орбитальной станции и предложил создать систему космической противоракетной обороны. Советский Союз, в свою очередь, исподволь опробует свой собственный «космический челнок» и, как можно предположить, вновь попы-

тается ввести в строй мощную ракету-носитель, типа американской ракеты «Сатурн-V», которая доставила на Луну все американские «Аполлоны». Если это произойдет, то Советский Союз сможет вывести на космическую орбиту постоянно действующую станцию внушительных габаритов. Нельзя сбрасывать со счетов и перспективы – космические перспективы – других стран: Франции, Японии, Китая, Европейского космического агентства; не исключено, что и они смогут послать в космос астронавтов. Но, конечно, самые кардинальные последствия будет иметь реализация проекта космической противоракетной обороны, если только проект этот удастся осуществить. Тогда может появиться надежда, что и Соединенные Штаты, и весь мир избавятся от довлеющей над ними уже тридцать лет угрозы опустошительного ядерного удара, причем оптимальным был бы вариант, если бы Соединенные Штаты и Советский Союз согласились отказаться от создания наступательных систем в пользу систем оборонительных и одновременно договорились сократить свои ядерные арсеналы.

Что же касается освоения космоса в более широком аспекте, то мне вспоминаются слова Роберта Макнамары, бывшего министра обороны в правительстве президента Кеннеди. Он говорил, что космос это не миссия, не программа и не самоцель, а – место. И поэтому напрасно было бы ожидать, что при его освоении люди будут вести себя иначе, чем при открытии далеких континентов, покорении океанов и воздушного пространства. По моему мнению, в любые времена зрелость человечества измеряется степенью понимания им той истины, что новые технические возможности и та среда, к которой они открывают доступ, не могут изменить саму человеческую природу. Человеку свойственна жажда новых знаний, открытий, исследований – ради этого он будет стремиться в космос; правительства будут стремиться в космос по свойственной им жажде аннексий, власти, соперничества. Но вне зависимости от мотивов, будь то любознательность, коммерция, страсть к приключениям или веление долга, – люди и в космосе сохраняют свои достоинства и пороки, а правительства и во времена вой-

ны, и во времена мира будут действовать там теми же методами, что и на земле. Это, может быть, звучит не слишком оптимистично, но такова реальность. Я предпочитаю реальность утопиям, в частности, утопиям Циолковского, который верил, что выйдя за земные пределы, человечество облагородится. Когда такие фантазии развеются и мы избавимся от беспочвенных надежд и беспочвенного страха, то сможем во всей полноте насладиться великими космическими открытиями.



Россия, Европа и реальный социализм

К столетию кончины Н. Я. Данилевского и выхода в свет книги К. Н. Леонтьева «Восток, Россия и славянство»

Отыскивать совпадения, конечно, пустое занятие. Но разве не символично, что именно в 1969 году, ровно через сто лет после выхода в свет книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» на страницах «Вопросов литературы» критики и литературоведы Янов, Егоров, Иванов, Фризман и Кожин выступили с требованиями более беспристрастного и более полного изучения славянофильского наследия, а в «Молодой гвардии» появились статьи Чалмаева, Лобанова, да, кажется, и еще нескольких авторов с нескрываемо положительной оценкой славянофильской мысли. Значит ли это, что начался пересмотр традиционного подхода к славянофильству и почвенничеству как к «реакционной помещичьей идеологии»?

Выехавший вскоре в Америку и написавший целую книгу о неспособности русских завести у себя демократию Янов писал тогда, имея в виду главным образом отзывы Герцена: «Если мы действительно имеем дело с показаниями беспристрастных свидетелей – и не свидетелей даже, а участников борьбы, врагов славянофилов, – и показания эти расходятся с нашим безоговорочным обличением, то не становится ли нашей прямой обязанностью – перед собственной добросовестностью, если угодно, – одно из двух: либо доказать ошибочность этих показаний, либо признать свою собственную позицию хотя бы... не окончательной?»

Как западническая, так и славянофильская тенденции в русской мысли выступили в прошлом веке во множестве разных редакций. Безусловный западник Катков, издатель «Московских ведомостей» и «Русского вестника» был сначала либералом, а потом консерватором европейского толка. Достоевский попал на каторгу за участие в социалистическом кружке Петрашевского, а затем вместе с братом Михаилом издавал журналы «Время» и «Эпоха» – органы православного почвенничества. Убежденный западник Герцен, социалист и революционер, написал немало горьких слов о мещанстве современной ему Европы. А славянофил Киреевский писал между тем: «и что в самом деле за польза нам отвергать или порочить то, что было и есть доброго в жизни Запада?». И совершенно прав был Иванов, требуя в «Вопросах литературы»: «Давно пора восстановить историческую справедливость по отношению к славянофилам, давно пора развеять завесу, закрывающую плотной пеленой все, что находится вправо от революционных демократов, завесу крошечной тьмы, в которой все кошки кажутся серыми». И это в официальной печати! А в появившемся в том же 1969 году анонимном документе самиздата, озаглавленном «Чего же ты хочешь?» (очевидно, в ответ на одноименный роман Кочетова), сказано:

«Интеллигенция традиционно разделяется и теперь на славянофилов и западников. Славянофилы ищут опору в национальном духе и выступают против социальной реформации, рассматривая ее как насилие над духом. Славянофилы обладают тонким и сложным восприятием духовного мира, вниманием к отдельному человеку, стремлением понять его психологию, но как течение оказываются консервативными и даже реакционными, принимая людей такими, какие они есть и отбрасывая возможность их изменения. Крайние, наиболее консервативные формы славянофильства оказываются революционными, так как разделение явлений на истинные, идущие от века и наносные, появившиеся в новое время, приводит к неприятию существующей системы и к борьбе с ней».

«Западники исходят из существования современного индустриального комплекса и принимают в расчет, глав-

ным образом, один предмет: современное государство. Программа – от либерализма до полной перестройки общества. Либеральная программа вредна, так как заключается в вымалывании поблажек при неизменной структуре общества. Западники хорошо улавливают дух времени, реально оценивают влияние науки, техники и социальных отношений, но в то же время занимаются наивным проектированием, оторванным от реальности. Тем не менее их предложения разумны и, следовательно, привлекательны, что их выгодно отличает от славянофилов».

На взгляд современного оппозиционно настроенного советского интеллигента, – не всякого, но, надо думать, и не одиночки, – на основополагающих направлениях современной русской политической мысли понятия «славянофильства» и «западничества» по-прежнему выражают два глубоко укорененных настроения, составляющих как бы диалектическую пару. Удачно или не удачно, но в этих понятиях, в спорах об отношениях между Россией и Европой, начавшихся с «Философических писем» Чаадаева, без сомнения был поставлен вопрос, не решенный и до сегодня, вопрос об особенностях русской истории и своеобразии русской судьбы, а если посмотреть глубже, то и центральный вопрос философии истории, вопрос о всеобщих и индивидуальных, универсальных и локальных началах.

От верховников до декабристов русская политическая мысль примеряла европейские политические одежды к русской действительности. В лице западников она будет примерять их и впредь. Но это будет уже иная примерка. В ней дело пойдет уже не столько о формах общественного устройства, сколько об его основах. Среди западников появятся все течения современной им европейской мысли. Среди них будут и либералы, и консерваторы, и монархисты, и республиканцы. Наряду с умеренными требованиями в духе екатерининского «Наказа» и плана государственных преобразований Сперанского, поднимутся требования радикального переустройства общества. Увлечение социализмом и отталкивание от буржуазности, начиная с Герцена, указывает не просто на

стремление подравнять Россию к Европе. Как раз среди западников, крайние левые течения будут пользоваться европейской социалистической идеологией как окном в будущее, в утопический мир Сен-Симона, Фурье и Маркса, а марксистская философия истории – компасом на пути в этот мир. Образцом при этом послужит не реально существующая Европа, а идеальные построения европейских социалистов, подхватывая которые даже самые радикальные мечтатели-народники с их культом крестьянской общины, как зародыша социалистических отношений не смогут забыть, что у России, по выражению славянофила Тютчева, «особенная статья» и что надо считаться с этой «статьей».

* * *

«Россия и Европа» Данилевского была ярчайшим выражением начатого славянофилами поиска «особенной русской стати». Он пишет в ней о зарождающемся в России новом «славянском культурно-историческом типе». Задача русского патриота, по его мнению, заключается прежде всего в том, чтобы развить этот новый тип и в интересах этого развития отказаться от поверхностного «европейничанья», заимствования не соответствующих русскому духу европейских идей, в частности материализма и нигилизма. Он отнюдь не отрицает великих достижений находящейся в полном расцвете европейской культуры, но в захватившем ее эвдемонистическом мещанском духе видит предвестник ее заката. Россия для него – страна будущего. Ей суждено отстроить православную славянскую государственность, стать во главе славянства, быть «главным хранителем живого предания религиозной истины», разрешить проблему социальной справедливости на основе общественной солидарности, а в политическом отношении довести до конца борьбу за освобождение славян от турецкого ига и немецкого управления и создать федеративное славянское государство со столицей в Константинополе.

Книга Данилевского была чрезвычайно популярна среди тогдашних славянофилов. Мысль о том, что на смену подошедшей уже к закату западноевропейской цивилизации идет славяно-русская культура, льстила нашему национальному самолюбию, объясняя в то же время, почему европейцы впадают в столь грубые ошибки, когда начинают рассуждать о России. Концепцией Данилевского поначалу увлекся и Достоевский, но вскоре охладел к ней. Ему показалось, что Данилевский просто отрицает единство всечеловеческой цивилизации и практически сводит православие к атрибуту славянской культуры. С позиций христианского универсализма критиковал Данилевского и Владимир Соловьев, несправедливо отрицая за его книгой о России и Европе всякое положительное значение.

С этим трудно согласиться. Современники увидели в «России и Европе» прежде всего как бы историсофски обоснованный «манифест развитого славянофильства» и, увлекшись иманием чаемого славянского культурно-исторического типа, не рассмотрели подлинного достоинства работы Данилевского. Сейчас, через сто лет после его кончины, мы знаем, что именно в посвященных России страницах Данилевский трагически ошибся. Почти все написанное на них неверно. Русский народ отнюдь не «одарен в высшей степени консервативными инстинктами» и Россия вовсе не «едва ли единственное государство, которое никогда не имело (и по всей вероятности не будет иметь) политической революции». Мечты о всеславянской федерации оказались воздушным замком. Но и мечты об особом неевропейском славянском культурном типе тоже. Славянофильское почвенничество, как его понимал Данилевский, было беспочвенным.

Непреходящая ценность «России и Европы» в том, что она была также и первоначальным выражением рожденного из неустанного спора с западниками и, увы, незамеченного современниками большого научного открытия. Она, как с полным основанием пишет в своих «Очерках по истории русской философской и общественной мысли» С. А. Левицкий, «интересна уже тем, что он положил в ней начало столь модной теперь науке – срав-

нительному историеведению. Данилевский как бы вносит теорию относительности в историю. Он был первым историком, отрицавшим универсальность культур вообще и западной культуры в частности. Согласно его учению, существует множество культурных организмов, которые он назвал «культурно-историческими типами». Каждый культурно-исторический тип замкнут в себе, имеет собственную иерархию ценностей и, так сказать, собственную душу. Европейская цивилизация есть только один из восьми до сих пор существовавших культурно-исторических типов. Все культуры подобны биологическим организмам: они проходят через периоды зарождения, созревания, расцвета, дряхления и гибели. Европейская цивилизация уже прошла через период своего расцвета и теперь находится на пути к дряхлению. Вместо нее, на наших глазах зарождается иная славяно-русская цивилизация, которая, по его учению, вскоре, не без борьбы, сменит культуру Запада с тем, чтобы, пройдя через период расцвета, в свою очередь одряхлеть и погибнуть».

В противоположность несколько наивным историософским построениям ранних славянофилов (характерны в этом отношении хомяковские «Записки по всемирной истории») и не разработанным догадкам Апполона Григорьева – труд Данилевского методологически отлично продуман. Данилевский, конечно, уступает Шпенглеру в литературном таланте и остроумии, но превосходит его в методологической последовательности и строгости подхода. Размышлениям об отношении России – Европа предавались все мыслящие русские прошлого века. Но именно Данилевский оказался тем, кто, – пусть не везде удачно, – сумел вывести из них методологическое основание современного сравнительного культуроведения – понимание культурной системы, как органической целостности.

Предвосхищая ставшую всемирно известной книгу Освальда Шпенглера «Закат Европы», Данилевский уже в шестидесятых годах прошлого века усмотрел, что непременное условие развития культурно-исторического типа – независимость и самобытность основ данной цивили-

лизации, ограничивающая возможность внешних влияний. «Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа, – писал он в своей «России и Европе», – каждый тип вырабатывает ее для себя, при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций». И несколько ниже: «Период цивилизации каждого типа сравнительно очень короток, истощает силы его и вторично не возвращается». На стадии цивилизации по Данилевскому (как и по Шпенглеру) развиваются те стороны духовной деятельности народов, «для которых есть залог в их духовной природе». После этого народ, истратив все силы, возвращается в «этнографическое состояние». Уровень развития той или иной цивилизации определяется степенью развития «общих категорий», под которыми Данилевский понимает религию, культуру (в самом широком понимании) и общественно-экономические отношения.

Как и многие его современники, Данилевский стремился внести в свое исследование как можно больше элементов естественно-научной методологии и, как в своей общей концепции, так и в отдельных формулировках, был склонен уподоблять свои культурно-исторические типы животным организмам и порой чрезмерно подчеркивать своеобразие каждого из них. (Впрочем, у Шпенглера, – особенно в его блестящих сравнениях античной и европейской культуры, – это еще заметнее).

Естественник по образованию, Данилевский принимал участие в ряде ихтиологических экспедиций и разработке русского законодательства по регулированию рыболовства. В своей, написанной, правда, после «России и Европы» книге о дарвинизме (вышла в 1885 г.) он критиковал дарвиновскую гипотезу естественного отбора и, развивая «морфологический принцип», говорил об «органической целестремительности». Биологические роды и виды в его глазах не «ступени в лестнице постепенного совершенствования существ», а «совершенно различные планы», морфологическое развитие которых осуществляется согласно присущим этим родам и видам внутренним закономерностям. (Подразумевая, по-види-

тому, то, что в наше время заложено в понятии «генофонда»).

Точно также, по Данилевскому, «естественная система истории должна заключаться в различении культурно-исторических типов развития, как главного основания ее делений, от степеней развития, по которым только эти типы (а не совокупность исторических явлений) могут подразделяться». Всемирная история человечества для Данилевского состоит из историй отдельных культурно-исторических типов, и уже на следующей странице у него мы читаем: «Только народы составляющие культурно-исторические типы были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были поставлены, и этим вносил свой вклад в общую сокровищницу». Другие народы не играли пока «ни положительной, ни отрицательной роли». Они до сих пор служили «этнографическим материалом», из которого строится тот или иной культурно-исторический тип.

Увлеченный своим, – скажем условно, – «естественно-историческим» подходом Данилевский безусловно недооценивал значение несуществующих в животном мире культурных заимствований и влияний и, – как и многие другие первооткрыватели, – грешил известной схематичностью мысли. Описание перечисленных им цивилизаций зачастую страдает односторонностью, особенно там, где речь идет о заложенных в их духовной основе «общих категориях». Так, он описывает автохтонные, еще не дифференцированные, первоначальные цивилизации древнего Египта, Ирана, Вавилона, Индии и Китая (об автохтонных американских культурах до Колумба Данилевский не знал). Затем он выделяет еврейство как одноосновной культурно-исторический тип, созданный целиком верой в единого Бога, т. е. на религиозной основе. В древнегреческой цивилизации он видит господство общей категории культуры, а в частности эстетического вкуса, позволившего эллинам создать непревзойденные шедевры искусства и заложить основы философии, в то

время как в другой створке античной цивилизации, в Риме были выработаны принципы государственной и правовой организации общества.

Двухосновный западноевропейский романо-германский культурно-исторический тип у Данилевского рассматривается как «двухосновный», находящийся в «апогее своего цивилизационного периода» и отличающийся развитием научного и политического мышления.

Не будем повторять уже сказанное о чаемом тогдашними славянофилами и почвенниками славянском культурно-историческом типе. Но подчеркнем еще раз, что, указывая на неповторимое своеобразие каждой отдельной цивилизации, Данилевский тем не менее не считал, что они исчезали бесследно, но «вносили свой вклад в общую сокровищницу», иначе говоря, в историю человечества как целого.

В наше время, когда историческое сознание перестало быть европоцентричным и понятие самобытной цивилизации стало достоянием каждого гуманитарно образованного человека, утверждения Данилевского кажутся чуть ли не само собой разумеющимися, и даже генсек Горбачев, невзирая на ретроградное происхождение сравнительного культуроведения, говорит о «цивилизации нового типа, олицетворяемой социалистическим строем». Сто лет тому назад это не было так, и идеи Данилевского были подхвачены поздним славянофильством не в силу их научной значимости, а прежде всего потому, что они, как мы уже отметили, льстили русскому национальному самолюбию и хорошо укладывались в славянофильский идейный багаж. Для европейцев же Россия еще представлялась как отсталая культурная провинция, и Данилевского просто не заметили. (Как еще сто лет раньше Ломоносова с его законом сохранения вещества). Понятие «культуры» или «цивилизации», как органической целостности утвердилось в европейской исторической науке лишь в XX веке, и книга Данилевского вышла на немецком языке только в 1920 году, когда Шпенглер уже работал над своим «Закатом Европы».

Последовавшее вскоре в научных и околонучных кругах увлечение сравнительным культуроведением при-

вело к появлению множества исследовательских и публицистических работ, среди которых хочется отметить вышедшую в 1939 году в Швейцарии согретую большой любовью к России книгу Вальтера Шубарта «Европа и душа Востока», запрещенную в гитлеровской Германии, но, несмотря на запрет, переведенную во время войны на русский язык В. Д. Поремским и распространявшуюся в ротаторном издании среди военнопленных, оstarбейтеров и в оккупированной части России в порядке, как бы теперь сказали, «самиздата».

«Россия и Европа» ныне, разумеется, устарела, хоть, впрочем, далеко не так, как марксистское учение о неизбежно следующих друг за другом «формациях». О формациях в философии истории, кроме марксистов-ленинцев, никто уже не вспоминает, в то время как крупнейший английский историк и историософ Арнольд Тойнби в своих «Очерках истории» (Study of History) не только разделяет основную идею Данилевского, что «естественная система истории должна заключаться в различении культурно-исторических типов развития», но почти полностью принимает и его перечень цивилизаций, видя в них самодовлеющие, хоть отнюдь не замкнутые в себе культурные системы. Заслуга Тойнби – прежде всего попытка вскрыть движущие силы, действующие в процессах образования и распада этих систем. Для Данилевского, а вслед за ним и для Шпенглера цивилизации вполне подобны биологическим организмам и с необходимостью проходят через стадии зарождения, роста, расцвета, старения и смерти. Для Тойнби это не так. Для него система цивилизации – не организм, а социальная целостность, сообщество, удачно или неудачно отвечающее на вызовы судьбы, верно или неверно решающее задачи, которые ставит перед ним среда его обитания и внутренняя логика его развития. Неспособность разрешить возникшую перед ним задачу, ответить на вызов истории... Но оставим Тойнби. Его шеститомный труд нельзя описать в нескольких строках. Отметим лишь мимоходом, что византийско-русская культура рассматривается у него как особая система цивилизации, особый духовный мир, отличный от европейского, с собственной иерархией ценностей, и

что в этом Тойнби перекликается с автором тоже сто лет тому назад вышедшей книги «Восток, Россия и славянство» (т. I, Москва, 1885; т. II, Москва, 1886), Константином Леонтьевым.

* * *

«Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, что эллины строили себе изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр, в пернатом каком-нибудь шлеме, переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, или немецкий, или русский буржуа в безобразной комической своей одежде благодушествовал бы „индивидуально“ и „коллективно“ на развалинах всего этого прошлого величия?»

Да простит меня читатель, если я еще раз привожу здесь это хорошо известное место из Константина Леонтьева. Кто только его не цитировал! Но ведь цитировали то недаром. Во всей мировой историософской литературе едва ли можно найти другое, в которой так кратко и так ярко был бы выражен трагический вопрос о смысле истории.

У Леонтьева нет ответа на этот вопрос. Леонтьев ищет не конца истории, а цветущей сложности культуры. В его жизнечувствии, – кстати, очень нерусском, – эстетика господствует над этикой. Один из образованнейших людей своего времени, потомственный дворянин, блестящий стилист, писатель, врач и дипломат, он вслед за Данилевским поначалу надеялся, что «Россия – великий Восток. Она должна явить миру небывалую по своеобразию цивилизацию, противоположную мещанству Запада», что славянам вообще и русским в первую очередь суждено стать носителями нового культурно-исторического типа.

В учение Данилевского, «учеником и ревностным последователем» которого он поспешил объявить себя, как только прочел «Россию и Европу», Леонтьев внес, однако, немало существенных поправок и уточнений.

Размышляя об «общих категориях» развивающейся культуры и пытаясь определить истоки русских особенностей, он рассмотрел то, что плохо видели ранние славянофилы, желавшие возродить в России основы московского быта (в их время еще живого в народе) и, как впоследствии Тойнби, увидел перед собой не грядущий славянский, а православный византийско-русский культурно-исторический тип, влюбился в него и увидел в нем «антитезу идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного вседовольства».

Размышляя же о закономерностях зарождения, созревания и гибели цивилизаций, он устанавливает, что каждый культурно-исторический тип проходит как бы через три возраста: «первоначальной простоты», «цветущей сложности» и «смесительного упрощения».

В состоянии «первоначальной простоты» закладываются глубинные основы нарождающейся культуры, ее нравственные и эстетические представления о Боге, о мире и человеке, складывается ее жизнечувствие. В состоянии «цветущей сложности» происходит расцвет культуры и гениального творчества, но расшатываются ее первоначальные нравственные устои. Рядом с религиозной моралью появляется «поэзия изящной безнравственности», столь ярко проявившая себя в Европе ренессанса и барокко. Затем наступает период «вторичного смесительного упрощения», в который, по мнению Леонтьева, уже вступила современная Европа. Тут на первый план выступают требования общедоступности и равенства, одинаковости идеалов и жизненного устройства, начинается, – говоря словами самого Леонтьева, – «исполнинская толчея, всех и все толкущая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы», эгалитарный процесс, цель которого «средний человек, буржуа, спокойный среди миллионов таких же средних людей».

В «Истории философии в СССР» мысли Леонтьева обозначены как «откровенный обскурантизм». С пози-

ций марксизма-ленинизма оно, конечно, так и есть. Откровенный и бескомпромиссный отказ от характерного для «революционных демократов» поклонения перед идеалами «всеобщей пользы» и устремления к «светлому будущему» оправдывает такую характеристику. И в самом деле, по собственным словам Леонтьева, «византийский идеал не имеет того выюкого и преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом» и «мы знаем склонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в способности нашей к полному нравственному совершенству». Леонтьев полюбил Византию и древнюю Русь именно за отсутствие у них идеи прогресса, утилитарный и эвдемонический идеал которого он отвергал с точки зрения исторической науки за мечтательство под личиной мнимого реализма, эстетически – за однообразие и унисон, религиозно за высокомерную претензию на земное счастье без Бога.

Историко-философские взгляды Леонтьева, без сомнения, идут от Данилевского. Но его пафос совсем из другого источника. Его, вызвавший такую бурю среди революционных демократов, афоризм: «Нужно подморозить Россию, чтобы она не гнила» – крик отчаяния провидца перед надвигающейся катастрофой.

Леонтьев вовсе не ретроград, обскурантист и реакционер, как аттестует его «История философии в СССР». Действительно, к революционным демократам он не чувствовал ничего, кроме презрения. Но и он бунтовщик, и бунт его направлен в конечном счете против рожденной европейским гуманизмом идеи прогресса, ведущей к тому «вторичному смесительному упрощению», к которому, как он думал, идет Европа, а за ней и Россия, против «идеи всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства». «О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью гора всемирной истории. С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих рождается мышь. Рождается самодовольная карикатура

на прежних людей: средний рациональный европеец в своей смешной одежде, с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью. Нет, никогда еще в истории до нашего времени не видел никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идолом однородного, серого, рабочего, только рабочего и безбожно бесстрастного человечества. Возможно ли любить такое человечество? Не следует ли ненавидеть – не самих людей, заблудших и глупых, а такое будущее их всеми силами даже и христианской души?». «Тот слишком подвижной строй, который придал человечеству эгалитарный и эмансипированный прогресс XIX века, очень непрочен. Он должен привести или ко всеобщей катастрофе или к медленному, но глубокому перерождению человеческих обществ на совершенно новых и совсем уже не либеральных, а крайне принудительных началах». «Социализм теперь неотвратим... Но эти будущие победители устроят такую жизнь, что их порядки и законы будут несравненно стеснительней наших, строже, принудительнее, даже страшнее». «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по пути всесмешения и, кто знает, – подобно евреям, не ожидавшим, что из недр его выйдет Учитель новой веры, – мы неожиданно, из наших государственных недр... родим Антихриста». «Окончить историю, погубив человечество, разлитием всемирного равенства... сделать жизнь человеческую уже окончательно невыносимой – не в этом ли уготовано наше предназначение?»

Сила Леонтьева и как мыслителя и как писателя – в низвержении европейских (да и русских) кумиров, в обличении идолопоклонства перед свободой и равенством, перед прогрессом, перед социализмом, перед верой в возможность устройства земного рая.

В «Истории философии в СССР» о Леонтьеве сказано, что «в эпоху быстрого развития капитализма в России, роста революционно-демократического движения он (Леонтьев) пытался на идейной основе славянофильства создать социологическую концепцию, которая отвечала

бы классовым интересам дворянства и служила обоснованием политической практики царизма». С позиций марксизма-ленинизма эта оценка правильна. Но сегодня, через сто лет, можно смело сказать, что он, как и Достоевский, оказался куда прозорливее революционных и неревolutionных демократов: в наш век, когда угрозы перенаселения земного шара, истощения ресурсов и разрушения среды обитания, не только человека, но и всего живого, повелительно ставят перед человечеством вопрос о пределах роста, оптимистическая теория прогресса явно становится негодной. Преодоление ее, – если пользоваться понятиями Тойнби, – составляет сегодня решающий вызов, брошенный людям историей. Дальнейшая судьба и европейской и русской цивилизации зависит от того, сумеем ли мы ответить на этот вызов.

Правда, многие и сейчас еще думают, что цель исторического развития – наибольшее количество счастья для наибольшего количества людей и верят, что человечество восходит по прямой линии к высшим формам жизни, к светлому будущему и небывалому благоустройству. Но число этих многих все же заметно поуменьшилось. У нас в России исчерпывающую нравственную оценку идеи прогресса дал в своих лекциях в Вольной Академии Духовной Культуры в Москве уже зимой 1919-1920 гг. Н. А. Бердяев, положивший их затем в основание своей книги «Смысл истории».

Бердяев написал превосходную монографию о Константине Леонтьеве, внимательно изучил его мысли и, – как это видно особенно при чтении «Философии неравенства», – многое перенял у него. Его критика учения о прогрессе в главе X его книги «Смысл истории», по сути дела лишь повторение и развитие основной философской интуиции Леонтьева. Но почитаем:

«Учение о прогрессе предполагает, что задачи всемирной истории человечества будут разрешены в будущем, что наступит какой-то момент в истории человечества, в судьбе человечества, в котором будет достигнуто высшее совершенное состояние и в этом высшем совершенном состоянии будут примирены все противоречия, которыми полны судьбы человеческой истории, будут

разрешены все задачи. В это верили и Конт, и Гегель, и Спенсер, и Маркс. Правомерно ли такое предположение? Какое мы имеем основание в это верить, и, если бы даже мы это основание имели, то почему это может вызвать в нас энтузиазм, почему это должно быть нами нравственно принято, и почему такого рода надежда может быть для нас радостной?»

И дальше: «Ведь прогресс, позитивно понимаемый, заключается в том, что в потоке времени, в котором совершаются судьбы человеческой истории, одно поколение сменяет другое, человечество восходит на какую-то неведомую и чуждую мне вершину, идет вперед, идет вверх, к высшему состоянию, по отношению к которому все предшествующие поколения являются лишь звеньями, лишь средством, орудием, а не самоцелью. Прогресс превращает каждое человеческое поколение, каждое лицо человеческое, каждую эпоху истории в средство и орудие для окончательной цели – совершенства, могущества и блаженства грядущего человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела». «Тот пир, который эти грядущие счастливыцы устроят на могилах предков, забыв об их трагической судьбе, вряд ли может вызвать с нашей стороны энтузиазм к религии прогресса – энтузиазм этот был бы низменным».

* *
*

Бердяев с полным основанием связывает религию прогресса с социализмом, с утопией земного рая. Нашему поколению, чьи отцы на подъеме к светлым вершинам оказались в ГУЛаге, порой кажется, что дискутировать о ней нечего. Поклонение коммунистической утопии подвело Россию к краю пропасти и это, казалось бы, ясно всем. Но что таится в этой пропасти, какое начало, не на словах, а на деле составляет субстанцию социализма, мы еще только начинаем высказывать. Технология советской власти, тупики советского хозяйствования, стерильность советской культуры – все это хорошо описано и

проанализировано многими авторами. Что такое реальный социализм, мы знаем в результате неплохо. Попытка широкого историсофского осмысления социализма в современной русской мысли сделана, однако, насколько нам известно, только одна – это книга И. Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории».

Поставленную себе задачу Шафаревич наиболее четко сформулировал в резюме этой книги, опубликованном в солженицынском сборнике «Из-под глыб»: «Все говорит за то, что человечеству отпущено очень мало времени, чтобы решить – станет ли социализм его будущим на ближайшие века, а такое решение может предопределить всю его дальнейшую судьбу. Этим в число важнейших для нашего времени выдвигается вопрос: что такое социализм? каково его происхождение? какие силы он использует? каковы причины его успеха? куда он ведет?»

Книга Шафаревича соответственно такой постановке вопросов не претендует дать концепцию мировой истории в ее целом. Но она пытается проанализировать вырвавшийся ныне на первый план социализм как одну из главнейших движущих сил, а в наш век как решающую силу исторического процесса. Книга разделена на три части. В первой, озаглавленной «Хилиастический социализм», рассматриваются утопические построения, начиная с Платона и кончая XIX веком. Во второй – «Государственный социализм» описывается устройство государств, носивших, по мнению Шафаревича, социалистический характер, начиная с древних шумеров в Месопотамии и кончая периодом так называемого «военного коммунизма» в России. В третьей же части, дается анализ, в котором Шафаревич пытается ответить на вопрос о метафизической субстанции социализма, и этот ответ составляет, как мне кажется главную, если не единственную ценность его книги.

Книга Шафаревича вырвалась из-под глыб полувековой немоты русской мысли. И в ней, конечно, слышатся голоса тех, кто вместе с ним пытался осознать причины русской беды и о которых он вспоминает во введении «не

имея возможности назвать их имена и сказать, сколь многим я обязан каждому из них».

Поиск корней социализма уже у древних шумеров и в империи инков, как и странствование по средневековым ересям и философским утопиям объясняется вполне понятным желанием как можно шире охватить явление «социализм», проследить его, – как и заявлено в заглавии книги, – во всей мировой истории. Да оно и отлично укладывается в традиционное, хоть и устарелое ныне, представление если не об едином всемирно-историческом процессе, то по меньшей мере об единообразно действующих «законах истории». Книги Данилевского и Леонтьева в СССР недоступны. Открытия их забыты. Многообразие и морфологические особенности культурно-исторических типов, возраст и национальные традиции отдельных стран и цивилизаций остаются без рассмотрения. Существенны при таком подходе лишь неизменные, проявляющиеся везде и всегда общечеловеческие свойства и устремления, в числе которых социализм, в предельно расширенном истолковании, обнаруживается как неизменная движущая сила исторического процесса, как некий заложенный в социальной жизни всего человечества инстинкт.

Соответственно этой методологической установке, Шафаревич утверждает в итоге, что явные, экзотерические цели социализма, – уничтожение частной собственности, семьи и религии и равенство, как уничтожение иерархического начала в общественной жизни, – в своей глубинной основе суть лишь средства для его тайной эзотерической цели – уничтожения человечества. По его собственным словам: «Смерть человечества является не только мыслимым результатом торжества социализма – она составляет цель социализма». Или иначе: «Социализм – это один из аспектов стремления человечества к самоуничтожению, к Ничто, а именно – его проявление в области организации общества. Последние слова Жана Мелье „этим Ничто я здесь и закончу“ выражают, используя любимый оборот Фейербаха, „последнюю тайну“ социализма».

Шафаревич – наш современник. Он задумал и написал свою книгу через сто лет после «Легенды о Великом Инквизиторе», после «Бесов» и после пророческих строк Леонтьева. Его основная интуиция сложилась в условиях разложения отлаженного Сталиным режима активной несвободы, в процессе пробуждения самостоятельной мысли в России. И эта его интуиция гораздо глубже его анализов и обобщений. И думается, что не изучение древних деспотий и средневековых ересей, а лишь выстраданное знание о советской действительности водило его пером, когда он писал, что «в противоположность религиозной и национальной идеологии, открыто провозглашающей свои цели, „инстинкт смерти“, воплощаясь в социализме, надевает одежды религии, разума, государственности, социальной справедливости, национальных устремлений, науки – но только не открывает свое лицо. По-видимому, воздействие его тем сильнее, чем более его смысл раскрывается подсознательной части психики, но при условии, что сознание о нем не знает».

Шафаревич ясно понимает, что «по крайней мере три составные элемента социалистического идеала: уничтожение частной собственности, уничтожение семьи и равенство – могут быть выведены из одного принципа: подавления индивидуальности», подразумевая, конечно, не подданных восточных деспотов и не последователей средневековых ересиархов, а рожденную прогрессивным гуманизмом современную европейскую индивидуальность, которой не было и не могло быть в других культурных системах. И характеризуя именно наш теперешний, реально существующий социализм он совершенно правильно отмечает, что «особенность социалистических государств XX века заключается как раз в их идеологичности, в том, что они основываются на разработанной, выковавшейся тысячелетиями идеологии (и тем устойчивей, чем глубже разработана их идеология). Именно этого не хватало древним восточным деспотам, чтобы сохранить власть над миром в духовной атмосфере, созданной осевым временем... Создание этой идеологии было почти исключительно делом Запада – уже поэтому

невозможно рассматривать социализм XX века как «азиатскую реставрацию».

К сожалению, Шафаревич не развивает свою основную интуицию, быть может недооценивая ее глубину и силу. Он останавливается там же, где до него остановился Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе» и не случайно выбирает следующую цитату: «О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, невинными плясками. И не будет у них никаких тайн от нас. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей – судя по их послушанию, – и они будут нами покоряться с весельем и радостью». Шафаревич подчеркивает, что «как раз Великий Инквизитор понимает ту конечную цель, ради которой будет построена эта жизнь: „Он видит, что надо идти по указаниям умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут“».

Шафаревич не додумал до конца свою мысль об эзотерической субстанции социализма. Он не понял, что Великий Инквизитор ошибся, что замысел его не реализуем, хоть без сомнения знает, – как знает каждый из нас, – что реальный социализм никак не похож на картину, нарисованную Великим Инквизитором, что Сталину – не говоря уже о его преемниках – ни в чем не удалось убедить своих подвластных, что зажиточная жизнь с невинными песнями и плясками оказалась такой же фикцией, как и лицемерие радостной покорности посвященному в тайны умного духа идейному руководству.

Иллюзии, мифы и фикции, составляющие эзотерическую оболочку реального социализма, на наших глазах отрываются от реальности. Мертворожденный мир мнимого духовного бытия постепенно теряет власть над душами и сохраняет свое значение лишь как условная форма запрета или приказа. Созданная в целях угашения

свободы духа большевистская псевдорелигия (или псевдоидеология) угадает самое себя, превращается в псевдобытие, в онтологическое ничтожество. В этом возмездие Духа за ту хулу на него, которая с самого начала была заложена в эзотерическом замысле современного социализма. Его «последняя тайна», скрытое в нем Ничто, обнаруживается не как разрушение и смерть, а всего лишь как ложь, и «умный дух» – не как «дух смерти и разрушения», а лишь как «ложь и отец лжи».

И жертвой его становятся в первую очередь не те, кого собирались «обманывать всю дорогу», а те, кто берется за этот обман. Процесс образования эзотерического ядра в современном социализме или, если хотите, процесс самораскрытия его природы, осознавался его носителями только в более или менее самообманных формах. Отстраивая систему активной несвободы, они сами оказались ее пленниками. Уничтожая свободу других, они уничтожали прежде всего свою собственную свободу. Навязывая другим целенаправленные мифы и фикции, они тем самым лишали себя возможности осознания того, что за ними скрывается. Пытаясь обмануть других, они должны были обмануть и обманули самих себя. У современных работников ЦК КПСС, – портрет-фантом такого работника Дениса Ивановича Вохуша отлично описан М. С. Восленским в его книге «Номенклатура», – не должно и не может быть никаких убеждений. Различие между лицемерием и искренностью им не известно. Пафос социальной справедливости, пусть ложно направленной, но воодушевлявшей большевиков начала века, исчез бесследно. Он заменился фактопоклонством и служением делу, о смысле которого они неспособны даже задуматься. Они держат государственную власть в своих руках, считают ее своим достоянием и расплачиваются за обладание этим сокровищем страхом. Вся их административная практика, все созданное ими государственное устройство проникнуты одной заботой: обезопасить свою власть от возможных на нее посягательств. Они боятся своей армии, своих специалистов, своего народа, своих собственных товарищей по партии. Смертельно боятся гласности. И не рассуждающим сознанием, а нутром,

животным инстинктом чувствуют, что по сути дела их власть – самозванка, воссевшая на престоле незаконно. Удел самозванца – понимание незаконности своих притязаний и страх.

От них ждать нечего. Но от тех, кого они назначены обманывать и кого обмануть, оказывается, не могут, от тех, кто навязываемые им демонстрации активной несвободы, – всякого рода выборы, обсуждения, всенародные почины, товарищеские суды, кампании по борьбе и т. д., – превращает в откровенное лицемерие, можно ожидать чего угодно. И Шафаревич совершенно прав, когда на последней странице своей книги говорит о «глубочайшем опыте России, который мы едва лишь начинаем осмысливать». И прав, когда кончает свою книгу словами: «Несомненно, что и в случае всемирного осуществления идеалов «Утопии», и в бараках всемирного «Города Солнца» человечество может найти силы, чтобы вырваться на пути свободы, спасти образ и подобие Божие – человеческую индивидуальность, найти силы, именно заглянув в раскрывающуюся перед ним бездну. Но будет ли и того опыта достаточно? Ибо кажется столь же несомненным, что свобода воли, данная и человеку, и человечеству абсолютна, она включает и свободу в последнем вопросе – в выборе между жизнью и смертью».

* *
*

Чтобы закончить тем, с чего мы начали, спросим напоследок: западник Шафаревич или славянофил? И ответим: скорее западник. Социализм для него явление не русской, а мировой истории, движущая сила, действующая во все века, во всех государствах, независимо от того, к какому культурно-историческому типу они принадлежат. Шафаревич подходит, хоть и не с классовых, но с интернациональных позиций, и его возражения против марксистских «формаций» нетрудно модифицировать как возражения против устанавливаемых Данилевским, Леонтьевым и Шпенглером «возрастов», через которые

проходит каждая отдельная цивилизация. Казалось бы, между Шафаревичем с одной стороны и Данилевским и Леонтьевым – с другой, нет ничего общего; между тем они все трое – жертвы некритической веры в существование неких неизменных законов истории, выражаемых понятиями, неизменно сохраняющими один и тот же смысл, все трое грешат против основного требования современного историзма: мерить каждое историческое явление его собственной мерой и выражать его по возможности в его собственных понятиях.

И тем не менее, если славянофилу Данилевскому принадлежит заслуга, – пусть незамеченного на Западе, – основоположника сравнительного культуроведения, а вышедшему из славянофильства Леонтьеву – отречение от идеи прогресса, то Шафаревичу мы должны быть благодарны за попытку выявить корни и уловить метафизику «глубочайшего опыта России». Его книга тоже мало кем замечена.

И если дети «отсталой России» Данилевский и Леонтьев, как оказалось, во многом видели дальше своих европейских современников, то и живущий в условиях реального социализма Шафаревич, несмотря на своего рода методологическую отсталость, видит многое глубже научно безупречных советологов.

Россия, конечно, Европа, но она же и Неевропа. Ей поэтому были и будут нужны и западники, и славянофилы, которых куда точнее было бы вслед за Апполоном Григорьевым и братьями Достоевскими переименовать в «почвенников».

Правда, намеченный у Леонтьева и через полстолетия признанный Тойнби византийско-русский культурно-исторический тип принадлежит прошлому, а славянофильские мечты об особой славянской цивилизации оказались воздушным замком. Разумеется, средневековая Русь, особенно киевская и новгородская, отнюдь не была оторвана от Европы, а императорская Россия сперва политически, а затем и в культурном творчестве стала одной из великих европейских держав. Но вместе с тем, мы и до сегодня не вполне европейцы, мы – наследники не римо-католической, а греко-православной традиции и

хозяйева несоизмеримого с европейским полуостровом неповторимо просторного евразийского материка, самой географией предопределенного к государственному и культурному единству.

Думается, что и современные почвенники будут, учитывая «особенную статью» России, питаться из этой греко-православной традиции и стоять за российскую государственность по слову несомненного почвенника Солженицына: «Я желаю добра всем народам и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас – тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народа, по пословице – где уродился, там и пригодился, а глубже того – из-за несравненных страданий, перенесенных нами».

Что же касается западников, то они будут исходить из несомненно правильных утверждений академика Сахарова: «разобщенность человечества угрожает ему гибелью» и «человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода», а питаться они будут из укоренившихся в русской почве западноевропейских начал.

Отличие современного русского от европейца не в том, что он принадлежит к другой цивилизации и уж подавно не в том, что у него несколько иное культурно-историческое наследие. Отличие – в том глубочайшем опыте зла и лжи, который он приобрел, пытаясь превратить в реальность взятую из Европы утопию социалистического блаженства и в тех несравненных страданиях, которыми он заплатил за эту попытку.

Россия сегодня гораздо меньше Европа, чем она была сто лет тому назад. А европейские суждения о ней еще наивнее и поверхностнее, чем они были при Данилевском и Леонтьеве. Западники, конечно, правы – нам еще предстоит во многом подравняться к Европе, многое перенять и многому подучиться. Но осознать и осмыслить свой опыт, сделать из него философские, нравственные, художественные, религиозные и политические выводы должны мы сами. Никакая европейская культурность нам тут не поможет. Наоборот, тут нам придется помочь европейцам переосмыслить «общие категории» (по Данилевскому) нашего общего с ними «культурно-исторического

типа» и ответить на «вызовы истории» (по Тойнби), так убедительно перечисленные в «Размышлениях» Сахарова.

Для этого осмысления и переосмысления почвенники нужнее, чем западники. Не потому, что они умней или культурней, – нисколько они не умней, – но потому что их внимание и забота, и, главное, их любовь направлены на Россию, а опыт добра и зла, жизни и смерти, правды и лжи без любви не осмыслишь.

И западники, и славянофилы – русские люди, и выросли они из русской почвы. И думается, наше западничество должно быть почвенническим, а наше почвенничество – западническим.



Книга спасенного

В немецком университетском городке Тюбингене живет русский поэт. Зовут его Лев Друскин. Приехал он сюда в 1980 году, изгнанный из России за то, что его вольное слово появилось в Тамиздате. За то, что написал свою «Спасенную книгу», о которой и пойдет речь. Рукопись изъяли при обыске – к счастью, остались черновики; к счастью, на Западе был уже один экземпляр.

«Если хочешь быть счастливым – будь им!» – звонкая цитата из бессмертного Козьмы Пруtkова приходит на ум при чтении «Спасенной книги». Это – рассказ человека, и награжденного, и обездоленного судьбой. Сильного духом и слабого телом. Поэту выпал в жизни нелегкий жребий – читая его пронзительную прозаическую книгу, наполненную поэзией, поражаешься, как легко и необременительно для окружающих он свою ношу несет.

В «Мастере и Маргарите», книге, которую я, «для подзарядки аккумуляторов», перечитываю примерно раз в два года, помните, у Маргариты спрашивает Воланд: «Вы что – добрый человек? Высокморальный человек?» А она в ответ: «Нет, мессир, я – легкомысленный человек...» Это надо понимать так, что настоящая доброта – легка для окружающих. В книге жизни Льва Друскина прослеживается такая же прекрасная ненавязчивость, кажущаяся легкомыслием, – не слишком пристальное внимание к собственной беде, при остром сострадании к бедам ближнего.

Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Боже, дай подняться, дай собраться с силой.
Я тебя не видел, я тебя не знаю...
Дай прожить, ладони кровью не пятная.
Огради от злобы, охрани от муки,
Я тебе целую сморщенные руки.
Даже если вправду нет тебя, Владыка,
Упаси от раны, удержи от крика.
Сжался надо мною, сделай землю милой...
Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Лев Друскин. «Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта». London, Overseas Publications Interchange Ltd., 1984.

«Воспоминания ленинградского поэта» – таков подзаголовок книги. Она писалась годами, была практически завершена, когда шестидесятилетнего поэта советская власть вытолкнула с его родины. «...мне шестьдесят лет, – пишет Лев Друскин во вступлении, – как говаривал Шолом Алейхем, я еду уже не на ярмарку, а с ярмарки. А моя жизнь, в известной степени, документ эпохи». Проследим путь его души. Пойдем от истоков. Мальчик, родившийся в 1921 году в Ленинграде, заболевший, когда ему не было еще года, полиомиелитом, прикованный всю жизнь к инвалидному креслу. С такою бедою люди не живут – выживают. А вот он – решил жить, болея всеми бедами своего времени, впадая во все его заблуждения, в свой срок – прозреть. В жизнеощущении Друскина нет безмерности, бездонности, бесшабашности, вообще бездны, но в нем тонкая сдержанность, сила, владеющая собой.

Первое свое стихотворение Лев Друскин написал подростком, находясь в институте Турнера, где занимались восстановлением трудоспособности физически неполноценных детей. Его стихи поначалу – наивно-подражательные, замешанные на классике – от Шекспира до Полонского, – подросток, мальчик из интеллигентной семьи, зачитывался лучшими на свете книгами.

...Находясь в лагере на Воркуте, мой отец, вместе с другими экаками, вчерашними «работниками умственного труда», разрабатывал шуточный «техминимум какао». Вот что это значило: человек в раннем детстве, чтобы стать интеллигентом, должен выпить цистерну какао, а затем прочитать книги, список которых и прилагался: Шекспир и «Маленький лорд Фаунтлерой», «Королевская Аналостанка» и Чарская, Марк Твен, «Остров сокровищ», книги «Золотой библиотеки». Большое мужество – шутить на каторге!..

В «Спасенной книге» Льва Друскина читаем:

«Книги моего детства» – «Маленький лорд Фаунтлерой», «Война и мир», «Сказки» Киплинга (...) «Алиса в стране чудес», «Герой нашего времени», «Пакет» Пантелеева (...) Почти одновременно прочел я и Чарскую, и статью Чуковского «Тридцать три обморока». Короче, налицо тот же «техминимум какао» – то, что с детства сеяло в душе человека разумное, доброе, вечное.

В больнице Турнера подростки озорничали, мечтали, влюблялись – как все школьники. И так же, как он мог это увидеть где угодно, – Лева видит там «краешек чужой беды», которая через два-три года станет всенародной: начало Большого террора. Только, принужденный к созерцанию, мальчик видит чуть больше, чем его сверстники.

Человек, живущий воображением, созревает раньше. Стихи Льва Друскина обратили на себя внимание ранним мастерством. Самуил Маршак разглядел в нем поэта – и стал опека́ть его. С восторгом и горечью пишет Лев Друскин об этом человеке. Хотя эта глава помещена в «детской части» воспоминаний, она рассказывает об отношениях двух поэтов и в зрелые годы. «Он шел за мной всю жизнь, – пишет автор, – идет и сейчас, и я часто вижу его напротив: то пятидесятилетнего, полного, но очень подвижного, со сбившимся набок галстуком, с живым рябоватым лицом, со лбом в апофеозе папиросы, то изможденного, похожего на старушку, усохшего вдвое, почти бесплотного...» Педагогом и мэтром стал для Друскина Маршак на всю жизнь. Однако автор не утаивает, как постепенно менялся этот человек, как была эта перемена печальна и гибельна для его дара. Самуил Яковлевич, вместе с Корнеем Ивановичем Чуковским, вытаскивший на своем горбу всю детскую литературу, выдающийся переводчик Шекспира и Бёрнса, мало-помалу, поддавшись всеобщему страху эпохи, соблазну государственной карьеры, становится лукавым царедворцем. Он не защищает друзей, когда мог бы защитить, и тем самым – предает их. Тень и свет борются в этой душе. Глава об С. Я. Маршаке заканчивается стихотворным портретом:

Маршак сидит в халате и брюзжит.
Он смотрит снисходительно и строго.
Он понимает, что моя дорога
Наискосок – проклятая – лежит.
Он мне советы добрые дает.
Вернусь домой и стул к столу поставлю.
Но ни одной строки не переправлю –
Господь судья, а что-то восстает.
А утром вновь по улицам седым
К нему приду я и напротив сяду,
И дивную английскую балладу
Он мне прочтет, закутываясь в дым.
Как тетерев токует на снегу,
Закрыв глаза, один с поляной белой...
Прочтет и скажет сухо: «Переделал?»
А я отвечу тихо: «Не могу».
Он переспросит каждую строку
И буркнет: «Как же! Вам не до советов!»
И на прозрачном томике сонетов
Напишет: «Моему ученику».

1941 год. Вокруг поэта, двадцатилетнего романтика, кипят чужие беды. Идут аресты. Не за горами война. С первых ее

дней он пошел в агитбригаду – читать стихи бойцам. Затем – ленинградская блокада. Чудом выжил. Но и в голодном городе не прекращались стихи:

У меня была бабушка Мирра –
Мама мамы, начало начал.
Рвались бомбы, дрожала квартира
И от голода город кричал.
Баба Мирра к окну подходила,
В них глядела сквозь холод стекла
И за каждого Бога молила...
Что еще она сделать могла?

В «кричащем от голода» городе, в железную стужу раздался голос «плакальщицы и утешительницы» Ольги Берггольц. Это было чудо – дар, пробужденный Провидением в блокадных годах. Божество ушло вместе с горем – как поэт Ольга Берггольц умерла вместе с тысячами безвестных героев. Осталась тусклая оболочка, – о чем с горечью пишет Лев Друскин.

А вот продавший – за бешеные деньги и заграничные поездки – душу советскому дьяволу писатель Юрий Рытхейу, сам, как бес, умный и хитрый. Родившийся в чукотской яранге, «необыкновенно высоко поднятый советской властью, ею же и загубленный». Интонация рассказчика резко меняется: «Это удивительный сплав культуры и дикости, обаяния и отталкивания, широты и скупости, цинизма и немного притворного детского простодушия».

Друскин-рассказчик нигде не навязывает читателю своего мнения. Здесь – все то же, свойственное ему чувство уважения к собеседнику, дружелюбие. Он излучает доброжелательность – этот поэт. В Комарово, в домике, где жили Друскины, телефон не умолкал с утра до ночи, друзья шли непрерывно – и всем было тепло возле этих людей.

В книге поражает точность – словно сцены выхвачены из жизни моментальным фотоснимком. Вот страшная главка – об убийстве матери поэта в войну:

«НЕ СКАЗАВ НИ СЛОВА

Где он, сосед по купе, убийца мамы – молодой, холеный? Утром, не сказав нам ни слова, не предупредив, он привел патруль и снял с поезда отекающую от голода женщину и ее парализованного сына, потому что ночью они чесались. И мы добирались от Рязани до Ташкента больше месяца. А тот поезд домчал бы нас за три дня. И мама была бы жива, была бы жива...»

Душевное мужество, преодолевающее беды, проявилось у Льва Друскина и его жены Лили, двух больших немолодых людей, в тот час, когда они стали подвергаться гонениям. Исключение из Союза писателей, предательство друга, угрозы ГБ. И – ужасная, грустная глава об отъезде, когда двум инвалидам никто не смел протянуть руку, чтобы помочь забраться на трап самолета... А за барьером друзья, и в воздухе – вечная разлука! Видя это, пассажир итальянец, потрясенный виденным, сказал им то, что впоследствии оправдалось: «У вас еще будут проблемы. И вероятно, много. Но они будут совсем другие. Таких унижений и трудностей вы не испытаете уже никогда».

В первых главах этих воспоминаний отец просит сына: «Будь человеком!» И в конце тот с полным правом может сказать: «Я выполнил твою просьбу, папа».

Книга Льва Друскина – насквозь реалистична – и даже не оттого, что изложенные там факты ни на йоту не выдуманы и не приукрашены. Автор не смог бы лгать, даже если бы захотел. В «Спасенной книге» – ни грана фальши. Это бесспорная удача художника, скромно отнекивающегося во вступлении: «Я никогда ничего не писал в прозе (...) А сейчас я обнажаю перо с чувством, что берусь не за свое дело».

К сожалению, следует отметить, что «Спасенной книге» не повезло: такое количество опечаток редко можно увидеть! Даже в двух эпиграфах – и то по идиотской опечатке!

Следует отметить еще то, что этому рассказчику и мастеру диалога чувства юмора не занимать. Иногда доброго, иногда печального. Вот главка –

«МУЖ АХМАТОВОЙ»

Как-то к нам на дачу в жаркий солнечный день зашел человек в трусах – по дороге с озера.

- Здесь раньше Ахматова жила?
- Да.
- А муж ее кто?
- Поэт.
- А как его фамилия?
- Гумилев.
- Он что – и сейчас тут живет?
- Нет, он тоже умер.
- Давно?
- Давно.
- Когда же?
- В начале революции.

– Его что – белые убили?

– Нет, красные, – ответила Лиля...

Он посмотрел на нас дикими глазами и мгновенно исчез».

И еще один, очень существенный – нравственный – аспект у этой книги. Здесь затрагивается тема, на которую сейчас, по сей день, пишут мало, обходят кругом. Это тема личной ответственности каждого за Большой террор. Все ведь видели – вокруг сажали, уничтожали. И все молчали. Верили, что так надо? Лгали себе, что не замечают? И автор «Спасенной книги» тоже видел все – и молчал тогда. «О ПОДЛОСТИ» – так назван маленький рассказ, который начинается: «У меня мало в жизни позорных минут, подлых поступков. Но они есть, как в жизни каждого человека...»

Лев Друскин принял свою судьбу и верен ей.

Судьбу нельзя сменить. Только исчерпать ее.

...От всего этого – сострадания и самоосуждения, от доброты и юмора, от ума и таланта – над книгой Льва Друскина – словно ореол, словно аура. От нее тепло – тем теплом, что спасло самого автора на его трудных жизненных путях. Все это позволяет назвать «Спасенную книгу» Льва Друскина – *Книгой спасенного*.

Кира Сапгир

ОТ РЕДАКЦИИ:

Помещая эту рецензию, «Грани» поздравляют своего автора, Льва Савельевича Друскина, с 65-летием, желают ему здоровья, долгих лет, счастливого творчества.

«Игра», не стоящая свеч

Упаси меня Бог от попыток законодательствовать в той хрупкой области человеческих иллюзий, что именуется литературой: слишком много за них, за нее плачено – и платить еще без краю. Однако же, не потому ли мы и требования к ней формулируем с такой яростью? Не потому ли так не расположены прощать эрзац, клюквенное, морковное – подмену?

«Жизнь – сцена, люди на ней – актеры»: этой великой фразе четыре сотни лет, повторять ее стало уже неприлично, осо-

Юрий Б о н д а р е в. «Игра». Роман. – «Новый мир», №№1-2, 1985.

бенно вкупе с «что наша жизнь? – Игра!», более юной, но уже приобретшей и полуприличный перифраз, – все от захватанности. Но вот уважающий себя (и читателем тоже, вроде, уважаемый) советский прозаик Юрий Бондарев, с невинностью двадцатилетнего дебютанта, называет свой последний роман «Игра» – в том самом потертом смысле «жизнь – игра», никаким лукавым мудрствованием себя не утруждая. То есть не утруждает он себя в выборе названия, в самом же романе – как раз утруждает, и сильно, потому он его и проиграл. Но мы об этом поговорим позже.

Честно сказать, я никогда еще не испытывала такого соблазна ограничить свою рецензию единственной фразой посреди белого листа: «Имярек написал плохой роман»; однако же, в данном случае «имярек» сделал его плохим столь многозначительно и многозначно, что писать о нем даже как-то азартно.

Бондарев решил написать что-то вроде современного Апокалипсиса, при этом не расставаясь с гражданским, а также социально-психологическим состоянием советского писателя. Предприятие само по себе любопытное, однако заранее обреченное; этого не может быть, потому что не может быть никогда. Крушение мира – не костюмированный спектакль; изображая его, нельзя обойтись без грязи и грубости обнаженных вещей, неделимых составных человеческой жизни, короче – не впасть в ту самую, последнюю, смертельную, немыслимую простоту. В немыслимую правду, голую и без признаков философского содержания, как ножка стула. Советскому писателю этого не осилить по определению, поскольку его натаскали изображать, «как должно быть», так что у него и быть – непременно с сахаринном. Он тем и отличается от просто плохого писателя, известного всем временам и народам: обязательным сахаринным налетом не только на произведении в целом, но и на разных компонентах его: на фабуле, развитии действия, образах, общей композиции, а главное – на слове, которого ему не почуять, не услышать, не понюхать – оно у него плоско, как рыба камбала.

Но Юрий Бондарев себя запрограммированной единицей признавать, естественно, отказывается. Напротив – он горд своей творческой смелостью и внутренней свободой, ибо герой его романа, Вячеслав Крымов, во-первых, позволяет себе проявлять чудеса некоммуникабельности, а во-вторых, еще и умирает в финале романа, не повинившись перед обществом.

О Крымове нам говорится, что он – пользующийся мировой славой кинорежиссер, талантище, едва ли не гений, умница, глубокий и тонок, русский интеллигент в истинно метафизическом

значении этого слова. С ним произошло несчастье: погибла на съемках его фильма молоденькая актриса, с которой он нежно дружил, влюблен был вполне платонически, как в абстрактное слово «юность». Она на его глазах прыгнула с моста в реку, и ни нам, ни герою непонятно, действительно ли она хотела умереть, или произошел несчастный случай. И Крымов чувствует себя виновным в ее смерти, потому что уговорил согласиться на роль, потому что не смог заслонить от сплетен и завистливой злобы, потому что в конечном счете погубил ей жизнь.

Окружающие же в этой истории разобрались просто: Крымов, которому за пятьдесят, завел романчик с двадцатилетней девочкой, дал ей главную роль в своем фильме, хотя актриса она никакая; она, видимо, рассчитывала его на себе женить, но не вышло, вот с отчаянья и наложила на себя руки.

И все ополчаются на нашего героя. Директор киностудии Балабанов, а также высокое идеологическое начальство собираются отнять у него постановку фильма, враги поднимают голову, жена не верит ни одному его слову, дети пытаются весьма неловко его защищать, хотя сами все-таки считают его виновным; его вызывают на допросы в прокуратуру, – он остается безвыходно один. И – умирает. Умирает по необходимости: потому что ни ему с собой, ни Бондареву с ним делать больше нечего – устами Крымова автор уже все сказал, что хотел. Однако смерть героя не лишена оптимической ноты: как раз перед этим он решил, что будет бороться до конца, и в последнем, запредельном уже видении предстает ему протопоп Аввакум – символом его нравственной победы.

Вот что рассказано нам в романе. И все было бы превосходно, если бы не досадные детали. Самая крупная из них состоит в том, что весь конфликт романа – картинка-обманка. На самом деле никакого конфликта нет. Талантище Крымов никаких поступков не совершает, он постоянно произносит монологи – внутренние и вслух – одинаково длинные, плоские и пустые, а также чрезвычайно напыщенные. Бондарев, с немалыми трудами, строит две сцены столкновения Крымова с директором студии Балабановым, дабы показать нам несовместимость этих двух личностей: труса и чинуши Балабанова – и художника Крымова. Однако труды автора пропали даром, ибо столкновения нет: оба они совершенно одинаковы, изъясняются на одном языке, произносят одни и те же бессмысленные фразы и совершенно идентично бездарны.

Подобная же неприятность постигает Бондарева и когда он пытается представить нам образ Ирины Скворцовой, погибшей актрисы, как чудо свежести и чистоты, с неожиданным, рас-

пахнутым, тонким и проникновенным взглядом на мир; но это мы знаем только со слов автора, ибо сам персонаж и бледен, и беден, и искусственен – гуттаперчевая кукла.

Конфликт романа не существует – не только потому, что стороны его, по самой своей сути, сделаны из одного теста, и даже прежде всего не потому. Он не существует из-за смещения темы, из-за подлога, подделки, которую Бондарев пытается всучить нам за чистую монету.

В романе есть персонаж, который и для автора, и для самого произведения не менее важен, чем главный герой. Это – знаменитый американский кинорежиссер, коллега и друг Крымова, Джон Гричмар. Вводя его в действие, Бондарев убивает сразу двух зайцев: во-первых, показывает, что никаких «железных занавесов» нет – вот, пожалуйста, два художника, сыновья двух великих сверхдержав, общаются на равных и превосходно находят общий язык; во-вторых, в уста американца можно вложить фразы, соображения, темы, которые в уста Крымова вкладывать несподручно.

И вот Гричмар и Крымов, только что оба получившие премии на Парижском кинофестивале, только что оба с него вернувшиеся (подчеркнутое равенство!), встречаются в Москве. И между ними происходит многозначительный разговор (разговоры, впрочем, у Бондарева всегда многозначительные) – о чем? О судьбах мира, разумеется!

Гричмар утверждает, что история стран – есть не биография правды, а биография лжи. Вот, например, история Америки – это «цепь вынужденных преступлений или просто преступлений – разницы нет». «Как вся история всех», – присовокупляет Гричмар. И жаждет услышать мнение Крымова. Об истории «всех» как биографии лжи? О нет, конечно, – об Америке. И Крымов с великолепным апломбом произносит очередной монолог – о том, как «зависть и ложь, ничтожные рабыни, управляют миром». О том, как «американское невежество и безумие денег стали непобедимыми законодателями мод и произошла деградация мирового вкуса» (он так и пишет, Бондарев, – «мирового вкуса!»). И возведены на пьедестал – мишура, тупость и порнография. «Америка навязала всему миру свой бешеный денежный ритм, а сейчас чудеса своей американской цивилизации – бесцеремонную пошлость, рекламу, красивые этикетки и милую эстетику атомных бомб». Короче говоря, гениальный режиссер Вячеслав Крымов раскидывает перед нами во всем блеске жемчуга газетных передовиц.

А конгениальный ему режиссер Джон Гричмар так говорит о свободе: «Правда – слуга сильных. Значит, она – ложь, кото-

рая раскрывает перед собой все двери без стука и непрерывно говорит о свободе, чего жаждут посредственности». На вопрос о том, что это за свобода, которую жаждут посредственности, Гричмар поясняет: «Умный человек всегда свободен. Даже за решеткой. Мысль, мысль... Но свобода делает равными посредственность и мудреца и возникает зависть и несправедливость во взаимоотношениях. Зависть производит ненависть, поэтому свобода ложна».

Ай да американец! Ай да сукин сын! Свобода нужна только посредственности, дабы сравняться с мудрецами (то есть свобода идентифицируется с равенством – буквальным), а умникам гораздо лучше за решеткой, поскольку там посредственности им не мешают. Таким образом, господа, колючая проволока существует, дабы создавать оранжерейные условия талантам. Это, правда, американец говорит, а что нам американец? – он хоть и гений, но тупой, как галоша. Ему – можно, пусть несет дальше: «Блага нет в Штатах. Блага нет и в России, потому что нет пока искупления. История России – трагедия. Ничтожество уничтожало интеллект и талант. Разрушены храмы. Отец убивал сына, сын отца, жена предавала мужа в руки его врагов, сестра ненавидела сестру, брат брата. Уничтожен... почти уничтожен дух русского народа. Нет религии».

Как это всё прикажете понимать? Крымов тут Гричмару не отвечает, ибо тот дальше излагает свое отношение к России (он русского происхождения, сын купца первой гильдии). Если бредовый пассаж о свободе сделан таковым нарочито – чтоб этим как-то прикрыть дальнейшие слова о трагической истории России (тем более – России, не СССР), то выстрела не получилось, поскольку ответа на них не последовало, Крымов их как бы принял (а Бондарев себе за головокружительную смелость выдал орден); а если о свободе – всерьез, то, стало быть, полезная мудрецам колючая проволока – и есть то самое искупление за кровь, преступления и предательство? И искупают – все те же: кого убивали? Или искупление Россией ее трагической истории – в ее гибели вместе со всем человечеством от мировой катастрофы, куда толкает его, конечно же, Америка, «которая несет миру разврат духа и великую ложь»?

Но нет, Бондарев так далеко не заходит, он и рецепт предлагает: искать в мире душу, которую человек потерял в нетерпении жить легкой жизнью, а также обожествлять природу. Ему ведь невдомек, что чужую душу искать не надо, лучше искать свою, но куда ж ему деться от профессии «инженера человеческих душ»! Что до обожествления, то Бондареву и в голову, конечно, не приходит, что он проповедует старое, доб-

рое идолопоклонничество – не воздью, так природе. Он – учит, поучает. Он – знает, как надо.

Вот он, Апокалипсис: мир летит в тартарары, духовная и физическая гибель его идет от Америки; зависть, трусость и корысть есть и у нас, конечно (оттого – и одиночество, непонимание близких, драма Ирины), но у нас это как-то... нетипично. И потом вот – у нас любят на сене поспать... и церкви... и протопоп Аввакум (все это – без веры, без мысли, без такта; модной болтовней), а у них-то – только и есть, что «девочки танцуют голые»...

И вспоминает Крымов шумный, суетный Париж – парфюмерия и проститутки; и венский базар, где тоскующая эмигрантка продает последнюю матрешку; и маленькую, светлую площадь, которую искал, но так и не нашел...

Вот вам и конфликт – «они и мы». Запад – Восток. А вовсе не между творческой, светлой личностью и затхлым обществом, как хотелось бы автору заставить нас поверить. Не между Добром и Злом. Ибо глаголет он о критериях нравственных, а действует – согласно критериям идеологическим, как и полагается настоящему советскому писателю. Нечистую игру он ведет с читателем, и в этом смысле название своему роману дал очень уместное.

Что поражает в романе с первой строки его и до последней – это его суетливое, напряженное многословие при абсолютной художественной и художнической немоте. Слово – плоское, нищенское, оскопленное, не слово – слова, мешками, чемоданами, авоськами; трупики слов, сваленные в братскую могилу так называемого романа. Мертвый диалог, несуществующий, ибо перед нами – не беседующие персонажи, а протокол о встрече высоких договаривающихся сторон, друг друга не слышащих и не видящих.

Какие там герои, действующие лица, ни лиц, ни действия, ни тени юмора, потому что все – о себе, и все – всерьез, а всерьез – потому что Юрий Бондарев на самого себя смотрит снизу вверх и глазам своим не верит, и прикрывает их в восторге. Как же ему написать образ русского интеллигента? Легче внуху басовую партию спеть.

Но вот что интересно: роман этот очень созвучен нынешнему моменту, нынешней «истории как биографии лжи», пользуясь выражением Джона Гричмара. Перед нами типичный горбачевский приемчик: позволить себе чуть-чуть поболтать про запретное (и у нас – свобода! И жена Раиса в платье с блестками, не в райкомовском пинжаке!), а в главном – ни шагу назад. Про

нравственное – можно, и даже про аристократов духа, но что obviously было – о н и м ы!

По таким неукосным правилам и ведется эта жизнь – игра. Не пора ли попробовать просто – жить?

Виолетта Иверни

Конец прекрасной эпохи

Недавно в американском издательстве «Эрмитаж», которое возглавляет писатель и ученый Игорь Ефимов, вышло фундаментальное исследование профессоров-славистов Марка Альтшуллера и Елены Дрыжаковой «Путь отречения» с подзаголовком «Русская литература 1953 – 1968».

Альтшуллер и Дрыжакова обозначили рамки своего труда двумя запоминающимися датами: в 53-м году умер Сталин, а в 68-м совершилась оккупация Чехословакии. Пятнадцатилетний период между этими двумя событиями, ознаменовавшийся сложными культурными процессами, принято называть «хрущевской» или, с некоторой долей иронии – «кукурузной оттепелью», поскольку нововведения в общественной жизни Никита Хрущев сопровождал усиленной пропагандой выращивания кукурузы.

Вышеуказанный период привлекает к себе внимание как в Союзе, так и на Западе, но при этом отношение к нему в кругах интеллигенции, а также среди критиков и историков литературы – далеко не однозначно. У одних сохранилось в памяти ощущение нарастающего праздника и своего рода «культурной революции», другие восприняли оттепель как эпоху манипулирования на грани дозволенной правды и в рамках не столько смягчившейся, сколько растерявшейся и одряхлевшей цензуры.

Достаточно припомнить тот факт, что в начале шестидесятых годов, в пору триумфальной известности Евтушенко и Вознесенского, ленинградского поэта Иосифа Бродского ни больше ни меньше, как судили за тунеядство и выслали в Архангельскую область, не говоря о десятках тех молодых поэтов и прозаиков, чьи литературные попытки властям удалось пресечь без лишнего шума.

Марк А л т ш у л л е р, Елена Д р ы ж а к о в а. «Путь отречения». Изд-во «Эрмитаж», США.

Таким образом, в литературоведении наметились две опасные крайности при оценке культурных явлений послесталинской эпохи. Если советские историки литературы вообще не замечают специфики хрущевской оттепели, изображая развитие нашей литературы как единый и гармоничный процесс от Фадеева и Эренбурга до Белова и Приставкина, то эмигрантские филологи порою склонны вообще отказывать кому бы то ни было из официальных советских поэтов и прозаиков – Евтушенко, Вознесенскому, Абрамову или Трифонову – в крупнице творческого дарования, рисуя их исключительно – лицемерами, конформистами и трубадурами режима, то есть, в конечном счете, как это ни парадоксально, совпадая до некоторой степени во взглядах с казенным советским литературоведением.

В книге Альтшуллера и Дрыжаковой «Путь отречения» сосуществуют две тенденции – публицистическая и академическая, есть в ней нравственная притязательность с одной стороны, и с другой стороны – сдержанный научный анализ богатого фактического материала. Должен сказать, что академизм при этом довольно явно преобладает над публицистикой, и этому, принимая во внимание все сказанное выше, можно только радоваться, ведь недостатка в самой острой публицистике эмигрантское литературоведение не испытывает.

Характерно в своей многозначности само название книги Альтшуллера и Дрыжаковой – «Путь отречения». В нем заложена идея отречения от фальшивых ценностей сталинской эпохи, и в то же время слышится горькая нота, связанная с последующей частичной капитуляцией целого ряда писателей под воздействием наступивших вскоре идеологических заморозков...

Марк Альтшуллер и Елена Дрыжакова – муж и жена, бывшие ленинградцы, эмигрировавшие на Запад в 78-м году. Альтшуллер был в Советском Союзе специалистом по русской поэзии допушкинской эпохи, Дрыжакова занималась творчеством Герцена, оба напечатали в советских научных изданиях множество статей, после эмиграции преподавали в нескольких американских университетах, печатаясь как по-русски, так и по-английски.

В книге Альтшуллера и Дрыжаковой семь разделов, каждый из них ограничен хронологическими рамками и соответствует определенному этапу в общем процессе культурного ренессанса.

Первый раздел, «Оттепель», содержит анализ первых ростков свободомыслия в произведениях поэтов Твардовского, Слуцкого, Ольги Берггольц и прозаиков – Эренбурга, Дудинцева, Гранина.

Второй раздел, «Выжидательное пятилетие» (1957 – 1961), посвящен в основном Борису Пастернаку и его Нобелевской эпопее.

В третьем разделе, «На гребне хрущевского либерализма», содержатся короткие монографические исследования творчества Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы и других известных поэтов, триумфально заявивших о себе в эпоху послесталинской либерализации.

Четвертый раздел целиком отведен Солженицыну, причем, речь идет именно о Солженицыне-художнике, в то время как за последние годы Солженицын стал объектом анализа почти исключительно как публицист, историк и общественный деятель, что несколько искажает представление об этом писателе.

В пятом разделе, «Разрушение социалистического реализма», анализируется проза «Нового мира» в эпоху расцвета этого журнала, а также дается монографический очерк творчества Василия Аксенова – может быть, самого типичного представителя литературного поколения, сформировавшегося в послесталинский период.

В двух последних разделах речь идет о творчестве Евгении Гинзбург, Юрия Домбровского, Варлама Шаламова, Василия Гроссмана – то есть о писателях, которые так и не смогли, несмотря на весь хрущевский либерализм, опубликовать на родине свои главные произведения.

Кстати, именно в этих разделах мне удалось обнаружить ряд мелких неточностей. Приведу одну из них. Альтшуллер и Дрыжакова утверждают, что ни одно стихотворение Иосифа Бродского не было опубликовано в Советском Союзе. Это ошибка. В СССР опубликовано не менее семи оригинальных стихотворений Бродского, а также несколько его переводов, что, конечно же, не меняет существа дела: Бродский был и остается у себя на родине запрещенным поэтом.

Заканчивают Альтшуллер и Дрыжакова свою книгу сдержанно оптимистической нотой:

«...Хотя вторжение советских танков в Чехословакию означало возвращение советского государства к жесткому тоталитарному курсу, повернуть назад к сталинскому террору и заставить литературу писать по лживым стандартам социалистического реализма – КПСС не удалось».

От всей души мне хотелось бы разделить это чувство сдержанного оптимизма, но боюсь, что его не разделяют ни Ирина

Ратушинская, ни Виктор Некипелов, ни Анатолий Марченко, ни Лев Тимофеев, ни Леонид Бородин, ни другие писатели, находящиеся в тюрьмах, лагерях и ссылках, преступление которых заключается именно в нежелании писать по лживым стандартам.

С. Довлатов

Храбрый Шустрик

Делая передачи на радио или публикуя статьи в русской эмигрантской прессе, не очень хорошо себе представляешь, какой отклик все это находит в Советском Союзе. Ведь, так сказать, обратной связи с советским слушателем и читателем нет. Но вот, открыв роман Юлиана Семенова «Аукцион» (напечатанный в журнале «Дружба народов», 8-й и 9-й номера за этот год), я обнаружил, что работа моя не была напрасной. Юлиан Семенов имеет на меня зуб, да еще какой! Видимо, в своих статьях, посвященных его многочисленным повестям и романам, я очень больно наступил ему на любимые мозоли.

Не знаю, радоваться этому или печалиться. В принципе, я стараюсь не трогать людей, с которыми когда-то в Москве пил водку. В далекие теперь шестидесятые годы Юлик (тогда его все так звали) казался мне милым парнем, без особых писательских амбиций, бойко шустрившим в тех литературных жанрах, которые приносили наибольшие гонорары. После некоторых колебаний между отважными летчиками и славными работниками советской милиции Юлик нашел наконец для себя беспрюрышного героя: человека с горячим сердцем, чистыми руками и холодной головой. Кроме выше перечисленных высоких моральных качеств, этот герой обладал еще одной приятной особенностью, а именно – позволял печатать книги Семенова вне издательских планов и большими тиражами. Юлику Семенову нельзя было отказать в работоспособности. Он рожал своих героев-чекистов с таким усердием и плодовитостью, что я удивляюсь, почему до сих пор его не наградили медалью «Мать-героиня». Бывали у Семенова и удачи. Я уже говорил и повто-

Юлиан Семенов. «Аукцион». – «Дружба народов», №№ 8, 9, 1986.

ряю, что если не замечать в семеновском многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» идеологических сказок и исторических нелепостей, то, с точки зрения художественности, это очень крепкий драматургический материал. Однако, если увлечение Семенова Штирлицем можно было объяснить героизацией войны – все-таки Штирлиц боролся против нашего общего врага, фашизма, то гораздо труднее мне было понять пламенную любовь Семенова к нынешним кагебешникам. В романе «Аукцион» Семенов пишет, будто я его упрекаю в том, что он лижет кагебешникам руки. Не надо скромничать, Юлик, не руки, нет, – ниже. А руки кагебешников, Юлик, испачканы в крови наших с тобой коллег по Союзу писателей: зверски забитого Кости Богатырева и замученного в больнице Гелия Снегирева. В славословии в адрес Органов Семенов побил все рекорды, назвав КГБ, в романе «ТАСС уполномочен заявить», «орудием разрядки». И вот только после этого я вынужден был, устно и печатно, сказать несколько «теплых слов» своему бывшему приятелю. Уж действительно, ври-ври, да имей совесть.

Впрочем, как недавно выяснилось, зря я это делал. Увы, надо честно признавать свои ошибки. Ведь я-то полагал, что призываю к совести человека, который увлекся несколько лизанием Органов, переусердствовал. Но оказалось, что Юлик давно уже *служит*, и, как уверял меня один советский перебежчик (Юлик догадывается, о ком идет речь), товарищ Семенов имеет чин подполковника КГБ. Я могу полемизировать с писателями, даже самыми скверными, но со штатными сотрудниками КГБ я не полемизирую. Они лишь выполняют директиву, спущенную сверху.

Впрочем, саму директиву, то есть, в данном случае, указание, в каком виде надо нынче подавать писателей-эмигрантов, интересно проанализировать. Ведь по команде КГБ и, естественно, с вдохновением, Семенов описал не меня лично (хотя там есть некоторые узнаваемые черты: когда-то самый молодой член Союза писателей, а теперь парижский корреспондент радио «Свобода»), а создал, так сказать, типичный, с советской точки зрения, портрет писателя-эмигранта. Вспомним слова уже забытого Маленкова: «Типичное есть явление политическое».

Но сначала рассмотрим, кто в романе Семенова «Аукцион» противостоит эмигрантам, кто является оплотом советской власти в литературе. Им является... сам Юлик Семенов, который себе, любимому, посвятил уже несколько книг, сделав себя главным героем, писателем, журналистом-международником, под фамилией Степанов. Причем, согласно Семенову, Степанов

не просто мелкий шпион и агент влияния, нет, берите выше – он проявляет собственную инициативу и к его авторитетному мнению благосклонно прислушиваются мудрые генералы КГБ. (Читай роман Семенова «ТАСС уполномочен заявить».) Разумеется, Степанов – вылитая копия автора. Стройный, красивый, элегантный, находчивый, храбрый. Предвижу ироническую улыбку людей, хорошо знающих автора. Однако я настаиваю: храбрый, ибо сам был свидетелем, как, получив гонорар в издательстве, Семенов не попросил, как обычно, сопроводить его до сберкассы, а отважно отправился сам. А ведь то было не в Чикаго, а в Москве. Кругом страсти-мордасти, тьма египетская, волки воют... Отважный поступок. Словом, чтобы не путаться в дальнейшем между Семеновым и Степановым, назовем главного героя семеновских книг «Храбрым Шустриком».

А теперь вернемся к идейному противнику Храброго Шустрика – к Писателю-эмигранту. Писатель-эмигрант, в противоположность Храброму Шустрику, естественно, обладает отвратительной внешностью, не может изъясняться ни на одном иностранном языке, боится остаться наедине с самим собой, так как понимает, что совершил ошибку – ему не надо было покинуть родину. Вот это уже новации в кагебешной трактовке: Писатель-эмигрант не продался за чечевичную похлебку, а уехал из Советского Союза из-за уязвленного самолюбия, ибо, снедаемый черной завистью, не мог простить Храброму Шустрику успеха его книг. Но и здесь, на Западе, все словно сговорилось против бедняги Эмигранта. Книг его не издают, фильмов не ставят, а вот Храбрый Шустрик широко издается на Западе и получает большие гонорары в твердой валюте. Еще в Москве будущий Писатель-эмигрант завидовал Храброму Шустрику, что тот разъезжает на ЗИМе. Что же изменилось сейчас в положении Писателя-эмигранта? Храбрый Шустрик находит для него уничтожающий штрих: оказывается, Писатель-эмигрант разъезжает на Западе на *подержанной* машине. Да, граждане, дальше падать некуда.

На диспуте в Лондоне, выступая перед западной общественностью, Храбрый Шустрик говорит без бумажки, отвечает находчиво и остро, тогда как Писатель-эмигрант несет жалкую чушь и трусливо убегает из зала, когда кто-то, говорящий по-русски, приближается к нему.

Признаться, я все время гадал, почему советские товарищи упорно отказываются выступать в диспутах, скажем, на телевидении, если туда одновременно приглашают эмигрантов. Теперь понял: оказывается, это эмигранты панически бегут при звуках русской речи.

И все-таки мне представляется, что Храбрый Шустрик, говоря профессиональным языком, не дождал образ. Вот если бы он еще добавил, что Писатель-эмигрант тайком ворует бутерброды из кафе, то тогда, конечно, пригвоздил бы врага намертво...

Храбрый Шустрик, надо отдать ему справедливость, не требует немедленного расстрела Писателей-эмигрантов. Он выше этого, он у нас такой благородный, что даже жалеет горемык. Свысока он бросает им советы: обходите подальше враждебные радиостанции, ни в коем случае не вступайте в публичные споры с советскими эмиссарами за границей, а держитесь-ка лучше университетов. Ну что же, тут все ясно, это директива КГБ. Однако устами другого персонажа своей книги Храбрый Шустрик проталкивает такую любопытную мысль. Персонаж обращается к Писателям-эмигрантам: «Мне кажется, вы делаете всё, чтобы советские писатели видели в Кремле свою единственную надежду и защиту, вы же топчете их нещадно, разве нет? Может, целесообразнее отторгнуть их от режима. Чем больше вы похвалите Степанова здесь, тем меньше ему станут верить там». Не правда ли, интересно? Особенно интересно знать, диктовка ли это КГБ, в чем я, признаться, сомневаюсь, или частная инициатива Храброго Шустрика? Что же получается? С одной стороны, Храбрый Шустрик заклеил Писателей-эмигрантов, смешал их с землей, с другой стороны, ему ужасно хочется услышать похвалу в свой адрес на волнах враждебных радиоголосов. Да, тут есть о чем подумать.

Однако сначала надо уточнить одну вещь. Если мы, работая на радио, и слышим упреки в свой адрес (как правило, со стороны собратьев-эмигрантов), то только в том, что мы часто хвалим советских писателей. Может быть, упрек справедлив, но надо понять и нас. Ведь с большей охотой читаешь хорошую книгу, вышедшую в СССР, а на чтение плохих нет ни сил, ни времени, ни желания. Однако, боюсь, что тайные мечты Храброго Шустрика неосуществимы, и дифирамбов от нас ему не дожждаться. Вопрос: почему Храбрый Шустрик жаждет похвалы от враждебных голосов? Отвечаю: да потому, что в родном Союзе советских писателей к Храброму Шустрику относятся в лучшем случае снисходительно и серьезным литератором его не признают. Храбрый Шустрик это знает. Раздражение Храброго Шустрика против Союза писателей (а ведь, собственно говоря, кто там остался? Не больше десятка настоящих прозаиков и поэтов, предпочитающих не выступать на собраниях. Но пусть кто-то бросает в них камни, только не я), – так вот, раздражение против писателей проскальзывает в ядовитых репликах Храб-

рого Шустрика, да и в официальных интервью Юлиана Семенова, публикуемых на страницах «Литгазеты» и «Советской культуры». Действительно, незадача. Храбрый Шустрик издал множество книг, за его спиной всесильный КГБ, двойник Храброго Шустрика, такой же Шустряга в жанре международного журналистского бандитизма недавно получил пост главного редактора в искусствоведческом журнале – а вот, нет, не признают!

В разных писательских кругах назовут разные имена. В одних – Распутина и Белова, в других – Андрея Битова и Искандера, но если вы заикнетесь про Храброго Шустрика – на вас посмотрят как на идиота от рождения. Есть от чего прийти в отчаяние Храбым Шустрикам!

Лидеры нашего литературного поколения, поэты и прозаики буквально ворвались в литературу, ногой распахнув дверь в Союз писателей. У Храбрых Шустриков не было ни их напора, ни их таланта. Они в литературу вползали. Поначалу они заискивали перед нами. Потом, правда, быстро сообразили, что мы выбрали рискованный путь, и с нами им карьеру не сделать. А наш Храбрый Шустрик к тому же стыдился своей настоящей фамилии, и анкета у него была не блестящая... Чтобы проползти наверх, Храбрые Шустрики женились на дочерях литературных вельмож, и не могли себе позволить роскоши ошибиться в выборе темы. Утверждают, что КГБ завербовал Храбрых Шустриков, пользуясь темными пятнами их биографий (кто-то убил человека на охоте, кто-то в пьяном виде сбил на машине пешехода). Однако я убежден, что КГБ не надо было особенно стараться. Ведь если говорить по существу, то вся надежда Храбрых Шустриков была на железную длань КГБ. Представьте себе, что было бы, если бы сохранялись даже очень куцые свободы так называемой либеральной хрущевской эпохи. Представьте себе, что даже в тех сложных условиях продолжали бы работать в советской литературе Аксенов, Владимов, Войнович, Кузнецов, Максимов (я перечисляю не всех действительно талантливых литераторов-эмигрантов, а лишь тех писателей, которые добились широкой известности в Советском Союзе). Так вот, будь это так, кто бы сейчас читал книги Храбрых Шустриков? Но прозорливый КГБ расчистил почву, выгнал неугодных в эмиграцию, и Храбрые Шустрики зашустрили на родной ниве. И тем не менее, что-то их гложет, что-то им мешает.

Храбрый Шустрик со страниц романа «Аукцион» высказывает предположение, что эмигранты против него что-то затевают, что у них на него досье. Какие-то делишки, видимо, он за

собой знает. Но хватит дрожать, Храбрец. В конце концов, кому он нужен? Как говорится – спи спокойно, дорогой товарищ.

Анатолий Гладилин



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

А к с е н о в Василий Павлович, род. 20 августа в Казани в семье партработников, в 1937 году репрессированных.

Мать Аксенова Евгения Семеновна Гинзбург, многолетняя узница ГУЛага и автор одного из потрясающих свидетельств о лагерях («Крутой маршрут»), оказала значительное влияние на формирование сына.

Аксенов закончил I Медицинский институт в Ленинграде (1954 г.). Печататься начал с 1959 года. Автор широко известных романов, повестей, рассказов: «Коллеги», «Звездный билет», «Пора, мой друг, пора...», «Маленький Кит, лакировщик действительности», «Завтраки 43-го года», «Катапульта», «Товарищ Красивый Фуражкин», «Папа, сложи!», «На полпути к луне» (два последних – в «Новом мире» А. Твардовского).

Аксенов – один из создателей и участников альманаха «Метрополь». В 1980 г. был вынужден эмигрировать. В настоящее время живет в Вашингтоне. На Западе в издательствах «Ардис», «Серебряный век», «Эрмитаж» вышли книги его повестей и рассказов, собрание пьес и романы «Ожог», «Остров Крым», «Скажи изюм». В 1984 году в Париже в театре Шайо была поставлена пьеса «Цапля». Произведения В. Аксенова переводились почти на все европейские языки.

Б а т ч а н Александр, род. в 1953 году в Одессе. Эмигрировал в 1973 г. В 1978 г. окончил университет им. Брандайза (Бостон) по факультету психологии, а в 1980 г. – киноведческое отделение Нью-Йоркского университета, после чего был принят в аспирантуру при Школе искусства Колумбийского университета. Сотрудничал в нью-йоркских еженедельниках «Новый американец», «Новая газета», «Семь дней»; публиковался в журналах «Columbia Film Review», «Russian History», «Russia» и др. Работал в нью-йоркском Музее современного искусства, институте им. Гарримана по изучению СССР при Колумбийском университете, в Этническом совете в муниципалитете Нью-Йорка. С 1984 г. сотрудник радиостанции «Голос Америки».

В а й л ь Петр, род. в 1949 году в Риге. Закончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Ра-

ботал техником-конструктором, слесарем, грузчиком, пожарным, окномоем, журналистом. Служил в армии (1969-71). Эмигрировал в США в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал журналистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается в соавторстве с Александром Генисом.

Г е н и с Александр, род. в 1953 году в Рязани. Закончил филологический факультет Латвийского государственного университета. Работал рабочим, пожарным, журналистом. Эмигрировал в США в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал журналистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается в соавторстве с Петром Вайлем.

Выступают в литературной критике, публицистике, эссеистике. Печатались в газетах, журналах «Грани», «Континент», «Время и мы», «22», «Эхо», «Часть речи» и др. Авторы книг «Современная русская проза» (1982) и «Потерянный рай» (1983). С 1980 по 1984 гг. участвовали в редактировании еженедельников «Новый американец», «Новый Свет», «Семь дней».

Л е м х и н Михаил, род в 1949 г. в Ленинграде. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Эмигрировал из СССР в октябре 1983 г. Живет в Сан-Франциско.

В Ленинграде в университетской и институтских многотиражках опубликовал несколько статей об Аксёнове, Стругацких, Сулейманове, Александре Володине. На Западе печатался в газетах «Русская мысль», «Новое русское слово», «Панорама», «Новая жизнь» и в журналах «Континент», «Страна и мир», «Семь дней».

Л о с е в Лев Владимирович, род. в 1937 г. Сын поэта Владимира Лифшица (1913 – 1978). До 1976 г. жил в Ленинграде, работал редактором в детском журнале, писал стихи и пьесы для детей. С 1976 г. живет в США, преподает русскую литературу в Дармутском колледже. Автор сборника очерков «Жратва (Закрытый распределитель)» – 1984, книги стихов «Чудесный десант» – 1985, литературоведческого исследования «О благодетельности цензуры: эзопов язык в новой русской литературе» – 1984, опубликованного на английском языке.

П а п е р н ы й Владимир, род. в 1944 году в Москве. В 1969 г. окончил московское Высшее художественно-промышленное училище (Строгановское). Был дизайнером, театральным художником, киносценаристом, журналистом. С 1975 по

1979 г. работал в Центральном НИИ теории и истории архитектуры. Там он написал диссертацию, которая и составила основу книги «Культура 2». С 1981 года живет в США. В 1984 г. получил стипендию от института по изучению России и СССР имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне для работы над книгой «Визуальный язык советского города». В настоящее время возглавляет отдел рекламы в архитектурной фирме в Лос-Анджелесе.

П а р а м о н о в Борис Михайлович, род. в 1937 г. Кандидат философских наук. Преподавал историю философии в Ленинградском государственном университете. В 1974 г. уволен из университета, а в 1976 г. лишен всякой работы и принужден эмигрировать. За границей занимается журналистикой. Печатается также на иностранных языках (по-итальянски, по-английски).

Р е д л и х Роман Николаевич, род. в 1911 г. в Москве. По окончании средней школы (1929) работал слесарем на ж/дороге, затем младшим научным сотрудником в Гос. институте психологии, педологии и психотехники (ГИППП) (1932–1933). Эмигрировал в 1933 г. Окончил Берлинский университет со званием д-ра фил. наук (1940).

Сотрудник «Граней» с 1950 года. Опубликовал несколько книг: «Сталинщина» (1971), «Советское общество» (1972), «Предатель» (роман, 1982), «Солидарность и свобода» (1984).

В 1982–83 гг. – главный редактор журнала «Грани».

С е р м а н Илья Захарович, род. в 1913 г. в Витебске, учился в Ленинграде, в ЛИФЛИ, по окончании стал сотрудником Пушкинского Дома. В 1949 г. был арестован по обвинению в космополитизме, отказался сотрудничать со следствием и в результате получил 25 лет лагеря и 10 лет поражения в правах. Вышел после смерти Сталина, в 1954 г. реабилитирован и восстановлен в качестве сотрудника того же Пушкинского Дома. Занимался исследовательской работой, главным образом – XVIII веком, русским классицизмом. Написал книги: «Ломоносов», «Державин», «Батюшков» и другие. В 1968 г. стал доктором филологических наук. Эмигрировал в 1976 г., в настоящее время – профессор Иерусалимского университета. Участвовал в нескольких международных симпозиумах и конференциях. Преподавал в нескольких университетах Европы и Америки. Активно выступает в периодике.

Ф е л ь ш т и н с к и й Юрий Георгиевич, род. в 1956 г. в Москве. В 1978 г. эмигрировал в США. Изучал историю в Брандайском университете на кафедре Сравнительной истории. В настоящее время аспирант докторской программы Ратгерского университета. Специализируется по русской истории 1917-45 годов, новейшей истории дипломатии и проблемам социализма. Автор ряда публикаций, статей, книг. Среди них «Legal Foundations of the Immigration and Emigration Policy of the USSR (1917 – 1927)», *Soviet Studies*, vol. XXXIV (Великобритания, 1982); «Солженицын и социалисты» (США, 1983); «Большевики и левые эсеры, октябрь 1917 – июль 1918» (серия ИНРИ под общей ред. А. И. Солженицына, т. 5, ИМКА-Пресс, 1985); редактор книг «СССР – Германия 1939 – 1941. Документы и материалы по истории советско-германских отношений», в двух томах (США, 1983), Л. Троцкий «Портреты» (США, 1984), Л. Троцкий «Сталин», в двух томах (США, 1985), «За чей счет?», сборник статей (США, 1986).



СО Д Е Р Ж А Н И Е

с № 135 по № 138

ПРОЗА

- ВЛАДИМОВ** Георгий
Три командарма и ординарец Шестериков. Глава из романа «Генерал и его армия», 136
- ГОРЕНШТЕЙН** Фридрих
Улица Красных Зорь. Повесть, 137
- ДОВЛАТОВ** Сергей
Лишний. Рассказ, 135
Рассказы из чемодана, 137
- МАКСИМОВ** Владимир
Удальцов. Глава из романа «Заглянуть в бездну» («Звезда Адмирала»), 138
- НЕКРАСОВ** Виктор
Маленькая печальная повесть. Повесть, 135
- САВИЦКИЙ** Дмитрий
Пётр Грозный. Рассказ, 136

ПОЭЗИЯ

- БОДРОВА** Нина
У реки Утраты. Стихи, 138
- БОРОДИН** Леонид
Стихи, 136
- ДОЛИНА** Вероника
Песни, 138
- ДРУСКИН** Лев
Реквием. Стихи, 136
- КУБЛАНОВСКИЙ** Юрий
Стихи, 137
- НЕКИПЕЛОВ** Виктор
Майерлинг. Стихи, 137
- РАТУШИНСКАЯ** Ирина
Стихи, 137
- ТЁМКИНА** Марина
Иосифу Бродскому. Стихи, 135

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВАЙЛЬ Пётр, ГЕНИС Александр
Сказки о Германии. Глава из книги «Окно в Европу»,
135

НАСЛЕДИЕ

АКСЁНОВ Василий
Афиша гласила. К 125-летию Чехова, 135
ПАРАМОНОВ Борис
Славянофильство, 135
Канал Грибоедова, 138

ПУБЛИЦИСТИКА

БИРМАН Игорь
Власть в СССР, 137
КОСТИН Я.
Красное и коричневое. Вместо обзора печати, 135
РЕДЛИХ Роман
Денис Иванович и Иван Денисович, 135
ХАНТЕР Холланд
Если бы не коллективизация... Советское сельское
хозяйство в годы 1928-40, 136
ЮГОВ Александр
Серпом по экономике, 136

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

АВТОРХАНОВ Абдурахман
Вторая «холодная война» Кремля, 135
МАКСИМОВ Владимир
Эпоха «Скотского хутора», или будни посторвеллизма,
135
ШИМАНСКИЙ Виктор
Китай: сегодня, завтра, послезавтра..., 137

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

БЕЛИНКОВ Аркадий
Анна Ахматова и история, 136
ЯБЛОКОВА-БЕЛИНКОВА Наталья
Погасшая ёлка, 136

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ВАЙЛЬ Пётр, ГЕНИС Александр
Строительство утопии. Из книги «60-е», 137
- ГЕССЕН Елена
Новояз-1985. Нелингвистические заметки, 138
- ЕФИМОВ Игорь
Чехов о насилии, 138
- ЖОЛКОВСКИЙ Александр
Искусство приспособления, 138
- СЕРМАН Илья
Театр Сергея Довлатова, 136
- ТУДОРОВСКАЯ Елена
Пушкин в гриме Белкина, 138

КРУГ ЧТЕНИЯ

- ВАЙЛЬ Петр, ГЕНИС Александр.
Без гнева и пристрастия, 138

ИСКУССТВО

- БАТЧАН Александр
Урок хозяина, 136
- ЧЕРТОК Семён
Михаил Ромм: судьба художника, 137

БУДУЩЕЕ РОССИИ

- БУКРИНСКИЙ Эрнст
БАМ – дорога без конца, 136
- КОМАРОВ Борис
Сегодня и завтра советской энергетики, или почём
нынче Западная Сибирь, 136

ИСТОРИЯ

- РАПОПОРТ Виталий
Меч и скрипка. Очерк биографии Михаила Тухачевского, 138
- РУДКЕВИЧ Лев
Забывтая годовщина, 137
- ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: были ли Соединённые Штаты
хорошим союзником СССР. – Интервью с Виллисом К.
АРМСТРОНГОМ

ВИЛЕНСКАЯ Лариса

Чудеса и трагедии черного ящика. Что происходит с парапсихологией в СССР, 138

БИБЛИОГРАФИЯ

В а й л ь Пётр, Г е н и с Александр.

«Потерянный рай». – Изд. «Москва – Иерусалим», 1983. (Марк Поповский), 136, с. 282.

В о з н е с е н с к и й Андрей.

Собр. соч. в 3-х томах. – Изд. «Художественная литература», Москва, 1983. (Василий Бетаки), 136, с. 291.

Г л а д и л и н Анатолий,

«Большой беговой день». Роман. – Ann Arbor: «Ardis», 1984. (Ирина Басова), 135, с. 344.

Г р о с с м а н Василий.

«Жизнь и судьба». – Изд. «L'Age d'Homme», Швейцария, 1980. (Григорий Свирский), 136, с. 295.

Д р у с к и н Лев.

«Спасённая книга. Воспоминания ленинградского поэта». – Overseas Publications Interchange Ltd., – London, 1984. (Борис Хазанов), 137, с. 297.

К а в е р и н Вениамин.

«Летящий почерк». Повесть. – «Новый мир», №9, 1984. (Елена Гессен), 136, с. 273.

К е н ж е е в Бахыт.

«Избранная лирика. 1970 – 1981». – Ann Arbor: «Ardis», 1984. (Анатолий Копейкин), 137, с. 302.

К л ы ч к о в Сергей.

«Стихотворения». Составитель Мишель Никё. Серия «Избранная лирика», – YMCA-PRESS, 1985. (Ю. К.), 138, с. 295.

К о п е л е в Лев.

«Святой доктор Фёдор Петрович». – London: Overseas Publication Interchange, 1985. (Наталья Малаховская), 138, с. 279.

К р и в о ш е и н а Нина.

«Четыре трети нашей жизни». – Изд. «Имка-Пресс», Париж, 1984. (Борис Закс), 136, с. 276.

К у б л а н о в с к и й Юрий.

«Оттиск. Стихи 1982 – 85 гг.». – Париж: YMCA-PRESS, 1985. (П. Шмидт), 138, с. 287.

- Л и п к и н Семён.
«Воля». Сборник стихов. – Ann Arbor: «Ardis», 1981.
«Декада». Повесть. – New York: Chalidze Publications,
1982. (Раиса Орлова), 135, с. 340.
- Л и с н я н с к а я Инна.
(О ее творчестве.) (Лев Друскин), 138, с. 276.
- Н а б о к о в Владимир.
«Переписка с сестрой». – Ann Arbor: «Ardis», 1985. (На-
талья Малаховская), 137, с. 291.
- Н и в а Жорж.
«Солженицын», пер. С. Маркиша. Изд. Overseas Publi-
cations Interchange Ltd., London, 1984. (М. Хейфец),
137, с. 305.
- О р л о в а Раиса.
«Хемингуэй в России». – «Ардис», 1985. (Сергей Довла-
тов), 138, с. 291.
- Т а у б е р Екатерина.
«Верность». Стихи. – Изд. «Альбатрос», Париж, 1984.
(Юрий Кублановский), 136, с. 289.
- Ф е д о т о в Г. П.
«Святые древней Руси». Париж. YMCA-PRESS, 1985.
(Татьяна Горичева), 138, с. 284.

В следующем номере:

Леонид Бородин. Повесть
«Правила игры»

Стихи Игоря Чиннова
Очерк Якова Хромченко

Литературная критика:

Елена Гессен,
Александр Жолковский,
Борис Парамонов

Искусство:

Иосиф Дарский

Наследие:

Татьяна Горичева

Публицистика:

Нина Муравина,
П. Вайль и А. Генис

Главный редактор Г. Н. Владимов
Ответственный секретарь Н. Е. Денисьева
Зав. редакцией Е. И. Пахомова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность опубликовать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 60 н.м.
через магазины — 70 н.м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н.м.
через посредников — 84 н.м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н.м.
через представителей — 72 н.м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.
НАДЕЖДА” — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.